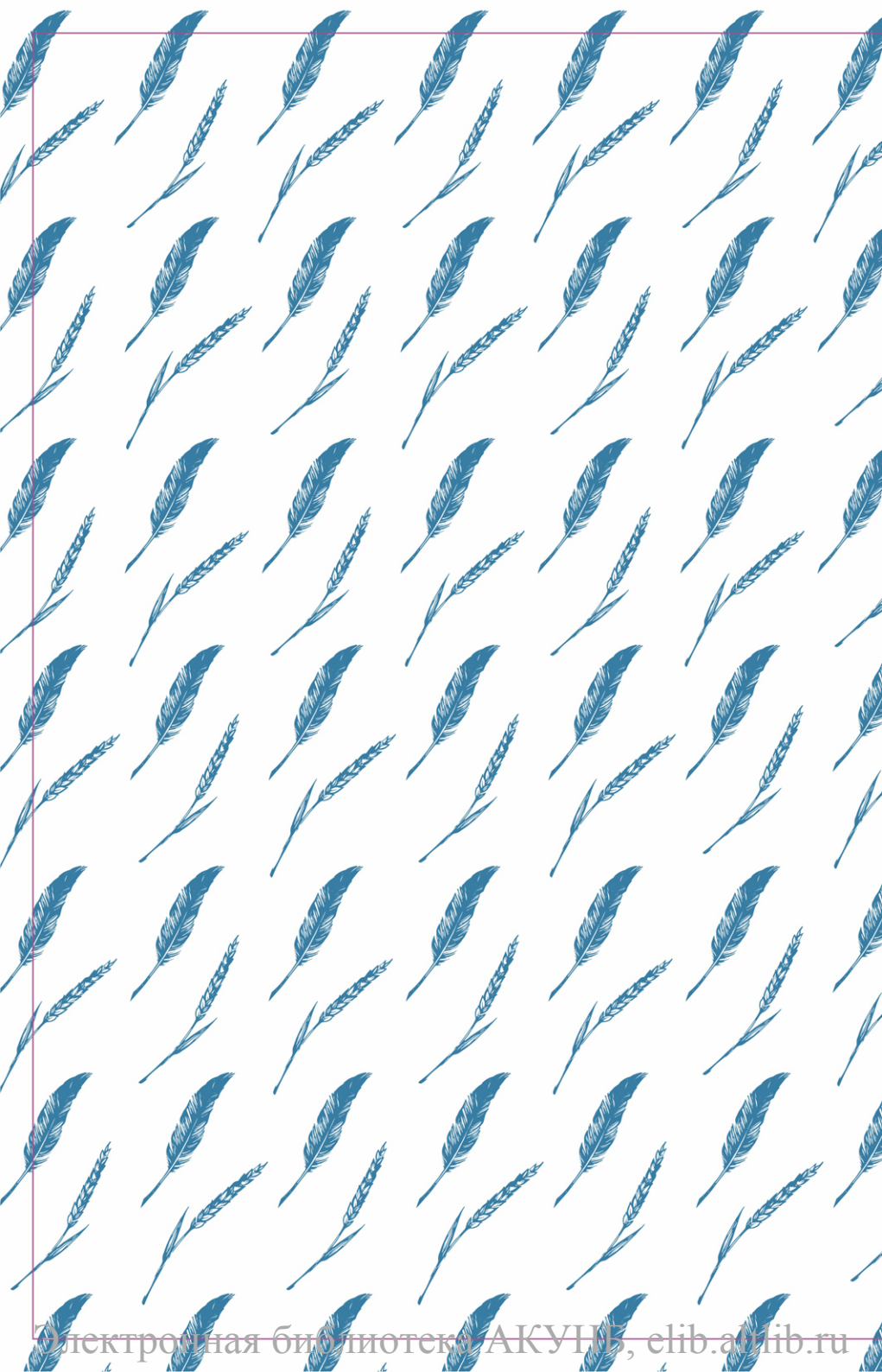
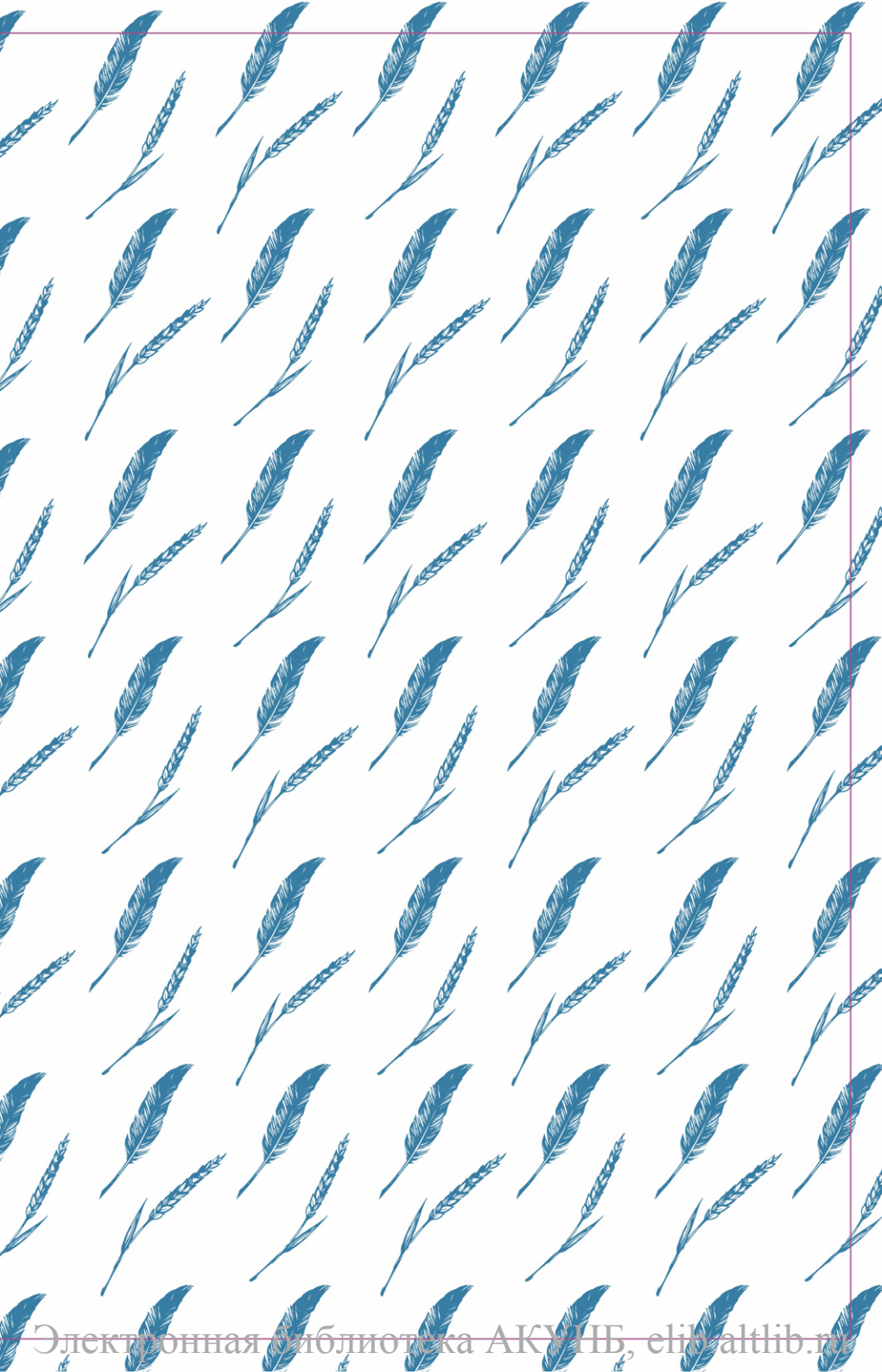




**Анатолий  
Соболев**

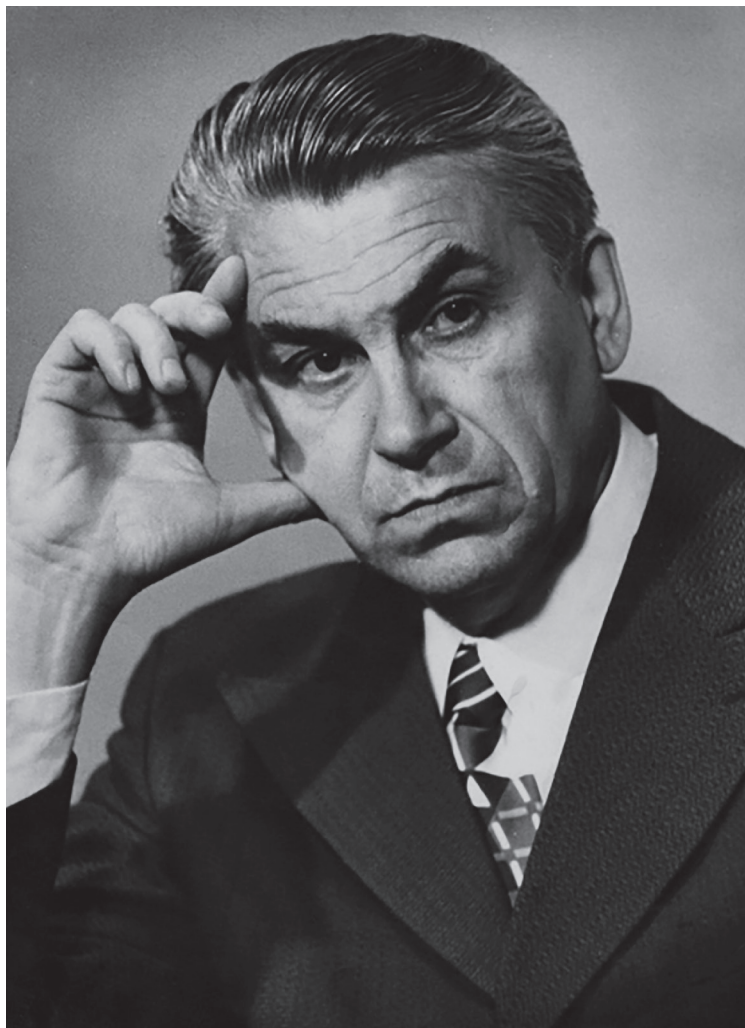








Литературное  
наследие  
Алтая



А. С. Соболев

Министерство культуры Алтайского края  
Алтайская краевая универсальная научная  
библиотека им. В. Я. Шишкова

Анатолий Соболев

# Избранное

Барнаул · 2021

*Издание подготовлено по заказу и при финансовой поддержке  
Правительства Алтайского края  
в рамках губернаторского издательского проекта  
«Литературное наследие Алтая»*

Редактор-составитель: С.А. Мансков  
Художественный оформитель: А.Н. Шелепов

**Соболев, А. П.**

С-544 Избранное / Анатолий Соболев ; [ред.-сост. С. А. Мансков] ; М-во культуры Алт. края, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. — Барнаул : ООО «АЗБУКА», 2021. — 296 с. : [1] лит. порт., ил.

Книга из серии «Литературное наследие Алтая» включает три произведения Анатолия Пантелеевича Соболева.

Известный советский писатель питал искреннюю любовь к Алтаю, местам, где он родился и провел детство. Поэтому в его текстах (даже в военной прозе) всегда присутствует образ малой родины. «...не уезжайте с Алтая, без родных мест трудно. Лишь только море заставляет меня быть вдали от Алтая...» — писал А. П. Соболев Г. В. Кондакову.

Живет Алтай и в рассказе, и в представленных в книге военных повестях «Какая-то станция» и «Награде не подлежит», главный герой которой является олицетворением всех простых солдат, выигравших Великую Отечественную войну.

Произведения Соболева, воспитывающие в людях любовь к родине, честность, нравственность, рассчитаны на широкий круг читателей, начиная с младшего подросткового возраста.

ISBN 978-5-93957-991-9

ББК 84(2Рос-Рус)6-4

- © А. П. Соболев, 2021
- © КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова», 2021
- © С. А. Мансков, редактор-составитель, 2021
- © [А. В. Казанцев] иллюстрации, 2021
- © А. Н. Шелепов, макет, 2021



## СОДЕРЖАНИЕ

С. Мансков: «Анатолий Соболев –  
спокоен, терпелив, героичен»  
*стр. 06–09*

Награде не подлежит  
*стр. 12–151*

Какая-то станция  
*стр. 154–277*

Алтайский француз  
*стр. 280–292*

Библиографический список  
*стр. 293–295*

## Анатолий Соболев – спокоен, терпелив, героичен

Удел больших художников, рожденных на Алтае, – покинуть свой край и «расправлять крылья» на чужбине. Схожим образом складывалась судьба Анатолия Пантелеевича Соболева (1926-1986). Рожденный в селе Кытманово в семье бойца и партийного работника будущий писатель проходил становление в селе Смоленском. О детстве в алтайских предгорьях его повесть «Грозовой перевал». В тридцатые годы, помимо коллективизации, которую активно проводил его отец, начинается чистка партийных рядов, и семья вынуждена искать все способы, чтобы затеряться, исчезнуть из поля зрения НКВД. И здесь на помощь приходит промышленный Сталинск (Новокузнецк). Соболевы покидают родные края, но внутренняя связь с малой родиной от этого только крепнет. Спустя десятилетия супруга уже признанного в Советском союзе литератора писала: «Толя давно хотел свозить меня на свою Родину – Алтай. Рассказывал он мне о нем много, и в его рассказах Алтай был сказочно-прекрасной землей».

В 1943 году статный семнадцатилетний юноша – ученик 9 класса пришел в военкомат с просьбой отправить на фронт. Ему пошли на встречу: школа военных водолазов на Байкале, потом Северное море, Балтика, Германия. Семь лет поднимал торпедированные корабли, орудия, баржи с минами и снарядами. Опасный ежедневный труд дал любовь к морской стихии навсегда.

Вернулся в Сталинск (Новокузнецк) после демобилизации в 1950 году и поступил в Сибирский металлургический институт, после окончания которого стал работать инженером-механиком в мартеновских цехах. С 1958 по 1965 год он преподает на кафедре механического оборудования металлургических заво-

дов и пишет прозу. Первая книга «Безумству храбрых» выходит в 1963 году в Кемеровском книжном издательстве. Уже в первой повести заявлена главная тема — море, тихий подвиг водолазов. «Прологом к книге о водолазах можно считать пережитый страх и чувство безысходности, когда при подъеме судна, промывая туннель под его днищем для крепления понтонов, оказался я захваченным в морской пучине. Шанс остаться в живых был ничтожно мал, но судьба подарила его мне. За долгие годы водолазных работ (под водой я провел около 3000 часов) повидать и пережить довелось с лихвой, и не рассказать о безвестных парнях, о чернорабочих моря было нельзя», — писал Соболев. Книга получила известность, в 1964 году Анатолий Пантелеевич был принят в Союз писателей СССР, с 1968 года занимался писательским делом профессионально. Уже к началу семидесятых годов Соболев — известный советский писатель с собственным почерком. Предисловия к его книгам пишут Виктор Астафьев, Василь Быков, Валентин Курбатов. Произведения переводятся и издаются в Германии, Польше, Чехословакии, Югославии.

Но Алтай продолжает оставаться опорой и Родиной. Ранняя повесть для детей «Грозовая степь» имеет алтайские локации, позднее наш регион будет читаться как место рождения большинства героев. Сам писатель повторял, что, работая над военными повестями, «держал в зрительной памяти простой обелиск с именами односельчан. А имен тех много, очень много. И погибшие незримо стояли рядом». Некоторые герои воспринимаются как авторский alter ego.

Писатель Соболев остается верен себе и сохраняет традиционные аграрные корни. Книги о непрестом подводном труде практически лишены романтики. Подвиги не связаны с молниями и артиллерийскими канонадами — вода как будто глушит ненужный шум. Но взамен появляется правда жизни. Книги Соболева критики не относят к «лейтенантской прозе», хотя они писались в тот же период, что и главные произведения Василя Быкова, Юрия Бондарева, Константина Воробьева, Бориса Васильева. Но у Анатолия Соболева внутренние разломы происходят не на линии фронта, а в отдалении от него. Две повести

«Награде не подлежит» и «Какая-то станция», вошедшие в это издание, скорее, об эхе войны. В первом случае кессонный удар, полученный героем под водой во время бомбежки, — только начало истории, а весь психологизм связан с борьбой с этим недугом и готовностью повторить подвиг. Вторая повесть — рассказ о работе в тылу военных водолазов — нужно очистить русло реки от завала, чтобы лес поступал на фабрику, которая производит приклады. И снова постоянный риск и тихий подвиг. Герой Соболева не разрывает рот в крике атаки. Он спокойно делает все необходимое для победы. И побеждает. Часто без заслуженных наград.

Такой же покой и ностальгию читатель почувствует в рассказе «Алтайский француз». I мировая, Гражданская, II мировая войны, побег из плена, эмиграция и чужбина — обо всем этом персонажи рассказывают как о рядовых явлениях жизни. Воистину настоящий сибиряк спокоен, терпелив и героичен.

По рассказам и повестям сняли 5 художественных фильмов. И здесь снова работает алтайская скрепа. В 1973 году друг Василия Макаровича Шукшина Юрий Валентинович Григорьев, снявшийся во второстепенной роли в «Живет такой парень», экранизирует повесть Соболева «Какая-то станция». Фильм «Письмо из юности» во многом передает колорит алтайской деревни, которая делала все возможное для тыла.

Море не отпускало писателя до конца жизни. Собирая материал для книги «Якорей не бросать», Анатолий Соболев в 1972 году нанялся на судно простым матросом, рулевым и ушел на полгода в Атлантику. Он жил и трудился с рыбаками, и никто, кроме капитана, не знал, что он — писатель, что здесь он собирает материал для работы. Избороздил за шесть месяцев Атлантический океан, побывал в различных ситуациях, собрал огромный фактографический материал. Роман вышел в 1986 году, когда автора уже не было в живых.

Умер Анатолий Пантелеевич 28 июня 1986 года в Москве, где участвовал в работе VIII съезда писателей. Похоронили его в селе Смоленском во время Шукшинских чтений 26 июля 1986 года на Аллее Славы.

Виктор Астафьев метафорически определил вклад писателя Соболева в русскую литературу так: «Природа-земля Алтай не только прекрасна ликом, но еще богата отважными и талантливыми людьми. Много, очень много дал Алтай храбрых воинов, землепашцев, ученых, артистов, писателей, среди которых самородку этой земли Василию Макаровичу Шукшину выпала счастливая и нелегкая доля – быть ее «коренником», что по-сибирски означает ведущего в упряжке». По Астафьеву, Соболев – из «пристяжных». Из пристяжных, но рядом с коренником...

В XXI веке писатель вернулся на Алтай. В селе Смоленском работает историко-мемориальный музей А. П. Соболева. Имя Соболева носят одна из центральных улиц села Смоленского и города Белокурихи. В 2001 г. в честь 75-летия со дня его рождения был открыт памятник писателю. Ежегодно проходят Соболевские литературные чтения. В 2004 году учреждена муниципальная Соболевская премия.

*Сергей Мансков*



Награде  
не подлежит



Всю жизнь ему снился один и тот же сон: камнем падает он в черную глубину и внезапно прекращается подача воздуха; вода, будто тисками, все сильнее и сильнее обжимает грудь, вот-вот раздавит, расплющит, и он задыхается в скафандре. «Воздуху! Воздуху!» – кричит он в отчаянии, но телефонный кабель оборван – никто не слышит его...

И этой ночью он проснулся в холодном поту и, сидя на тахте, курил сигарету, оглушенно глядел в слабо освещенное луною окно, слушал, как возвращается к нормальной работе сердце, будто мотор после тяжелого и долгого подъема на косогор.

На журнальном столике, рядом с книгой стихов Николая Рубцова, белела повестка, где ему, Реутову Константину Федотовичу, приказывалось явиться в военкомат. «Что им надо?» – в который раз с легким любопытством подумал он. Давно уж не вызывали. Попервости, после войны, когда был он еще молод, его тревожили всякими краткосрочными сборами, переподготовками, но с годами по причине возраста оставили в покое.

Константин Федотович встал, распахнул окно. Нанесло предутренним знобким холодком и едва внятным запахом набухающих почек. Перед окном в маленьком палисаднике чернел куст черемухи. В прошлом году, когда заселяли этот новый дом, в котором ему выделили однокомнатную квартиру на первом этаже с окнами на реку, он сам посадил черемуху. Куст переболел и в этом году должен зацвести: уже набухли почки и не сегодня-завтра выбросит первый клейкий лист.

«Вот и опять весна», – о чем-то сожалея, подумал он. Весна началась дружно, Бия уже вскрылась и катила мимо города мутные холодные воды.



За рекой полыхнуло лиловым светом. «Неужели гроза?» — подивился Константин Федотович. Небо за темным бором на противоположном высоком берегу снова разломило, глубокая высь трепетно замерцала, будто артиллерийские залпы далекого ночного боя неслышно вспарывали темноту. Где-то за степью, в горах, шла гроза. Первая в этом году. То-то с вечера касатки — предвестницы ненастья — черными короткими молниями низко крестили затянутое хмарью небо, и за городом, когда он возвращался из поездки, лежала ожидающе-притихшая, по-весеннему голая еще степь.

Выкурив сигарету, он еще постоял у окна, послушал шорох реки, незримой в ночной мгле, посмотрел, как беззвучно и замедленно стекают по черному небу далекие молнии, и закрыл окно. Опять увидел на столике белеющую продолговатую бу-мажку. Надо утром заехать. Послезавтра День Победы, а в повестке приказывалось еще до мая явиться в военкомат, но он был в командировке и вернулся только вчера.

Закинув руки за голову, лежал Константин Федотович и слушал, как в оставленную открытой форточку доносит шелест дождя, как по стеклу шаркают голые ветки черемухи. Протянувшийся вдоль набережной пятиэтажный домина был полон спящих людей, и один только он, наверное, бессонно глядел в серую комнатную темноту.

По набережной проехала машина, вдоль стены косо скользнули желтые лучи фар, высветлив по очереди: то гравюрный портрет скуластого, с горькими глазами, земляка Василия Шукшина, думающего свою безысходную думу; то любимые вангоговские «Подсолнухи»; то маральи рога, подаренные друзьями несколько лет назад в пятидесятилетний юбилей. Шум машины затих, и опять послышался шелест — дождь набирал силу. До утра промочит землю, проселки раскиснут, и начнется у шоферов развеселая жизнь — будут рвать жилы по алтайским степным дорогам.

Константин Федотович лег поудобнее, но сон не шел. Мысли его перескакивали с одного на другое, обрывались, он то думал о настоящем, то о прошлом, но постепенно растревоженные



повесткой думы вернулись в давно минувшее, в его юность, в те годы, когда он был водолазом и военная судьба кидала его то на Волгу, под Сталинград, то на Днепр, то на Ладожское озеро, то на Баренцево море в Заполярье. И всюду он спускался на дно, вытаскивал затонувшие при переправах танки, орудия, баржи с минами и снарядами, торпедированные корабли, утопленников.

Он гнал от себя эти невеселые мысли, но справиться с ними не мог. Так было каждый раз, когда просыпался в глухом предутрии и подолгу думал длинные думы одинокого пожилого, давно страдающего бессонницей человека.

Константин Федотович повернулся на правый бок, чтобы его «карбюратору» было полегче работать, и попытался заснуть. Он задремал, но на исходе ночи снова вскинулся. Его настиг все тот же сон: он опять падал на грунт и опять задыхался...

«Неужели это было со мной? — в который раз спрашивал он себя. — Неужели это был я?»

Он камнем падал вниз.

Касаясь рукой спускового пенькового конца, пробивал скафандром стылую толщу воды. Воздух по шлангу едва поспевал за ним. Тревожный холодок теснил сердце — там, внизу, была торпеда.

Серо-зеленая, с коричневым оттенком вода все сильнее и сильнее обжимала водолазную рубаху, будто кто заковывал его в железные латы. Многопудовый скафандр давил на плечи и неудержимо тащил на дно. Грудь стискивали свинцовые груза, дышать становилось все труднее и труднее, но Костя держал воздух в скафандре на низшем пределе — лишь бы не наступило кислородное голодание, лишь бы не закружилась голова. И как можно быстрее вниз, вниз, на грунт!

В ушах потрескивало, барабанные перепонки покалывало тонкими иголками. И как только возникала эта боль, как только начинало закладывать уши и шипенье воздуха глохло, Костя придавливал нос к холодному запотевшему стеклу переднего иллюминатора в шлеме и «продувался». Боль в ушах исчезала, звук воздуха, поступающего в скафандр, приобретал чистоту и четкость.

Вода темнела, надвигалась густо-коричневая мгла. И в этой мгле Костя должен найти и застропить невзорвавшуюся торпеду. Нельзя сказать, чтобы он боялся — не впервой ему иметь дело со взрывоопасными штуками, — но холодок все же подсасывал в груди. Он был начеку и внимание держал предельно заостренным.

Там, наверху, на водолазном боте, мичман Кинякин открыл вентиль баллонов с сжатым воздухом на полную катушку, и воздух гнался по шлангу за Костей; там, на боте, Димка Дергушин травил шланг-сигнал, сбрасывая его кольцами за борт; там, наверху, был ветреный по-октябрьски пасмурный день с «зарядами» мокрого хлещущего снега, а здесь он, Костя Реутов, в глухом скафандре вламывался в надвигающуюся темь, летел вниз, на дно.

Он ударился ногами о грунт неожиданно, даже слегка испугался. И сразу же заревел в шлеме воздух — нагнал! Чтобы не выбросило наверх, Костя схватился крепче за спусковой канат и изо всех сил, до боли, надавил головой клапан в шлеме. Надо было провентилировать скафандр, насытить кислородом организм, наполнить живительным газом каждую клетку. Водолазную рубашку раздувало.

— Меньше воздуху! — приказал Костя.

Теперь с воздухом надо быть предельно осторожным. Чуть прошляпишь — и вылетишь на поверхность «лапти сушить», выбросит, будто пробку из бутылки шампанского. Полопаются барабанные перепонки. И — не дай бог! — кессонку еще схватишь.

— Есть меньше! — тотчас откликнулся по телефону мичман.

Рев в шлеме прекратился, перешел в ровное шипенье.

— На грунте? — спросил мичман.

— На грунте, — ответил Костя.

— Двадцать семь метров, — сообщил глубину мичман. Это он по манометру на баллонах с сжатым воздухом определил. — Оглядиись!

— Есть оглядеться.

И Костя зажмурился.

По опыту он знал, что, подержав глаза закрытыми, легче привыкнуть к темноте придонной глубины. Костя открыл глаза.

Так и есть — не такая уж и темень на дне. Вода коричневая, со слабым зеленым оттенком, и чем дальше от ходового конца, тем гуще, темнее. Грунт ровный, серо-коричневый, светлее воды. Видимость метра два. «Ничего, жить можно». Приходилось работать и в кромешной тьме на ощупь.

Медленно поворачиваясь, Костя напряженно вглядывался в толщу воды. «Где она, проклятая?» Буй сброшен приблизительно, и Косте предстояло делать круги по грунту, увеличивая и увеличивая радиус, пока не найдет торпеду.

— Иди к берегу, — посоветовал мичман. — Она, говорят, туда взяла направление.

Там, наверху, рядом с водолазным ботом стоит МО — морской охотник. Он и поволокет зацепленную торпеду на расстрел. Это с него дают советы. «А где тут берег? В какой он стороне?»

Костя огляделся. Он находился будто бы внутри стеклянного шара с видимостью во все стороны метра в два, дальше шла коричневая плотная тьма.

Идти было трудно: начался отлив, и вся огромная масса воды в заливе медленно двигалась от берега в море, тащила Костю назад.

Приходилось идти, пробивая шлемом толщу воды, и, согнувшись в три погибели, тащить за собой несколько десятков метров шланг-сигнала. Он хоть и воздушный, этот шланг, а тяжелый, черт! На грунте не расшагаешься, как по улице, во весь рост — вода не пустит, а сейчас еще и отлив навстречу.

Костя шел, почти касаясь шлемом дна. Дно было чистым, без растительности, с мелкими песчаными складками. Время от времени Костя выпрямлялся, осматривался. «Куда она делась? Может, совсем в другую сторону упорала?»

Он долго искал торпеду.

— Не вижу, — доложил он. — Может, она мористее затонула?

— Ищи! — приказал мичман. — Говорят, тут где-то.

«“Ищи!” Хорошо говорить там, наверху! Поискал бы сам ее тут!»

Костя поднял голову и вздрогнул.

Из коричневой стены торчало тупое железное рыло. Он вышел прямо ей в лоб! Торпеда казалась неправдоподобно

огромной. Предметы в воде кажутся больше своей истинной величины, но торпеда — вот так вот, один на один! — казалась особенно большой. Мрачно, с затаенной злобой, недвижно торчала она перед ним. У Кости пересохло во рту.

— Есть, — тихо сказал он.

— Есть? — торопливо переспросил мичман.

— Есть.

— Осторожно! Заходи в хвостовое оперение и стой там. Будем спускать трос.

— Добро.

Костя шагнул к торпедe, она еще больше всунулась внутрь видимого шара, будто сама двинулась навстречу. У Кости испуганно сдавило сердце. Он остановился, но, пересилив себя, сделал еще шаг вперед, а затем и спустился на дно, чтобы встретиться с ней, ненаглядной.

Мичман сказал, что торпеда неконтактная, срабатывает в магнитном поле. Костя, конечно, не корабль, чтобы вокруг него было сильное магнитное поле и чтобы торпеда рванула, но все равно — черт ее знает! А вдруг сработает! Шарахнет — от него и пыли не останется. В ней же взрывчатки с полтонны! Идиоты, как они там ее упустили! За такие дела в штрафбат! Они теперь там, вдалеке, посматривают, покуривают, а он тут должен с ней целоваться. Она чмокнет — гул пойдет.

Костя остановился, перевел дыхание. Старшина Лубенцов говорит, что он в таких случаях с минами и торпедами обращается, как с девкой, которую первый раз уламывает — нежно, ласково, обходительно. А у Кости и такого опыта нет. «Я ее, говорит, Марусенькой называю. Ласковая ты моя, дорогуша ты моя ненаглядная, будь ты проклята! Ты уж не рвани, пожалей меня и баб моих!» Самого трясет, а зубы скалит. Лубенцов говорит, что лучше в штрафбате быть, чем один на один с миной или торпедой. А уж он-то знает, бывал. «Я ей мурлыкаю, уговариваю, а руки не дремлют. Тут главное — не спугнуть. Тут, как с милашкой, уговаривать-то уговаривай, но и руками действуй. Спугнешь — все! Помянем раба божия!»

Костя осторожно двигался вдоль мощного веретенообразного туловища торпеды. Торпеда лежала хорошо, брюхом на ровном месте. И то слава богу! Не подкапываться хоть, чтобы застропить.

Путь вдоль торпеды показался ему долог. Никогда не думал, что она такая длинная. Дошел наконец до хвоста, остановился. Лопаста винта тоже не врезались в грунт. Все же подфартило ему хоть в этом.

Выброска<sup>1</sup> в руке подрагивала, значит, там, наверху, к ней прикрепляют трос.

– Готов? – спросил мичман.

– Готов, – выдохнул Костя, понимая, что самое главное только начинается.

– Тяни! – приказал мичман.

Костя потянул выброску, она легко подалась. Тянул долго, пока над головой в коричнево-зеленоватых слоях воды не показалась какая-то тень. Потом эта тень превратилась в трос.

– Стоп! – скомандовал Костя. Травить прекратили.

Теперь надо было захлестнуть петлю троса на хвост торпеды. Костя осторожно придвинулся к молчаливому чудовищу, дотронулся рукой до стылого металла, почувствовал злобную затаенность торпеды и на миг опять оробел. «Ну как шарахнет! Не вздумай, милая!»

Чтобы охлестнуть петлей хвост торпеды, ему пришлось подвсплыть. Набрал воздуха в скафандр, Костя оторвался от грунта. На миг он проворонил предел воздуха и почувствовал, как его потянуло вверх больше, чем нужно. Испуганно екнуло сердце, Костя изо всех сил нажал головой на золотник в шлеме и крепко схватился за трос. Стравив воздух, он упал на торпеду, охнул.

– Ты чего? – тревожно спросил мичман.

– Ничего. – Костя не узнал своего голоса.

– Ты там гляди в три глаза!

«Хорошо ему советовать!» Костя сидел верхом на торпедке и боялся пошевелиться.

---

<sup>1</sup> Выброска – тонкий пеньковый канатик.

Но не век же так сидеть, тут не отсидишься. Переборов робость и поднабрав воздуха в скафандр, тщательно следя за его количеством и огребаясь руками, Костя снова подвсплыл и, стравив излишки, упал рядом с торпедой.

И только теперь перевел дух.

Долго стоял, чувствуя, как взмок.

— Захлестнул, — наконец сказал он. — Обожмите. Только тихо!

«Ну, молись, мама, за меня!» Костя затаил дыхание, не спуская глаз с петли. Трос натянулся, петля стала обжимать хвост торпеды. Заскользило железо о железо, оставляя светлую царапину на корпусе. Облачком пошла рыжая пыль.

— Стоп!

Трос затих. Костя осмотрел петлю.

— Еще чуть-чуть! — приказал он.

— Добро, — ответил мичман. — Ты там смотри!

— Смотрю.

Петля снова заскрипела по корпусу торпеды, и скрип этот ударил по нервам. Трос натянулся, торпеда качнулась. Косте показалось, что она валится на него.

— Стоп! Стоп! — закричал он, обливаясь холодным потом.

— Что такое? — испуганно спросил мичман.

— Да так... — перевел дух Костя.

— Ты отойди от нее подальше! — наставлял мичман.

«Подальше, — усмехнулся Костя. — Куда подальше? Она везде достанет». Костя отдышался, успокоился. Снова осмотрел петлю. Хорошо обжало — не сорвется. Можно и поднимать.

— Хорош! — доложил Костя.

— Отойди! — приказал мичман, и Костя почувствовал, как натянулся шланг-сигнал — Димка Дергушин выбирал слабинку.

Не спуская глаз с торпеды, Костя попятился. Огромное хищное чудовище начало удаляться, исчезать в размытой мгле, будто само отступало, и хотя торпеда исчезла в толще воды, Костя все равно знал, что опасность не миновала. Еще неизвестно, как поведет себя торпеда, когда ее будут отрывать от грунта. Ударится о какой-нибудь камень...



Костя вернулся к спусковому канату, ухватился за него, спросил:

– Как она там?

– Вышла на панер, – ответил мичман.

Значит, трос с морского охотника натянулся вертикально и сейчас начнут отрывать торпеду от грунта.

«Не шарахнула бы!» – опять подумал Костя. В скафандре от него одна смятка останется. Бомба упадет за милю, а у водолаза лопаются барабанные перепонки от гидравлического удара, а тут рядом... Бывали такие случаи. Месяц назад водолазы Петька с Аскольдом снимали глубинные бомбы с торпедированного эсминца. Рвануло. От Аскольда ничего не осталось, только обрезанный шланг вытащили, а вместо Петьки в исполосованном осколками скафандре было кровавое месиво...

Костя стоял и ждал. Он пока не имел права выходить наверх. Мало ли что случится! Сорвется с троса – опять ее стропить. Мучительно медленно тянулись минуты. Что они там, уснули?

– Порядок, – сказал мичман. – Потащили в море. «Ну, наконец-то!» Костя почувствовал, что бесконечно устал и мелкой дрожью трясется каждая жилка тела. И теперь только обнаружил, что мокрый он насквозь – нижнее белье пропотело, свитер тоже. Ноги стыли. Не спасали ни меховые шубники, ни ватные штаны.

– Выходи на выдержку! – приказал мичман повеселевшим голосом.

Набрав в скафандр воздух, держась за спусковой канат, Костя быстро поднимался вверх. Вода светлела, вновь приобретала голубовато-зеленый цвет.

– Стоп! – приказал мичман. – Первая выдержка. Сиди!

«Беседки» – доски, прикрепленной к двум канатам, – не было, как это обычно делается при глубоководных спусках. И Костя, держась одной рукой за спусковой канат и регулируя воздухом плавучесть скафандра, висел в толще воды между поверхностью и грунтом.

Для него это было нетрудно – Костя умел владеть воздухом и мог болтаться, как поплавок, на любой глубине. Главная наука

для водолаза — владеть воздухом в скафандре. Но прежде чем Костя постиг эту науку, прежде чем почувствовал себя как рыба в воде, с него сошло семь потов, потом еще семь раз по семь и еще — семь. И «сушить лапти» выбрасывало; и, придавленный грузовой корабельной стрелой, задыхался; и в тросах при обследовании судна на дне запутывался; и в недрах потопленного корабля, заблудившись, искал выхода... Чего только не было с ним под водой за эти два военных года!..

Теперь он был уже опытным водолазом, знал такие тонкости и хитрости своего дела, которые можно познать только под водой. Он, например, знал, что идти под воду с насморком — заведомо рисковать своими барабанными перепонками. Он никогда не спустится на грунт со слабо завязанными плетенками на галошах, потому как можно потерять галошу, и тогда задерет одну ногу, как у балерины, или — не дай бог! — перевернет и выбросит вверх. Не спустится он под воду и в малой, не по росту, водолазной рубахе — на дне, когда скафандр наполнится воздухом, не согнуть коленей, будешь стоять, как статуя. Не пойдет он и в большой рубахе, потому как под водой в раздутом скафандре руки не будут доставать до рукавиц — окажешься в смиренной рубашке с длинными рукавами. Не сделает он и шагу к трапу, пока не убедится, что нижний брас<sup>2</sup> между ног не зажимает — в воде, когда воздухом разопрет скафандр и нижний брас натянется, можно потерять сознание от дикой боли в паху. «Эта вещь в хозяйстве нужная, — зубоскалит обычно старшина Лубенцов перед спуском в воду. — На запасную господь бог поспешил. И по благу нигде не закажешь». Многое знал и умел Костя, но всего предусмотреть нельзя, всего не предугадаешь заранее...

Сейчас Костя замерзал, особенно стыли ноги. «Зря у Димки не одолжил новые ватники», — снова пожалел он. Мокрая спина взялась холодом. Костя начал греться: сгибать и разгибать руки и глубоко выдыхать, стараясь побыстрее выгнать из организма азот. Из-за него, проклятого, и приходится околевать

---

<sup>2</sup> Брас — пеньковый конец, удерживающий на водолазе груза.



на выдержках. При быстром подъеме или после долгого пребывания на грунте растворенный в крови азот «закипает» пузырями, рвет кровеносные сосуды — наступает кессонка.

— Как там торпеда?

— Все в порядке. Тащат в море, — ответил мичман.

— Тащите и меня! — взмолился Костя. — Околел я тут.

— Ничего, сиди.

— Сиди! — недовольно повторил Костя. — Сам бы тут посидел.

— Не ворчи.

Костя отлично понимал, что мичман поступает правильно, о его же здоровье печется. Чтоб уж наверняка без кессонки обойтись. И тут уж просись не просись, а отсидеть на выдержке положенное придется...

— Реутов! Тревога! Срочно наверх! — вдруг раздался торопливый голос мичмана.

«Налет!» — сразу понял Костя.

А в шлеме уже ревел воздух — это мичман открыл до отказа вентиль баллонов с сжатым воздухом. Костя прижал нос к иллюминатору и начал «продуваться», чтобы не полопались барабанные перепонки, когда будет вылетать наверх. А его уже выбрасывало из воды! Костя с силой поджал ноги под себя, не давая воздуху проникнуть ниже пояса. Надо вылететь из воды шлемом вперед, «солдатиком», чтобы не перевернуло вверх ногами.

Костя делал все то, что делает всякий опытный водолаз при срочном выходе наверх, а сам прислушивался — не слышно ли взрывов в воде. Не дай бог, упадет где-нибудь рядом!

Он вылетел из воды, и тут же прекратилась подача воздуха — мичман перекрыл вентиль, чтобы не лопнул раздутый скафандр. И в наступившей тишине Костя услышал глухие частые выстрелы зениток и отдаленные взрывы, бомбы падали где-то в сопках.

Димка Дергушин и Игорь Хохлов торопливо, в четыре руки, выбирали шланг-сигнал, с силой буксировали его к корме бота, все время опасно поглядывая на небо.

Костя тяжело поднялся по трапу. Скафандр, потеряв плавучесть, гнул книзу. Торопливо застучал ключ по ганкам манишки — Димка отворачивал шлем, а Игорь укладывал в бухту шланг-сигнал.

Димка снял с него шлем, взопревшую Костину голову обдало морозным ветром, и сразу же заложило уши от стрельбы зениток и пулеметных очередей. Все миноносцы, все сопки ощетинились огнем. Костя вертел головой, стараясь увидеть немецкие самолеты. Серое низкое небо вспухало частыми белыми облачками разрывов.

— Отогнали! — с нервным смешком сказал Димка. Костя и сам уже понял, что стреляли вслед, для острастки. Немцы уже убрались восвояси.

— Пронесло. — Мичман, все еще поглядывая на небо, принялся укладывать телефон. — Выходи, чего стоишь!

Костя перевалил через фальшборт ноги в тяжелых со свиновой подошвой галошах, встал на палубу бота. Ах, как хорошо выйти из сумрака воды и вдохнуть живого воздуха после пахнущего резиной, мертвого, сжатого в баллонах, дистиллированного! Об этом знают только водолазы.

Костя огляделся. Спокойный залив отливал стылой блеклой синевой, лобастые, заснеженные сопки угрюмо подсунулись к берегу, миноносцы, будто врезанные в стеклянную гладь воды, маячили посреди залива, «морской охотник» на малых оборотах удалялся в сторону моря — тащил торпеду на расстрел.

Стрельба зениток прекратилась. Будто и не было никакого налета. Тихо-мирно все.

— Ну дали ему! — нервно всхотнул Димка. — Долго помнить будет.

— Дали-то дали, а ушел, гад! — сокрушенно покачал головой мичман. — Вывернулся из-за сопки, как из-под земли. И всего один. Псих какой-то. Ушел, гад! — повторил, а сам с тревогой всматривался в лицо Кости.

Дергушин, Хохлов и мичман взялись за резиновый фланец водолазной рубахи и под возбужденно-веселый крик Дергушина: «Раз, два, три!» — растянули ворот, и Костя выскочил из скафандра по пояс. Когда сел на бухту шланга, чтобы стянули рубаху с ног, у него вдруг закружилась голова и тягостно потянуло в груди, будто вот-вот стошнит.

— Ты чего? — тревожно спросил мичман, и светло-голубые глаза его заострились.

— Ничего, — с придыханием ответил Костя, но его уже окатило холодом в предчувствии беды.

Бесконечно огромный мир потерял свою устойчивость, покачивался, стило мерцал, бесстрастно-сторонний, чужой, в лучах какого-то необъяснимого света, неизвестно откуда исходящего.

— Чего не заводишь! — закричал мичман на старшину катера. Тот стоял, прислонившись плечом к рубке, и глазел на водолаза. — Заводи!

— Куда теперь торопиться-то? Не к теще на блины, — хмыкнул старшина.

— Заводи, говорю! Немедленно!

Старшина кинулся в рубку.

— Ну что? Как?

Мичман испытующе заглядывал в глаза, и Костя видел, как побледнело вечно красное, нахлестанное ветрами лицо мичмана, видел, с каким испугом смотрели на него Хохлов и Дергушин. Костя хотел было беспечно улыбнуться в ответ, но не успел. Дикая боль полоснула по ногам, пронзила от паха до самых кончиков пальцев на ногах, и он, глухо охнув, задохнулся от жгучей рези. Дневной мир пошел темными кругами.

— Реутов! Реутов!

Голос мичмана слабо пробивался сквозь шум в голове, как сквозь огромную толщу воды. Костя был на дне горячей боли.

Не успевший выйти из крови азот «вскипел» и рвал Косте кровеносные сосуды. В глазах стоял багровый туман. Казалось, режут тело чем-то раскаленным. Он кричал, со стоном всхлебывая воздух. Казалось, он чувствовал, как под кожей вспухают и лопаются пузырьки, отдирая кожу от мяса. Он то терял сознание, погружаясь в красную зыбкую тьму, то пробивался сквозь болевую пелену, будто выныривал, и тогда слышал, как мичман горестно повторял:

— Не хватило выдержки! Не дал этот гад — прилетел! И не сбили ведь, не сбили! Мазиль!

И прежде чем совсем потерять сознание, прежде чем хлынула в голову горячая тьма, Костя успел подумать, что выдержка оказалась мала — «юнкерс» не дал досидеть.

Водолазы подхватили Костю и понесли в кубрик. Он стонал в беспамьятстве, и ноги его безвольно волоклись по сырой палубе.

Его уложили на рундук в кормовом кубрике. Хохлов и Дергушин в растерянности стояли над другом, бессильные чем-либо помочь. Мичман кинулся в рулевую рубку и крикнул старшине катера:

— В Мурманск! Полный ход!

И произнес страшное для водолаза слово.

— Кессонка.

Сутки пробыл Костя в рекомпрессионной камере спасательного судна «Святогор». Ему давали двойное давление, чтобы растворить в крови азот, и медленно «выводили на поверхность», но не помогло. Слишком долго шел водолазный бот по заливу, и пока добрались до базы на Дровяном, разрушительная работа кессонной болезни обрекла Костю на неподвижность.

С парализованной нижней частью туловища, с синяками и кровоподтеками на теле от лопнувших сосудов, будто после жестокого избиения, он был доставлен в мурманский госпиталь.

Рядом с Костей лежал пожилой шофер санбата.

Укороченные, забинтованные руки покоились у него на груди. Костя знал, что он вез раненых с передовой и попал под бомбежку. Осколками посекло руки, кабина стала, как решето, но все же пригнал он полуторку в санбат. И теперь руки с отнятыми кистями неподвижно покоились у него на груди, как два спеленатых младенца.

Косте шофер казался стариком из-за рыжих усов и седины на висках, хотя было ему только под сорок. Родом он был с Алтая, и это сразу сблизило их. Оказалось, что оба из-под Бийска и села их всего в полусотне километрах одно от другого. «Ты гли-ко! Ну ты гли-ко! — дивился шофер. — Вот земляк дак земляк! Почти с одного двора. Да я ваше село-то наскрозь знаю. Я по Чуйскому-то тракту тыщи верст намотал и каждый раз через ваше село еду, бывало. Ты гли-ка чо деется! Ну прям в самую точку земляк!»

Палата с завистливой радостью глядела на них. «Повезло, — говорили. — Вы тут вдвоем-то быстро с хворями справитесь.

Земляк на войне родней матери». Шофера величали Митрофаном Лукичом, но палата его звала просто Лукич, сразу и безоговорочно признав его старшинство. Костя подавал ему пить, кормил с ложки, когда нянечке некогда было — их разделяла только тумбочка.

За Лукичом лежал молодой парень с красивым и хмурым лицом. О нем было известно только то, что он из штрафного батальона и штурмовал Муста-Тунтури. На вопросы он не отвечал или резко обрывал, кто лез к нему с разговорами. Ранен был он в обе ноги, и на правой ему отняли ступню. Штрафник нюхал сам себя, брезгливо морщился: «Трупом пахну». «Человек, он не цветок на клумбе, чтоб ароматами пахнуть, — отвечал Лукич. — Он больше потом воняет».

Был в палате контуженный сапер Сычугин. Он вскакивал с кровати, будто подброшенный неведомой силой, лицо его дергалось, и если чуть что не по нему, начинал кричать, закатывать истерику. Костя его побаивался. Сычугин был весь изукрашен татуировкой — не человек, а картинная галерея. На груди орел, раскинув крылья, нес в клюве обнаженную женщину; от локтей до запястья, обвивая руки, ползли толстые змеи; на тыльной стороне ладоней были надписи: «До гроба люблю Аню» и «Не забуду мать родную». Кулаки были синие от надписей и рисунков.

Костя завидовал этим людям. Хоть они и увечные, израненные, искромсанные осколками и пулями, но вышли они из настоящего боя, знали, что такое война. Ему было стыдно перед ними. У него целы руки, ноги, и на передовой он не был. Когда прибывали в палату новые раненые и спрашивали, куда он ранен. Костя не знал, как и ответить.

От его постели шел тяжелый запах, кальсоны, простыня и матрац были постоянно мокры. Он тяготился своей немочью, сгорал от стыда, был неразговорчив и угрюм. Отводил душу только с Лукичом, который относился к нему, как отец к сыну. Они вспоминали милые сердцу родимые места, договаривались после войны обязательно встретиться.

Раненые, когда узнавали, что Костя водолаз, с наивным интересом расспрашивали его про морское дно, что там да как?





Костю удивляло их детское любопытство, их искреннее изумление, что вот он — водолаз и спускался на дно, видел потопленные корабли и всяких рыб. Все ждали от него рассказов про что-то необычное, диковинное, чуть ли не сказочное. А он им — про пушки, про танки, которые доставал со дна, да про утопленников. «И не боялся?» — задавали вопрос. «Нет, — неуверенно отвечал Костя, — ничего». «Так уж и ничего, — сомневался Сычугин, и губы его начинали дергаться. — Бывало, на базаре в карман лезу — и то трясет, как в лихорадке, сердце в пятки упрыгивает, а тут...» Сычугин до войны был вором-карманником. «Ночью один в поле останешься — и то оторопь берет, — поддакивал психу Лукич. — Бывало, на Чуйском тракте мотор заглохнет, ночь коротаешь до свету, и то напривидится всякое. А тут на самом дне, да один. Это, паря, како сердце надо иметь!» Костя пожимал плечами: надо было спускаться под воду, он и спускался. Сами они вон в огне побывали, на передовой, всякого понатерпелись, понагляделись. Что он по сравнению с ними!

Улучшений у Кости пока не было. Ног по-прежнему не слышал, от постели шел удушливый запах, и это его мучило больше, чем неподвижность. Он стыдился всех в палате, но особенно молоденьких сестричек. Когда меняли ему «судно» или «утку», он готов был провалиться сквозь землю и проклинал свою судьбу.

Просыпаясь ночами и слушая, как маются изорванные металллом, искалеченные люди, как бредят, как зовут сестричку на помощь, Костя понял, что здесь труднее трудного. В спертom, тяжелом от запахов крови, гноя, застиранных бинтов, хлорки и медикаментов воздухе стояло надсадно-хриплое дыхание, стон сквозь стиснутые зубы, бред и мат. От мертвого синего света лампы под потолком было еще тягостнее и тоскливее. Съедала Костю мысль, что он — калека, иставал он от тоски и бессилия.

— Ты, паря, людей-то не чужайся, — тихо говорил ему Лукич. — Ты прислонись к нам, мы тебе подмогнем всем миром. В одиночку-то — последнее дело. Без людей беда, хушь в бою, хушь в жизни.

Костя молчал.

— Ну как хушь. Не хушь говорить — молчи. Только тоску с сердца скинь. Пропадешь. Кручина задавит.

В палате всегда тревожно смолкали, когда начинался врачебный обход. Свита врачей и медсестер в белых халатах и шапочках сопровождала главврача. Руфа входила, как глыба весеннего льда, угласта и велика, шириною своей заполняя весь проем двери. Мощь телес ее выпирала из белоснежного только что отутюженного халата. Под столбообразными ногами, казалось, прогибался пол. На верхней губе чернели усики. Большие навывкате глаза будто всасывали в себя палату целиком, и все ранбольные были перед ней как на ладошке, обнаженные и беззащитные. Она все видела, все знала, сквозь землю на аршин смотрела. От нее за версту разило табачищем. Папиросу из зубов она выпускала только на ночь. В природе явно произошла непоправимая ошибка. Руфа задумывалась мужиком, но по родительскому недосмотру пришла на свет женщиной. Ей бы грузчиком работать или молотобойцем, а она была хирургом. Ее боялись как огня и врачи, и медсестры, и подсобный персонал, а раненые любили и звали ее слонихой. Но слонихой редко, по обиде. А так – Руфа. Она скажет – отрежет. Скажет: через месяц будешь ходить – значит, будешь. Скажет: рука-нога останется цела – значит, останется.

На этот раз впереди нее легким коlobком вкатился в палату маленький кругленький и розовый человечек в очках с золотой оправой. Он был на две головы ниже Руфы.

Все поняли, что это и есть светило из Москвы, знаменитый академик, которого давно ждали в госпитале.

Дольше всего он провел возле Корсета, тщательно выслушивая и осматривая его. Связист был без движения, на худом смертно-белом, будто гипсовом, лице чернела яма открытого рта. Лежал он всегда тихо, стонал только во сне. Из-под гипса сочилась гнойно-кroвая жижa. «Не жилец», – сказал однажды Лукич и вздохнул. Сычугин окрестил связиста «Корсетом». Так и звали его все, как-то сразу позабыв его имя и фамилию.

Наконец настал черед и Кости.

– Ну-с, морячок-сибирячок, – сказала светило. – Покажемся. – И сам отвернул одеяло. Обдало запахом мочи, нечистого мокрого белья. По тому, как он сам взялся за одеяло, Костя

понял: академик все знает о нем. Костя невольным жестом потянул одеяло на себя.

– Ну-ну, Реутов, – прокуренным голосом пробасила Руфа.

Трясушимися руками Костя развязывал тесемки кальсон на поясе и никак не мог с ними сладить. Академик неожиданно сильным рывком стянул с него кальсоны до самых колен, обнажив тело с багрово-синими подтеками – следами кессонки. Долго и внимательно осматривал и ощупывал Костин пах.

– Чувствуешь? – нажимал он пальцем. – А так? Больно – нет? А так? Совсем не чувствуешь?

Он колол иголкой, но Костя не слышал уколов. Руфа что-то говорила академику по-латыни, он кивал розовой круглой головой. А Костя стыдился своей наготы, запаха и молодых женщин в белых халатах, молча толпившихся у его постели.

– Позывов по утрам не бывает? – вдруг услышал Костя тихий шепот академика и совсем рядом увидел внимательные, серые, с тусклой уже синевою глаза.

– Каких? – не понял Костя.

– Мужских, – все также шепотом спросил академик, наклонившись к нему.

– Не-е... – Костя полыхнул огнем, у него даже в горле пересохло.

У академика сбежала с лица мягкая улыбка, глаза потеряли живость. Он что-то сказал по-латыни Руфе, она кивнула и внимательно осмотрела Костин пах. Молодые женщины-врачи тоже изучающе и серьезно смотрели на обнаженное Костино тело, а у него было только одно желание: съежиться, стать незаметным, исчезнуть. Сгорая от стыда, он потянул на себя кальсоны.

– Ну-ну! – строго сказала Руфа.

Наконец академик запахнул одеяло. Сняв очки и протирая их белоснежным носовым платком, он близоруко шурился и молчал. По этому молчанию Костя понял – дело его швах.

– Ну-с, морячок-сибирячок, – бодро сказал академик, – надобно еще полежать. Все будет в порядке. Да-с.

Он похлопал по одеялу и улыбнулся, но Костя ему не поверил. Когда врачи ушли из палаты, Сычугин сказал:

– Розовый. Харч у них хороший. Особый паек.

Костя накрылся одеялом с головой и уже там, под одеялом, в душной темноте завязал тесемки кальсон и сжался в комок. Его трясло. Он поскуливал от ужаса – неужели на всю жизнь останется калекой! Ночью умер Корсет.

Под утро Костя услышал какой-то шорох, приглушенный разговор. Он открыл глаза и в синем свете лампочки увидел санитаров, переключивающих Корсета с койки на носилки. Он был тяжелым в своем гипсовом панцире, и санитары не сразу справились со своим делом.

Капля по капле уходила из Корсета жизнь и вытекла вся.

– Отмаялся, – тихо произнес Лукич, когда мертвого вынесли.

– И Героя не дождался, – подал голос штрафник.

– А откуда он родом? – спросил Сычугин. – А? Братцы?

Костя обнаружил, что никто из раненых не спит. И оказалось, что никто и не знает, откуда был Корсет, где дом его, где семья.

– Был человек – нету, – вздохнул Лукич. – Дешевше соли стал человек.

Все угрюмо молчали, гнетущая тишина придавила палату.

– Морфию! Морфию дайте! – кричал кочегар.

«Мне легче, мне легче!» – шептал Костя, накрывая подушкой голову, чтобы не слышать диких криков кочегара. Этого обваренного паром матроса привезли в госпиталь два дня назад и положили на освободившееся после Корсета место. Говорят, кочегар не покинул своего поста, когда пробило осколками паровые трубы на корабле и пар заполнил все котельное отделение. Кочегар до конца поддерживал давление в котле, пока шел бой. Его вытащили обваренного как рака. На нем не было живого места. Голова была сплошь забинтована, и виднелся только сырой черный провал рта, из которого все время тек тягучий, полный мучительной боли крик.

«Мне легче, мне легче!» – как молитву, как заклинанье, повторял Костя.

– Братцы! – просил кочегар. – Позовите сестру!

– Аня! Анечка! – кричал Сычугин. – Ну дай ты ему морфию, пусть заткнется!

Сычугин уже сам кричал истерично, и все знали, что сейчас с ним начнется припадок.

– Нет, – отвечала сестра, входя в палату.

– Каплю, каплю одну! – молил кочегар, услышав голос сестры. – Сил нету терпеть! О-о!

– Нет, – отвечала сестра.

– Сука ты! Тебя бы в мою шкуру! – рыдал невменяемый кочегар.

– Нет, не могу я его слышать! – кричал и Сычугин и конвульсивно кривил рот. – Дай ты ему морфию! Жалко тебе!

Сестра бледнела, но твердо стояла на своем:

– Нельзя больше. Поймите.

– Лучше конец, чем так мучиться, – хрипел кочегар. – Лучше бы сразу!

Он рычал от боли, матерился, оскорблял сестру. Было страшно слушать, страшно видеть спеленатую мумию, у которой нет кожи, а есть сплошная вздутая рана, обваренная до мяса.

«Мне легче, мне легче!» – шептал Костя, и его трясло.

И так каждый день.

Но больше всего кочегар боялся перевязки, и когда приближалось время, беспокойство охватывало его.

– Дайте курнуть, братцы!

– Нельзя, в палате запрещают, – говорил обычно Лукич.

В ответ шипел штрафник:

– Хрен с ним, что нельзя. А муки такие терпеть можно? Вариться живьем можно? – Скручивал сигарку, втихую прикуривал ее под одеялом и вставлял в чмокающую дыру среди бинтов.

Мумия пыхла, пуская клубы дыма.

– Опять в палате курение! Кто разрешил? – строго спрашивала сестра, появляясь в дверях с санитарями, которые, толкали перед собой каталку.

Никто не отвечал на ее вопрос. Она подходила к кочегару, бралась за сигарку, но он, сцепив зубы, не выпускал.

– Ну поймите, нельзя курить в палате, – говорила сестра умоляющим голосом. – Отдайте.

Кочегар крепко держал зубами сигарку и густо дымил, стараясь побыстрее искурить ее.

И так повторялось каждый раз, прежде чем увозили его на перевязку.

Перевязочная была напротив через коридор, и Костя однажды видел в приоткрытую дверь все мучения кочегара во время перевязки. Кочегар затих на столе, а сестра разбинтовывала его, наматывая на руку серый окровавленный бинт. Намотав марлю на руку, она с силой, одним рывком, срывала прикипевший к телу бинт, рвала с кровью, с гноем, с мясом.

Кочегар кричал рыдающим голосом:

– Фашистка! Жалости у тебя нету!

– Кричи, миленький, кричи! Легче будет, – просила сестра и продолжала свою работу: вновь наматывала следующий бинт на руку и, стиснув зубы и зажмурившись, будто сама испытывала дикую боль, срывала присохшую марлю. Коричневые, пропитанные кровью бинты бросала в большой эмалированный таз.

– Изверги! Гестапо! Что ты делаешь, сука! Дай помереть! – кричал обезумевший от боли человек.

– Кричи, миленький, кричи! С криком боль уходит, – говорила сестра.

«Мне легче, мне легче!» – шептал Костя, забываясь под одеяло, в свою вонь, в свои мокрые простыни, лишь бы не слышать нечеловеческой боли кочегара. «Что же они не пожалеют его? Разве так можно!»

После перевязки кочегару делали укол морфия, привозили в палату. Мычащая от боли мумия уходила в тяжелый сон, стонала, материлась, хрипела и страшно зияла черным провалом рта среди белоснежных свежих бинтов. Палата тоже облегченно затихала. Лукич вздыхал:

– Это ж какие муки терпит человек!

– Иус терпел и нам велел, – не то в насмешку, не то всерьез говорил штрафник.

– Иди ты со своим Иусом! – взрывался Сычугин. – Иусу таких мук и не снилось.

– По мукам-то мы все – святые, – говорил Лукич.

— Святые! — зло усмехался штрафник. — Кто — святой, а я так — грешный, и вариться мне в котле со смолой на том свете.

— Тебе еще только вариться, а он уже сварился, — кивал на кочегара Лукич.

По ночам кочегар опять кричал, просил морфию, матерился, плакал. Забинтованная голова его, будто белый шар одуванчика, на тонкой шее бессильно перекатывалась по подушке.

— Ну пожалей, силов нету никаких. Помираю, — слезно молил он.

— Нет, миленький, нельзя. Еще хуже будет. Потерпи.

— «Потерпи», — хрипел кочегар. — Нету у меня силов терпеть. Нету-у!

— Кровопийка! — взрывался Сычугин. — Тебе бы так! Уколи ты его!

Но сестра была неумолима.

«Ну что она не уколёт его? — думал Костя, страдая за кочегара. — Какое сердце надо иметь!»

А потом видел, как плакала сестра, тихо, чтобы никто не заметил. Вытирала слезы со щек и все гладила и гладила обваренную забинтованную руку кочегара и что-то говорила слабым голосом, будто напевала колыбельную.

Синий свет ночной лампочки, мертвенно-бледное лицо сестры, черные запавшие глазницы, скорбно поджатые губы — все казалось нереальным, каким-то кошмарным сном, и Костя хотел пробудиться, бежать куда-то, подальше от всех этих мук и страданий, и как молитву повторял: «Мне легче, мне все же легче!»

Кончался уже март — вьюжный, холодный. И хотя на сопках лежали еще не тронутые солнцем снега и сосульки боялись спустить ноги с крыш, все же и здесь, на Крайнем Севере, дни стали светлее и дольше, и вот-вот очнется земля от студеной дремы, ударит оттепель, присядут, покроются ноздреватым настом сугробы, и засинеют дали.

Лукич подсказал Косте соорудить из железной воронки и солдатской фляжки приспособление и повесить себе на пояс. Кальсоны теперь были сухие. И Костя поверил, что вернется к нормальной жизни. Он уже начал понемногу ходить.



С костылями. И хотя волочил еще за собой непослушные ноги, но все же двигался и был рад этому несказанно. «Теперь – все, – ободрял его Лукич. – Молодость, она возьмет свое».

Костя любил, пристроившись на подоконнике, рассматривать разрушенный и сожженный Мурманск. За развалинами виднелся залив, порт, корабельные мачты.

Предчувствуя наступающее тепло, все повеселели, в палате начались весенние разговоры.

– Была у меня до войны сударушка, – сказал как-то Сычугин, примостившись рядом с Костей на подоконнике. – Настей звали. Мы с ней в одном бараке жили, на самой окраине города. Вхожу раз, а она пол моет. Подол подоткнула за пояс и двигается на меня задом. А ноги белые, толстые. Ну, братцы!.. – Сычугин глубоко, со стоном, вздохнул. – Помутилось у меня в глазах. Принимаю боевое решение: иду в атаку!..

Сапер замолчал. Палата ожидающе затихла.

– Ну? – не вытерпел кочегар. Ему стало легче, и он уже вникал в разговоры.

– Чего «ну»? – невинно спросил Сычугин, глядя в окно.

– В атаку же пошел, – напомнил штрафник.

– А-а... – вспоминаясь протянул сапер. – Отбила.

– Чего так? – усмехнулся штрафник,

– «Чего!» Я ж говорил: тряпка у нее в руках. Мокрая.

– Захлебнулась, значит, атака, – всхотнул штрафник.

– Тебя бы туда! Она – с центнеру весу, а я вишь какой – один нос. Тут маневр нужен, тактика и стратегия. Отступил я по всем правилам военной науки на заранее подготовленные позиции.

– Ну и брехун ты! – встрял в разговор Лукич.

– Почему – брехун? – обиделся Сычугин. – Потом такую любовь закрутили – танками не растащишь. Смертная любовь произошла. Она меня на руках носила. Возьмет на руки, как дите, и несет по полю, а у меня дух захватывает.

– Чего захватывает-то? – ожидающе спросил кочегар.

– «Чего!» Несет-то не куда-нибудь, а к стожку. Я ж отблагодарить должен. А она раза в три больше меня. И силища как у быка. Бывало, драка в бараке случится, за ей бегут: «Настя, разымай!»

Она мужиков сгребет за шкуру, держит на весу и приговаривает: «Целуйтесь, а то память отшибу». Как щенят, держит. А мужики-то не кто-нибудь, не шаль-валь, а подручные сталеваров. Туда народ ядерный подбирают. Там лопатой восемь часиков шуровать надо. В общем, проволынились мы с ней лето, от меня ни кожи ни рожи не осталось. Миленький, говорит, люблю тебя до смерти, а сама белугой ревет. От счастья. Ты, говорит, мне свет в окошке. Ты ж, говорит, обабил меня, соколик ты мой ясный. Ко мне, говорит, мужики-то робели подступиться, а я любвеобильная. Как стиснет меня, аж кости трещат. Удушит, бывало, до смерти...

Палата весело хохотала, а Лукич ворчал:

— Ну, варнаки, жеребцы застоялые! Пора вас из госпиталя выписывать. Завтра скажу Руфе, пуцай гонит вас. Как чирьи токо не вскочут на языке-то!

— Ты, Лукич, старый уже, зубы роняешь, — отбивался сапер. — А в нас еще кровь играет, не гляди, что мы ранетые. Весна вон на дворе. — И, посмотрев в окно, вдруг тоскливо вздохнул: — Эх, славяне! Когда же победа? А?

— Теперь уж чо, — отозвался Лукич. — К лету завершим. К пахоте, даст бог.

— Или к покосу, — вклинился в разговор Костя, вспомнив милую сердцу крестьянскую работу, напоенные солнцем июльские дни, степную даль и синие горы в жарком мареве на окоеме.

— К пахоте бы, — вздохнул Лукич. — К пахоте в самый раз. Солдаты бы домой подвалили. Руки нужны деревне.

Он покосил глазом на свои забинтованные укороченные руки.

— А ты-то как думаешь? — спросил Сычугин, поймав взгляд Лукича.

— А чо я! — спокойно отозвался Лукич. — Тоже не в поле обсевок. В колхозе бригадиры нужны. Полеводом буду. — Он вздохнул с сожалением. — Шоферить вот больше не смогу. Любил я это дело. Едешь, бывало, по степи — простор! Ветерок в лицо бьет. От Бийска до Белокурихи иль по Чуйскому тракту до самой Монголии. Душа не нарадуется на наши алтайские места. Красивше нету.

Костя сердцем рванулся за словами Лукича, вспомнил родное село, синь высокого неба, жаворонков над полем и распаханый простор: куда ни кинь глаз — степь, травы, хлеба. И так захотелось домой, что слезы на глаза навернулись. Он уставился в окно, чтобы никто не заметил его минутной слабости.

— Ничо, — убеждал самого себя Лукич. — Буду теперь бабами командовать, свеклу садить, горох, огурцы, морковь...

— Да-а, — задумчиво протянул Сычугин. — Я тоже отсаперился. Тонкая работа теперь не по мне. Я теперь даже в карман не залезу. — Сычугин горько усмехнулся, взглянув на трясущиеся руки. — Там ювелирная работа нужна, чуткость пальцев. Не легче, чем мины разряжать. Все специальности порастерял...

Наступил час, и штрафник ушел из палаты на костылях, уехал к себе в Воронеж. На прощанье в дверях он поклонился всем и сказал:

— Не поминайте лихом.

— С богом, — откликнулся Лукич.

Увезли куда-то в глубь страны, в другой госпиталь кочегара. Ему предстояли пластические операции на лице, пересаживание кожи. Ему еще долго лежать по госпиталям.

Когда разбинтовали лицо, в палате ужаснулись. Оно было багово-сизым, покрыто гнойными коростами. А там, где ссохшиеся струпья отвалились, как еловая кора, обнажилась красная новорожденно-тонкая пленка и глянцево блестя. И над этим обваренным до мяса лицом по-детски наивно вились мягкие — желтее солнца — волосы. Уши были распухшими, обвисли красными лопухами и тоже в струпях. Среди отталкивающей багровой маски по-весеннему чисто голубели глаза в безресничных веках, и взгляд от этого был обнажен и странно-длинен.

Кочегар попросил зеркало и отшатнулся, увидев себя.

— Ничего, — успокаивал его Лукич, — бороду отрастишь, усы — прикроешь ноготу.

— Если расти будут, — ответил кочегар.

— По голове глядя, чуб красивый был, — заметил Сычугин.

— Был... До войны все было, — кочегар заплакал.

Все замолчали...

В палату привезли новых раненых.

Из старых остался Сычугин, которого все еще били припадками, да Лукич – ему раздвоили обе культяпки, чтобы мог он хотя бы ложку держать.

Как-то в палату вошла сестра и сказала Косте:

– Там водолаза привезли. В седьмую. Может, твой знакомый? Колосков фамилия.

Медленно переставляя непослушные и тяжело отстающие от туловища ноги, Костя на костылях пошел в седьмую палату.

Колосков был тоже парализован. У него отнялась вся правая половина тела. Говорил он невнятно, тяжело ворочая непослушным языком. Колоскова тоже спешно подняли с глубины при бомбежке. Но в рекомпрессионную камеру на «Святогоре» попал осколок бомбы, и, пока Колоскова доставили на Дровяное (так же, как и Костю, с опозданием), кессонка сделала свое дело.

– Конец мне, – тихо сказал Колосков, когда Костя пришел навестить его.

– Брось, Колосок, не паникуй. – У Кости защемило сердце. – Видишь, я...

– Нет, – качнул на подушке головой Колосков и вдруг забеспокоился. – Ты знаешь... напиши письмо.

– Давай, – согласился Костя, обрадованный хоть чем-то помочь товарищу. – Домой?

– Нет, – смущенная улыбка коснулась бледных губ Колоскова. – Девушке одной. В Москву. Мы с ней познакомились, когда я сюда из водолазной школы ехал, с Байкала. А она домой из эвакуации возвращалась. Ехали в одном вагоне целую неделю. Два года уже мне письма шлет. Пишет, что ждет меня.

Помолчал.

– Куда я ей такой. Верно? – спрашивающе смотрел он в глаза Кости. – Верно я говорю?

Костя не знал, что ответить.

– Ты напиши, что я погиб.

– Как погиб? – ошарашенно уставился на него Костя. – Ты что?

– Напиши. Зачем я ей такой? А она красивая... Он задохнулся, что-то замычал, ворочая непослушным языком.

– Ты напиши, что я в бою погиб.

– Не буду писать, – отказался Костя.

– Ты пойми, – убеждал Колосков, глаза его горячечно заблестели. – Ей легче будет, что я погиб. Смертью храбрых.

Он перевел дыхание, снова невнятно забубнил:

– Напиши, бежал, мол, в атаку и упал. С пулеметом бежал. С ручным. Впереди всех. Чтоб красиво было, чтоб как в кино. Пускай она вспоминает мою геройскую смерть. Будь другом – напиши.

– Что ты себя хоронишь? Видишь вот, я... – пытался урезонить его Костя.

– Ты – одно, я – другое. Будь другом, прошу.

Костя написал.

Через неделю Колосков умер.

Костя был потрясен, мрачно лежал в палате, не разговаривал, не ходил. Его поразило предчувствие Колоскова. Думал он и о себе.

– Не боролся, – сказала Руфа. – А за жизнь надо бороться.

Она строго глядела на Костю в тот день, когда делала обход.

– Воля к жизни – главное в выздоровлении. Вот пример, – она кивнула на кровать, где когда-то лежал обваренный кочегар. – Будет жить.

Костя вспомнил, как кочегар хрипел: «Врешь, мне еще расквитаться надо. Врешь!»

– И ты молодец, – неожиданно похвалила Костю врач. – Скоро выйдешь отсюда.

И Костя поверил. Раз Руфа сказала – значит, выйдет.

...В начале мая Костя выписался из госпиталя.

И когда вышел, у него закружилась голова от чистого, настоящего за зиму на полярных снегах воздуха. Костю качнуло, он ухватился за косяк двери и долго стоял, ощущая звонкую легкость тела и болезненно-щемящий голод по чистому, не пахнущему гноем, кровью и хлоркой воздуху. Дышал и не мог надыхаться. Дышал до боли в груди.

Костя неуверенно сделал шаг, другой – и пошел, боясь еще, что земля ускользнет из-под ног. Но чем дальше шел, тем увереннее и тверже ставил ногу, и птахой, выпущенной на свободу, ликовало сердце.

Костя оглянулся. В окнах белели лица раненых. Он различил знакомые – вон Лукич, вон Сычугин. Раненые что-то напутственно говорили, но за стеклами не было слышно, он различал только доброжелательные улыбки.

Костя поднял руку, и в ответ взметнулись десятки рук, и у него от любви и жалости к этим людям перехватило дыхание и наворачнулись слезы.

Полгода пролежал Костя в госпитале и теперь, покинув его, верил, что все муки позади. Прости-прощай, госпиталь! Прощай, душная палата, прощайте, тяжелые бессонные ночи, стоны, хрипы и боль человеческая!

...Сквозь предпобудную дрему, что охватывала Костю каждый раз около шести часов утра – когда спишь и не спишь, то очнешься, то опять уйдешь в сон, когда ушки на макушке и ждешь команду «Подъем!» – он услышал поспешный топот сапог в коридоре барака, кто-то ворвался в комнату и заорал на высокой ноте:

– Победа! Кончай ночевать!

Костя не поверил, подумал: пригрезилось в дремоте.

– Победа, братва! Победа, кореша! – кричал Дергушин, и голос его срывался.

– Врешь! – хриплым со сна голосом сказал Вадим Лубенцов, и лицо его побледнело, но в голосе уже слышалось сомнение в своем озлоблении, было ясно, что он уже верит, только очень боится ошибки.

– Не вру, славяне! Не вру! Победа! – слезно смеялся Димка.

– Кто сказал? Кто? – допытывался мичман Кинякин.

Он уже вскочил с постели, в кальсонах, в тельняшке, растерянно хлопал белыми ресницами и топтался босыми ногами по холодному полу. Сухоребрый, маленький, с прямыми тонкими плечами, среди рослых водолазов он казался мальчишкой. И только морщинистый лоб да короткие пшеничные усы выдавали, что он уже не первой молодости.



– По радио передали! – кричал ему, будто глухому, Димка. – Да вон, смотрите!

Димка ткнул рукой раму, и в распахнутое окно ворвалась пальба: хлопали зенитки на бурых с заплатами нестаявшего снега сопках; возле главного пирса, на эсминцах, звонко били крупнокалиберные «эрликоны»; тянулись в низкое, по-утреннему бледное небо разноцветные автоматные очереди.

Долгожданная радость опалила водолазов, выкинула из нагретых постелей. Не успев одеться, в тельняшках, в кальсонах толклись они между нарами, тискали друг дружку молодыми крепкими руками и целовались. Трещали кости, раздавались увесистые шлепки по спинам, кто-то весело, с лихими коленцами матюкался в адрес Гитлера. Лубенцов морщился – ему ненароком задела недолеченную рану на спине.

– Ну дали звону! Ну дали! – смеялся Игорь Хохлов и тряс за плечи Костю. – Чего лежишь? Вставай! Обалдел?

Он стащил Костю с постели и так стиснул, что у Кости дух зашелся.

– Теперь мама приедет, – шептал на ухо Игорь. – Теперь – все.

И колол рыжими усами, которые отпустил для солидности, пока Костя лежал в госпитале.

Костя знал, что у Игоря где-то в Сибири находится в эвакуации мать. И сам Игорь был призван на службу оттуда же, хотя родом он из здешних мест, из Мурманска. Теперь вот вернется домой и его мать.

А Димка Дергушин стоял и плакал.

Он пытался извинительно улыбаться, но слезы текли и текли. Шея его вытягивалась, большие, будто белые лопухи, торчащие уши резко выделялись на темном проеме открытой в коридор двери и казались еще больше, чем всегда.

В комнате постепенно затихало. Все знали – у Димки погибли два брата. Один на фронте, другой умер с голоду в блокадном Ленинграде, откуда самого Димку вывезли еле живым.

Помрачневшие водолазы молча смотрели на товарища. Лубенцов морщился, как от зубной боли. Не было среди них ни одного, у кого бы кто-нибудь не погиб на войне. У Кости тоже



двое дядей легли, оба в сорок втором, и школьный друг в сорок четвертом.

Мичман Кинякин объявил:

– Форма одежды парадная! Начиститься, надраиться! Великий праздник наступил!

Голос его осекся. Он сжал, челюсти, сурово свел белые брови и, справляясь с минутной слабостью, глядел в окно.

Водолазы, возбужденно переговариваясь, приводили в порядок редко одеваемую парадную форму. Костя обнаружил, что на бушлате едва держатся погоны и лопнули в шаге парадные черные брюки. Ниток ни у кого не оказалось.

– Дуй вон к Любке, – посоветовал Лубенцов. – Тут по коридору в последней комнате деваха живет. Неделю как поселилась. Он блеснул красивыми белыми зубами, со значением подмигнул: – По случаю праздничка, может, не только на нитки расщедрится.

– Попридержи язык-то, – недовольно буркнул мичман, привешивая на форменку начищенные зубным порошком медали.

– Ладно, свекор, – усмехнулся Лубенцов и, прищулив темные, всегда хранящие холодок глаза, сказал Косте: – И на мою долю попроси.

Она мыла пол. Костя деликатно кашлянул.

– Ой! – испуганно выпрямилась Люба и торопливо опустила подол юбки, прикрывая голые колени.

Костю бросило в жар от ее стыдливого жеста.

Лицо Любы было красно от наклона, вспотевшие темные волосы растрепаны. Тыльной стороной мокрой ладони она откинула их с глаз, и Костя увидел круглое лицо со вздернутым носом и карими, с косым монгольским разрезом, глазами. Черные брови были вразлет. Оттого, что глаза ее слегка косили, взгляд был ускользающ, неуловим и, казалось, таил усмешку.

– Я за нитками, – сказал Костя. – Ниток у вас не найдется?

– Господи, вот напугал! Аж сердце зашлось. – Она утерла ружейной вспотевший лоб, весело оглядела его бойкими, с озорным блеском, глазами, и шалая улыбка заблуждала по ярким полным губам. Совсем не было заметно, что у нее «зашлось сердце».

— С праздничком тебя! С победой! — пропела она и, вдруг шагнув к нему, звонко чмокнула его прямо в губы.

Он вспыхнул — его впервые в жизни поцеловала женщина.

— И вас тоже, — выдавил Костя из пересохшего горла.

— С праздником великим! — все так же нараспев повторила Люба. — Ты чей будешь?

— Реутов, — простодушно ответил он, еще не придя в себя от поцелуя, еще ощущая прикосновение ее влажных горячих губ.

Люба засмеялась, обнажив мелкие белые и ровные, как на подбор, зубы, а Костя опять залился краской.

— Я говорю, кто ты? Чей? — Она с интересом глядела на него.

— Я водолаз, — растерянно сказал он. «Вот заладила: чей да чей?»

— Водола-аз! — с искренним удивлением протянула она и приветливо улыбнулась. — А чего я тебя не видала? Новенький?

— Вчера приехал. — Костя отводил глаза в сторону, стараясь не глядеть на ее босые ноги.

Люба заметила это, и улыбка скользнула по ее губам, оставив нетающий след.

— Дадите ниток?

— Ниток тебе? — будто впервые услышала она, все еще придерживая непонятную улыбку в уголках рта.

— Ниток, — зло сказал Костя, собираясь уже повернуться и уйти.

— Каких? Чего шить собираешься?

— Черных.

Что он будет шить, Костя умолчал. Не мог же он сказать ей, что у него лопнули по шву штаны в шаге.

Бросив тряпку в таз, Люба вытерла руки о подол и на цыпочках, невесомо и быстро прошла по свежевывмытым половицам к окну, открыла железную зеленую баночку из-под леденцов на подоконнике и вынула из нее катушку черных ниток.

— Много тебе? — вполуборот спросила она. Костя пожал плечами, он не знал, сколько надо, да еще и для Лубенцова требовалось. Люба наматывала нитки на свернутую бумажку и косила на Костю глазом, и этот скользкий взгляд смущал его.

На фоне светлого окна была хорошо видна ее крепкая, плотно сбитая фигура. Полная белая шея была обнажена, невысокая грудь туго обтянута старенькой, но чистой желтой кофточкой.

— Бледненький какой, худенький, — сказала она, возвращаясь от окна. — Водолазы ваши вон какие... гладкие, а ты... Чего такой?

— Я из госпиталя, — недовольно ответил Костя.

— Из го-оспиталю, — нараспев повторила Люба и жалостливо посмотрела на него. — То-то, гляжу я, бледненький какой. Раненый был?

Костя снова полыхнул огнем. Не надо было говорить ей про госпиталь, начнет еще выпытывать.

— Пойду я, — сказал он, будто попросился, когда она подала ему нитки. — Спасибо вам.

В кубрике его встретил острым взглядом Лубенцов.

— Что-то долго ходил. Дала — нет?

Костя показал нитки.

— Гляди-ка! — хмыкнул Лубенцов. — Ну, парень, чует мое сердце — разговеешься ты ради великого праздничка.

— Лубенцов! — недовольно окликнул его мичман Кинякин.

— Чего, мичман? — обернулся старшина.

— Ничего, — сердито буркнул Кинякин. — Язык больно у тебя...

— Язык как язык. Чего тебе-то? Девка вон какая икрная ходит. Это ж такое добро пропадает!

Лубенцов горестно покачал головой, матросы разулыбались, а мичман сердито спросил:

— Обзарился?

— Аж зубы ломит, Артем. — Лубенцов подмигнул, черным озорным глазом. — Такая нетель пасется, молодая коровка!

Мичман крякнул с досадой и вышел из кубрика. А Костю то жаром обносило, то в холод бросало: Любин поцелуй еще жил на его губах.

В обед прибыло начальство с базы: командир аварийно-спасательного отряда, болезненно-толстый, страдающий одышкой, с багровым отечным лицом инженер-капитан второго ранга Ващенко, и с ним водолазный специалист отряда младший лейтенант Пинчук, подвижный, остроносый, с выискивающим прищуром все примечающих глаз.

Командир обошел короткую шеренгу матросов, полюбовался ими, прогудел замешенным на хрипотце голосом:

— Красавцы! Прямо хоть на парад. А?

Он обернулся к Пинчуку, тот ответил сдержанной улыбкой.

Мичман Кинякин, старшина первой статьи Лубенцов и еще двое-трое сверкали орденами и медалями, у остальных на груди было пусто, но стояли они подтянутые, надраенные и веселые.

Командир поздравил всех с победой, произнес краткую речь, вновь полюбовался молодцеватым видом водолазов, будто видел их впервые, и отеческая улыбка не сходила с его добрых губ.

Взгляд его задержался на Косте, и какая-то тень мелькнула по лицу командира, а Костя вспомнил, как еще вчера Ващенко задумчиво говорил в своем кабинете в штабе базы: «Куда же мне тебя послать? Давай-ка в Ваенгу. Глубина там малая, работа возле берега». Он вертел в руках госпитальные документы Кости: «А то у тебя тут понаписано: на большие глубины не пускать». Взглянул на Костю: «Ты как себя чувствуешь? Сможешь работать под водой? А то на камбуз тебя определим». «Смогу», — ответил Костя.

Прямо из кабинета командира на попутной машине, везущей водолазам продукты, он прибыл в распоряжение мичмана Кинякина...

— После обеда всех в увольнение! — приказал командир.

— Есть! — козырнул мичман.

— И... вот что. Праздник-то праздником, но вести себя достойно флоту. Никаких чтоб нарушений, — напомнил командир.

— Есть! — снова козырнул мичман и строго обвел глазами водолазов, задержав взгляд на Лубенцове.

Усатый красивый старшина первой статьи Вадим Лубенцов, полвойны отмолотивший в морском батальоне, сиял набором орденов и медалей, вызывая восхищение и зависть молодых матросов. Поймав взгляд мичмана, Лубенцов усмехнулся, а Кинякин сдвинул брови.

После обеда отпустили в увольнение.

Водолазы сразу пошли на пирс, где возле ошвартованных боевых кораблей было уже черным-черно народу, — толпился

празднично возбужденный гражданский люд, пришедший сюда из Верхней и Нижней Ваенги.

Гражданский люд качал матросов, целовал, благодарил за победу. Какой-то согнутый годами дедок, со слезинками на ресницах, совал алюминиевую мятую кружку и, дыша приятно-хмельным хлебным духом, говорил, пришепетывая из-за отсутствия зубов:

– А мой Лешка – танкист. Два «Красных знамя» у его. Город Кенигсберг преклонил. Слыхали про город Кенигсберг – нет, сынки?

И с пьяной щедростью, расплескивая, наливал бражку из синего эмалированного чайника.

– За Лешку мово, за танкиста! Ах, орлы-орелики.

Водолазы пили за Лешку-танкиста, за летчиков, за пехоту. Со всех сторон тянулись к матросам кружки, граненые стаканы, глиняные бокалы, рюмки – народ запасася посудой и питьем.

– Выпей, сынок, – предлагал дедок Косте. – Дождались заветного часу!

Подбородок дедка выскоблен по случаю праздника, порезан с непривычки, седая щетина кустиками торчит под фиолетовыми губами.

– Выпей, соколик! Жив остался – значица, повезло. Выпей за свое счастье, – почему-то с просительной жалостью улыбался он, обнажая пустующие десны.

Не дождавшись ответа Кости, сам отглотнул из кружки, замотал головой.

А рядом какой-то тощий мужик весело шурил хмельные, будто из бойницы, выглядывающие из-под нависших бровей глазки и кричал:

– Победа, народ! Свернули Гитлеру санки! Пляши, люди! Йех, звони, наяривай!

И припевал, приплясывая и прихлопывая себе ладошками:

*Ах ты, милая моя, я тебя дождался,  
Ты пришла, меня нашла, а я растерялся!..*

— Моряки! Товарищи подсердечные! — просительно пристал он к подвернувшимся водолазам. — А ну врежьте «барыню» или «яблочко»! Морячки! А?

Появился гармонист, образовался круг, и разгоряченный хмельной Лубенцов уже выбивал с яростным весельем «чечеточку» на причальных досках. Надраенные медали ослепительно вспыхивали и звякали на его молодецкой груди. Народ любовался им, подсвистывал и дружно хлопал.

— Йех, мил дружок, садово яблочко!

Пьяный рыбак бухал бахилами, будто вколачивал кого в настил.

Народ все подваливал и подваливал на причал.

Было уже тесно, как на первомайской демонстрации. Того и гляди — настил провалится, плахи на причале треснут. У людей ровно пружины в пятки вставлены — все плясали.

— Йех, чубарики-чубчики! — изо всех сил огрел себя по ляжкам рыбак. — Рви подметки!

Он все пытался влезть в самую гущу пляшущих, но его со смехом выталкивали.

— А ну переплунь через губу! — кричали ему. — Наелся доверху!

Костя тоже смеялся, его подмывало пуститься в пляс и вот так же лихо, как и Лубенцов, отбивать «чечеточку», да только ноги еще не были с ним в ладу. Ходить-то он ходил уже хорошо, но плясать не мог.

— Идем, — тихо сказал мичман Кинякин.

Костя тронул за рукав бушлата Игоря Хохлова, тот Димку Дергушина, а Димка поманил пальцем Вадима. Лубенцов понятиво кивнул и напоследок выкинул такое коленце, что весь люд ахнул.

Вадим победно вышел из круга.

Его место тут же заняла какая-то пухленькая, перетянутая в рюмочку армейским ремнем зенитчица в начищенных до блеска сапожках. Личико, как солнышко, — круглое да розовое, гимнастерочку одернула, да как топнет-притопнет, да как рассыпет каблучки, да как пустит забористую частушечку в раскат — народ до ушей рот растворил:

*Перед мальчиками ды ходит пальчиками,  
Перед зрелыми людьми ды ходит белыми грудьми!..*

Рыбак восхищенно хрюснул бахилом в настил — гул пошел:  
— Йех, хвост в зубы, пятки за уши!

Рыбака так и подмывало пуститься в пляс, но удержать равновесие он не мог и, топнув ногой, косо резал толпу жердистым телом, его подхватывали, не давая упасть, хохотали.

Лубенцов замешкался, не спуская прицельных глаз с зенитчицы, и что-то негромко сказал ей. В ответ, не отводя смелого взгляда, девушка бойко выкрикнула:

*Ах, милый, где тебя носило?  
Я пришла, а тебя нет!*

Лубенцов хмыкнул, пообещал вернуться и, тяжело дыша и оглядываясь на зенитчицу, крупным шагом догонял друзей. Шалая улыбка не покидала его разгоряченного лица.

— Йех, пряники-то съела, а ночевать не пришла! — рявкнул уже весь потный и распаренный рыбак, будто в бане его веником нахлестали.

Водолазы шли в сопки, а за спиной все набирало и набирало силу веселье, рвал меха гармонист, взметывался хохот, и не смолкал дробный перестук каблуков по деревянному настилу причала.

Кладбище было небольшое. На краю его, в голых низких кустах, в прошлогодней бурой, еще только что начинающей обнажаться из-под снега траве, мертвенно-тусклым блеском светилась скелет врезавшегося в сопку «юнкерса». Лежали на кладбище зенитчицы, моряки, летчики, пехота.

У водолазов был свой уголок, где были захоронены друзья. Одного раздавило между бортом судна и понтоном, другой задохнулся на глубине, когда на катере взорвались от пулеметной очереди «юнкерса» баллоны с сжатым воздухом (может, это он потом и врезался в кладбище?), третий был убит на палубе осколком при бомбежке.

– На колени! – глухо приказал мичман.

Они стянули с голов бескозырки и опустились на колени. Чувствуя, как промокают клеши на сырой земле, Костя услышал рядом непонятный звук. Он скосил глаза и увидел, что мичман плачет и яростно трясет головой, чтобы победить свою слабость. Под холмиком лежал его друг-земляк, с которым прошел он всю войну, и уже в феврале этого года срезало дружка осколком бомбы...

На обратном пути они вновь увидели дедка. Пьяненький, сиротливым воробышком притулился он на бревнах рядом с веселой хмельной толпой и ронял тихие редкие слезы. В ногах стоял пустой уже чайник и валялась мягая алюминиевая кружка.

– Папаша, ты чего? – спросил мичман.

Дедок затуманенно глянул выцветшими глазками, обиженно сморщился.

– Сгорел Лешка-то мой, – сообщил он, будто продолжая какой-то разговор. – Танк у его был. Весь железный, а горит.

На обветренных скулах мичмана вспухли желваки.

– Ничего, отец, – утешил он деда. – Ничего. Теперь жить можно.

Дедок не слушал, что говорил мичман, затерянно и беззащитно сидел среди буйного веселья и хмельной радости.

Лубенцов ммуро смотрел в землю, и Костя видел, как яростью наливается его лицо, становится страшным.

А плясуны мешали небо с землей. Причал ходуном ходил, вершковые плахи настила стоном стонали.

На миг в толпе Костя увидел в легком не по сезону, цветастом платье Любу. Крутогрудая, налитая соком, как яблочко в меду, выплясывала она с каким-то матросом, безоглядно отдаваясь веселью и радости, припевала деревенские частушки. Разгоряченное лицо ее открылось и тут же исчезло в толпе, заслоненное счастливыми раскрасневшимися лицами военных и гражданских.

*Утомленное солнце нежно с морем прощалось...*



Заезженная пластинка шипела, томно-сладкий голос певца хрипел и потрескивал, но патефон, откуда-то появившийся на причале, не смолкал. И пары заворуженно двигались в такт танго. Влюбленно и смело смотрели в глаза друг другу выжившие за войну люди.

Вечером, за праздничным ужином, Вадим Лубенцов гадал:

– Ну еще самое большое – полгода, и – по домам. Я думаю, к осени демобилизуют.

Мичман Кинякин слабо кивал полысевшей за годы службы на Севере головой, думая о чем-то своем.

– В Ленинград бы съездить, – мечтательно произнес Дергушин. – Дома уж сколько не бывал.

После того как Димку по «Дороге жизни» вывезли из осажденного Ленинграда, он растерял своих родных, не знал – живы они или нет. Два брата погибли. Где мать, где отец? Сестренка? Димка писал чуть не каждую неделю в освобожденный Ленинград – домой и соседям, но ответа пока не получил.

– Вам еще, как медным котелкам, – «утешил» молодых водолазов Лубенцов. – У вас еще и положенный срок службы не кончился. Сколько ты служишь?

– Три года, – ответил Димка.

– Ну вот, еще до нормы два осталось.

– Говорят, год войны за три будут засчитывать? – подал голос Игорь Хохлов.

– Говорят, что кур доят, а коровы яйца несут, – хмыкнул Сашка Беспалый, кадыкастый, мослатый, с провалившимися щеками, несмотря на то что был он коком и все время находился при продуктах.

– Во-во, – поддержал Сашку-кока Лубенцов. – Да тебе-то, Хохлов, куда торопиться? Ты же дома служишь. Мать вернется из эвакуации – всю жизнь можешь служить.

Игорь смущенно улыбался. Ему действительно было лучше всех – служил он дома, в родных краях. Он в эту Ваенгу до войны с отцом по грибы приезжал и знал здесь каждую сопку. Отец его и погиб неподалеку от этих мест, при защите Мурманска в сорок первом.

Вадим Лубенцов откинулся на нарах, тронул струны гитары, запел красивым сильным голосом:

*Прощайте, скалистые горы,  
На подвиг Отчизна зовет...*

Лицо Вадима стало задумчивым и суровым. Наверное, он видел неласковое Баренцево море, полуостров Рыбачий, на котором пришлось ему воевать, видел эсминцы, уходящие в дальний боевой поход.

Косте захотелось побыть одному, и он вызвался наколоть дров на камбуз: Сашка-кок не раз уже предупреждал, что назавтра нечем топить, но все за столом пропустили его слова мимо ушей.

Когда Костя вышел из барака, его поразили огни. Он отвык за войну от ночных огней: побережье было затемнено, и строжайше запрещалось всякое освещение. Теперь же, в первый победный вечер, все кругом было в огнях.

Светились окна Верхней и Нижней Ваенги, светились огни на причале и кораблях, длинными желтыми кинжалами отражались в спокойной воде залива. Небо очистилось, и в нем ярко сияли крупные близкие звезды, будто и небо в честь победы было расцвечено праздничной иллюминацией.

Наколов дров, он сел на бревна, сваленные солдатами на берегу для постройки ряжей. Хорошо пахло смолой свежоошкуренного дерева, йодистым настоем морских водорослей, и приятно охлаждал разгоряченные щеки легкий ветерок с залива. Вдыхая чистый, знобкий воздух, Костя слушал доносившийся из барака смех, звон гитары и сильный голос Лубенцова. И вдруг вспомнил, как два дня назад его вызвала к себе в кабинет врач и сказала: «Вот и уходишь, Реутов. Ноги твои теперь в порядке, скоро плясать будешь». Она закурила «Казбек», сильно, по-мужски затянулась. Костя почувствовал, что она хочет сказать что-то особое. «С ногами все в порядке, — повторила врач. — Дело в другом». Руфа строго взглянула на него, но за строгим взглядом Костя уловил жалость к себе. И все понял. Почувствовал,

как густо покраснел. Он уже знал о таких случаях с водолазами после кессонки. «Я тебе мать, — строго продолжала врач. — У меня такой, как ты, сын... погиб, артиллеристом был. Я говорю тебе об этом для того, чтобы ты не дурил и не надумал чего-либо. А то в голове-то у вас ветер». Она замолчала и долго смотрела в окно. Костя подумал, что Руфа забыла о нем. «Жизнь прекрасна, мой мальчик, — тихо сказала она. — Прекрасна, несмотря ни на что. И ты это должен запомнить. Кончится война, пойдешь учиться. У тебя сколько классов?» «Девять». «Ну вот, — она одобрительно взглянула на него. — Пойдешь в институт, выучишься, инженером или врачом станешь. Жизнь, говорю, прекрасна и разбрасываться ею преступно». Врач еще говорила о том, что человек в любых обстоятельствах может найти себе применение и быть полезным людям и Родине, и что бы с человеком ни случилось, все равно надо жить, надо найти в себе силы, мужество, чтобы жить достойно.

Костя не знал, как долго сомневалась Руфа, прежде чем сказать ему правду. Ей было известно, что, несмотря на свои юные еще годы, Костя много уже испытал, много повидал и был не из трусливого десятка. Но теперь ему предстояло встретиться с жизнью один на один. С непрожитой еще жизнью. И выдержит ли он, когда на смену физической боли придут другие муки, другие испытания — пострашнее физических страданий. Как врачу ей были известны такие случаи, и она знала, что этим мужчинам приходится бороться в одиночку со своим недугом, со своим горем — никому не скажешь, ни с кем не поделишься, и никто не может помочь им. Все время вести невидимую миру борьбу с самим собою, непрерывно, многократно преодолевать самого себя — не у всех на это хватает мужества и сил. Не стал бороться Колосков — сдался. А мог бы выжить. Что будет с этим мальчиком, когда она скажет ему правду? Мальчику еще не известно, каким он вернется в мир и как мир отнесется к нему. Может быть, ему пока и не надо знать этого? И все же она решила не скрывать от него ничего.

Долго пробыл у врача в кабинете Костя и вышел оттуда потрясенный. Костя и без нее догадывался, что теперь он не

«хахаль», как говорил в палате Сычугин. «Все это я тебе говорю не для того, чтобы испугать, — сказала на прощанье Руфа. — Ты еще молод. Может, постепенно все и восстановится. И дай-то бог. А пока что — так. И боже тебя упаси снова заболеть кессонной болезнью! Медицина категорически запрещает тебе ходить на большие глубины. Понял?» Костя кивнул. «Только у берега, только на малые глубины!» — повторила врач...

— Ой, кто тут? — раздался рядом испуганный возглас.

Костя вздрогнул от неожиданности, различил в темноте девичью фигуру.

— Я.

— Кто — я? — переспросила Люба. Костя узнал ее по голосу.

— Костя.

— Ох! — облегченно вздохнула Люба. — Опять ты меня напугал.

Ты чего тут? Ты один?

— Один.

— Грустишь, что ль? Иль худо стало?

Она подошла поближе, в темноте замаячило бледное пятно лица.

— Нет, просто так, — ответил Костя и с неприязнью подумал: «Вот привязалась! Пришла да еще расспрашивает».

— Я тоже люблю одна посидеть, — неожиданно призналась она. — За дровами пошла, смотрю, сидит кто-то. Страшно как-то сидишь ты.

— Почему? — удивился Костя.

— Да все гуляют, а ты сидишь. Я в Верхней Ваенге была, у подруги. Что там делается! Не то бой, не то гулянка. Народу на улице — страсть!

— Я дрова колол.

— А-а, — протянула Люба. — Мне вот тоже надо нарубить. Днем-то поленилась. Как угорела сегодня от радости. Теперь вот пришла, а в комнате холодно.

— Возьмите вон наколотых, — предложил Костя.

— Ой, вот спасибо! Вот уважил, — она присела, складывая чурки на руку, но вдруг бросила их и спросила: — А можно с тобой посидеть?

— Садитесь. — А сам подумал: «Настырная».

Люба уместилась на бревне рядышком. Костя даже отодвинулся. А она, будто и не заметив этого, стала доверительно рассказывать, как праздновала у подруги, какое там было веселье. От нее пахло вином и еще чем-то горьковато-сладким, будто черемуховым цветом. Свет из окна слабым пятном ложился на ее лицо, и глаза мерцали каким-то тревожным летучим блеском.

— Народ прям ошалел! Да и то сказать — такая радость! Дождались, родненькие. — Она вдруг затихла, душой расслышала непонятную беду его, заглянула ему в лицо, стараясь увидеть глаза, и почти шепотом спросила: — Ты чего такой?

— Какой?

— Да какой-то... не как все. — Почуяла, что Костя нахмурился, поспешила оправдаться: — Да я так, ты не думай. Не хочешь отвечать, не отвечай.

Долго сидели молча.

Из барака вышли двое. В темноте не было видно, кто именно, но по голосам Костя узнал мичмана и Лубенцова.

— Эй, Реутов! — окликнул мичман. — Ты где?

— Не отзывайся, — торопливо зашептала Люба и съежилась, стараясь быть меньше. — Не надо, чтобы они нас видели, а то подумают еще...

И Костя не отозвался.

— К бабам пошел, — хохотнул Лубенцов.

— Тебе бы только бабы, — недовольно проворчал мичман.

— А что! Время такое наступило. Теперь — мир, теперь о радостях надо думать. И ты тоже вот поедешь домой, женишься.

— Не на ком мне жениться, — угрюмо отозвался мичман.

— Ну это ты брось. Приедешь в свой колхоз, все девки попадают. Любую выбирай.

— Выбирал уже...

— Не дождалась?

Мичман промолчал.

— Курва, значит, — зло произнес Лубенцов, и Костя представил, каким холодным стало лицо Лубенцова. — Я б таких... на одну ногу наступал бы, а за другую раздирал. Мы тут кровь проливали, а они там!..

— Да ладно тебе, — незлобиво прервал его Кинякин. — Ты лучше скажи, что делать будешь дома?

— Не знаю, — помедлив, признался Вадим. — Я только и умею, что воевать. Всю жизнь, кажется, и воевал. А ты?

— Я тоже. Девять лет форму не скидывал. Шутка!

Костя понимал, что эти два человека, ничего не боявшиеся, все знающие о службе и войне, вдруг оказались беззащитными перед незнакомой жизнью, которая ждет их после демобилизации. Они не знали той жизни и, став уже седыми и лысыми, хотя по годам еще молоды, были новорожденно-беспомощны перед «гражданкой».

— Не знаю, что делать, — сказал Кинякин. — На сверхсрочную вот думаю. Как, одобряешь, Вадим?

Лубенцов помолчал, прежде чем ответить:

— Может, ты и прав. Тут все знакомо, все привычно. Служи себе да служи. Войны нет.

— А ты как, не надумал? — обрадованным голосом спросил Кинякин. Видимо, он сомневался в своем решении, а вот Лубенцов поддержал.

— Я оставаться не буду. Сыт я этой службой по горло. А что делать буду — не знаю еще. А вот по бабам похожу. Пока оскомину не набью.

— Дело немудрое, — раздумчиво отозвался мичман.

Они еще постояли в темноте, помаячили сигарочными огоньками и ушли в барак.

— Вот как о нас, — тихо произнесла Люба. — Всюду мы виноваты. Пока вы молоденькие — все хорошенькие, а как в мужиков превратитесь, так зверями делаетесь.

Костя ничего не ответил. Люба вдруг призналась:

— Боюсь я вашего этого... чернявого.

— Лубенцова? — догадался Костя.

— Злой он.

— Да нет, не злой, — сказал Костя, но подумал, что Люба, может, и права. В ладной высокой фигуре старшины было что-то острое, резкие движения его таили какую-то недобрую силу.

– Нет, злой, – повторила Люба. – Взглянет – ровно вилами тычет. Откуда он родом?

– С Урала.

– Вот поедет домой, девок перепятнает. – Она зябко поежилась. – Так, говоришь, могу я дровишек взять?

– Берите.

– Вот спасибо. Побегу я. Спать уж пора. – Она размягченно, со слезой, зевнула.

Люба ушла, и Костя остался один. Курил и думал: как странно все – день назад еще был он в госпитале, а сегодня уже и День Победы, и утопленника доставал, и вот с Любой сидел, хотя только утром с ней познакомился.

Ветер с залива усилился, стало зябко. Шум победного дня стихал. Отрыдала гармонь, отплясался и отплакал люд, наступала первая мирная ночь, наступала новая жизнь, и какой она будет для него – Костя не знал.

Еще с весны, когда засинела первая чистая синь над землей и в разрывах серой хмари стало пробрызгивать солнышко, когда только-только вытаяли на солнечных взлобках прогалинки и закурились легким голубым парком, когда пробились на свет первые подснежники, полюбились Любе ходить в сопки, собирать ранние цветы с беззащитными прозрачно-фиолетовыми лепестками и желтыми крошечными тычинками. «Миленькие мои, – шептала она и нежно гладила холодные, в серебряных каплях подснежники, вдыхая их свежий запах. – Родненькие мои, трудно вам здесь на краю света. Чем помочь вам?» И дышала на них, отогревая своим дыханием. Замирала посреди полянки, где со всех сторон доверчиво смотрели на нее светло-фиолетовыми в желтых ресницах глазами подснежники, будто малая ребятня на мамку. Ишь, навострили уши! Вон сколько их вытаяло! Прямо из ничего появилась вдруг жизнь и красота!

Бродила в сопках Люба, мечтала о счастье, как в юности, или по-бабьи тужила, что вот уж и третий десяток у нее на исходе. Пыхнуло утренней зорькой девичество и пропало невесть куда, будто и не было вовсе, будто во сне привиделось. И оглянуться

не успела, как налилась бабьей силой, раздалась в кости, а давно ль лозинкой тонкой качалась, и в поясе четырьмя пальцами обхватить можно было, и коса была длинна, как лошадиный хвост, да улетели юные годочки из горсти, золотым дождем просыпались на землю, и девчоночья коса давно уже отрезана...

Все здесь было ей в диковинку, хотя жила она на Севере второй год. Жила, а все никак не могла привыкнуть, что когда летом ночь и надо быть темноте и звездам — медленно катит по небу низкое блеклое солнце, а родниково-чистый воздух серебристо светится и на сопках, на заливе лежит задумчивая тишь. И в этой прозрачной тишине, на открытых местах спят жилистые березки, изогнутые свирепыми арктическими ветрами, зеленеет жесткая трава, расстилается бесшумно-податливый мох, в котором утопает нога. И зовет куда-то эта даль, в какие-то счастливые края, где сбываются мечты, где человеку легко и отраднo...

В такие вечера Люба отдыхала еще и от преследующих глаз молодых и сильных парней. Юнцов, вроде Кости Реутова и его дружков, она в расчет не брала, а вот такие, как Вадим... Этот глядит, будто донага раздевает. И она почему-то боится его, что-то в нем есть, холодинка какая-то, и это пугает. Чувала: тут ухом не зевай и глазом дозорь!

Не раз уж он захаживал к ней в комнату, придумав какое-нибудь заделье, тары-бары разводил, правда, не охальничал, но все думки его, все помыслы на лице были написаны. Ох, видать, не к одному девичьему сердцу размел он дорожку своими клешнями да ленточками с якорями! И знала, чувала она, что просто так он не отступится, не из тех. И потому была начеку, держала ушки на макушке.

И все же перехватил он ее в сопках. Как из-под земли вырос. У нее сердце оборвалось, хотя и неробкого десятка была.

— Гуляешь? — улыбнулся он.

— Гуляю, — ответно улыбнулась Люба, а сама зырк-зырк по сторонам — нет ли где живой души, случь чего на помощь звать.

— Я вот тоже.

— Ну пойдем вместе, домой уж пора. — Люба думала решить все мирно.



– Куда торопиться-то. Что у тебя, семеро по лавкам бегают?  
– Устала за день, ноги не держат.  
– Не держали бы – по сопкам не ходила, – все еще не отпуская с лица улыбки, сказал он.

– Да я вот за веточками только.

Люба показала на букетик из тонких красноватых прутиков, усыпанных крохотными зелеными листочками. А сама опять повела глазом по сторонам: в узком месте перехватил он ее.

– Не бойся, – усмехнулся Лубенцов, поняв ее взгляд.

– Я и не боюсь. Что ты – зверь, что ль!

– Не зверь – это точно. А бояться – боишься, вижу.

Люба поняла, что долго так разговаривать нельзя, надо идти. И шагнула. Он преградил дорогу. Люба оробела.

– Спросить хочу: что ты меня избегаешь?

Люба набралась духу, знала – обидит его:

– Не держи на меня сердца, Вадим. Не ту тропинку топчешь.

Лубенцов потемнел лицом, сдвинул брови, и Люба безотчетно отметила, что красив он. Высок, да строен, да ладно скроен. Плечами бог не обидел. И волос темнее ночи, и брови черные вразлет. Сверкнет глазом из-под них – огнем прожжет. Другая за честь посчитала бы, а у нее вот не лежит душа. Чем-то похож он был на того, кто надсмеялся над ней тогда, давно уж теперь. Может, поэтому и не могла принять она ухаживания Лубенцова.

– За правду сердца держать не стану, – хмуро сказал Лубенцов. – Только какого принца ждешь? Чего ты ломаешься? Не девка ж, я думаю, – усмехнулся он.

– Не девка, – вспыхнула Люба. – Давно уж не девка, Вадим. И принца мне не надо. Где он – принц?

Он вдруг крепко взял ее за руку. Люба почувствовала его силу и напряженность.

– Не трожь, Вадим. Не дамся, – тихо сказала она.

Лубенцов понял – не дастся. Отпустил руку. Глухо обронил:

– Иди. Иди от греха подальше.

Люба пошла, еще не веря, что отпустил ее Вадим, и чувствуя плечами его взгляд. Чутко слушала спиной: если шагнет за ней – она побежит.

Только в бараке, у себя в комнате, перевела дух. Счастливо отделалась, можно сказать. Он же здоров, как бугай. У него плечи вон какие крутые и шея столбом. У нее и сил-то не хватило б. Перепугал все же ее — до сих пор поджилки трясутся. «Мичману пожалиться? — подумала Люба, но тут же усмехнулась. — Что он, мичман-то, отец ему, что ли».

Увидела в окно, как от причала идут уставшие водолазы — вторая смена кончилась. Костя Реутов, шаркая подошвами сапог и наклонив непокрытую русоволосую голову, молча слушал что-то говоривших Хохлова и Дергушина. И столько было во всей его фигуре усталости и отрешенности, что будто шел он один и никого рядом с ним не было.

Люба вдруг вспомнила, как в один из вечеров Лубенцов, сидя у нее, рассказал про Костю Реутова. Она ушам своим не поверила. Неужто такое стряслось с этим мальчиком! «Все мы по краю ходим, — намекнул тогда Вадим. — Со всяким из нас может случиться». Люба понимала: он тогда на жалость бил. Есть такой прием у мужиков — разжалобить бабу, а самому своего добиться. Уж она-то знает это. И Люба не поверила ему, думая, что это он так, для туману. А сейчас, глядя на отрешенно молчавшего Костю, — поверила.

Но мысль про Костю мелькнула и пропала, как только прошли водолазы, и Люба опять зябко повела плечами, вспомнив пристальный взгляд Лубенцова. Опять подумала, что жизнь ее теперь осложнилась. Всякий раз с ней такое бывает. Куда ни приедет — мужики липнут как мухи на мед...

Люба видела, как Вадим вернулся из сопки, прошел мимо ее окна, не повернув головы. А ей вдруг жаль стало его, что вот невольно причинила боль. Но ведь сердцу не прикажешь...

Не спалось.

Сидела Люба у раскрытого окна, смотрела на холодный блекло-синий залив, похожий на огромную лужу снятого молока, на каменистые сопки противоположного берега, и чувство одиночества и затерянности на краю земли вновь охватило ее. Жалость к себе заполнила сердце, жалость к своей нескладной жизни, к своей ломаной судьбе. Что она видала за свой век?

А ничего! Все работала да горе мыкала. И не к кому было приклониться душой, погреться у огонька, по-бабьи, со слезой, пожаловаться, зная наперед, что тебя поймут, облакают, найдут целебное слово. Все сама да сама, все сильной надо быть, а так хочется, чтобы кто-то позаботился о тебе, так хочется побыть слабой, зная, что рядом друг, защитит, не даст в обиду.

Как нескладно сложилась ее жизнь! В девках, на покосе, изнасиловал ее деревенский кузнец, имевший уже троих детей. Руки накладывала на себя, но успели вытащить из омута. Кузнец потом валялся в ногах, валялась и жена его, хворая, молили пожалеть детишек, не доводить дело до суда. Сжалилась Люба, не лишила троих сопливых девчонок кормильца. Уехала в город, подальше от стыда, от молвы. Уехала с замороженным сердцем, и весь свет был черен. Нанялась на стройку разнорабочей, таскала по этажам кирпичи, жилы вытягивала. И все казалось первоначально, что знают товарки о ее стыде, молчат только, слушая ждут на смех поднять.

Скоро ли, долго ли, а обжилась она в большом городе, пообтерлась, побойчее стала. И уж никто из своих деревенских не узнал бы в шустрой востроглазой работнице стройки когда-то тихую, по-сельски застенчивую Любу.

На свою беду влюбилась в парня форсистого, чем-то похожего на Лубенцова — такого же черного да красивого. А он побаловался с ней да и бросил. Девочку на память оставил. Недолго жила дочка, бог прибрал. И опять закаменела Люба, тоску на подружек в общежитии наводила, будто неживая была.

Перетерпела и это горе и на жизнь стала смотреть просто. И мужиками уже не брезговала. Бойкость появилась, языкастость, легкость. Эх, завей горе веревочкой! Однова живем! В горькие минуты корила себя, презирала за вольность и неразборчивость. И все погреться возле кого хотела, все надеялась семью завести. А попадались или пьянчужки или драчуны. И сама уходила, и от нее уходили.

Чего только не было в ее жизни, чего только не натерпелась за свои двадцать-то восемь лет! Озябло сердце. И мотало ее с места на место, с края в край. В войну осталась совсем одна. Из деревни письмо пришло, уже после освобождения родных

калужских мест. Сообщала уцелевшая соседка, что вся родня Любина загинула под немцем и дом их спалили...

Долго и горестно думала Люба о своей жизни, а за окном была прекрасная северная ночь. Зачарованно-тихая, призрачно-светлая пала она на землю, и белым-бело, как днем. И тихо плакала Люба...

Водолазы по-прежнему работали без выходных в две смены – с утра до ночи. Каждый день Костю одевали в скафандр. Вдыхая привычный запах резины водолазной рубахи, мокрого железа и окисленной меди шлема, гремел по палубе пудовыми водолазными галошами на свинцовой подошве, снова и снова ощущая на своих плечах тяжесть скафандра. Все это было давно привычным, давно знакомым, и уже не вызывало никаких чувств.

Несколько ряжей были установлены на «постель», пустоту их заполняли камнями. Уже появились первые контуры нового причала.

– Шевелись, brave солдаты швейки! – покрикивал сержант на парней, таскавших носилками камни с берега и ссыпавших их в колодцы ряжей. Солдаты бегали по сходням то на берег, то на ряжи. Они вспотели, пораздевались, а сержант, красуясь перед Любой, покрикивал на подчиненных, подгонял.

Под водою был Лубенцов, а Костя стоял на шланг-сигнале. Здесь же, на корме бота, примостился и Димка Дергушин. Он латал водолазную рубаху, у которой накануне под водой порвал рукавицу и получил за это нагоняй от мичмана. Теперь он наклеивал заплату и, воспользовавшись отсутствием мичмана на боте, философствовал:

– Я думаю, пора всех старослужащих увольнять. Они нам теперь житья не дадут. Скоро строевые занятия введут, уставы зубрить заставят, отрабатывать «подход» и «отход» от командира, учиться козырять по уставу.

Костя слушал Димку вполуха, не спуская глаз с Любы. Она на плотях замеряла железной рейкой глубину, записывала цифры в свою книжечку, потом бежала по шатким сходням на берег, о чем-то толковала с сержантом, обмеряла ряжи и снова что-то записывала.

С того вечера, как посидели они на бревнах в День Победы, Костя почему-то чувствовал волнение, когда видел ее, и даже ждал, когда Люба появится на плотках или на берегу, следил за ней украдкой. Он не мог объяснить, зачем это делает, но ему нравилось видеть ее.

— А мичман собирается остаться на сверхсрочную, — продолжал Димка. — Я слышал, как он говорил Лубенцову: «Чего мне дома делать? Кто меня ждет? А тут я всех знаю и меня все знают».

— Костя, подбери шланг-сигнал! — приказал Игорь, выглядывая из кубрика на корме — он сидел на телефоне и следил за манометром, показывающим давление воздуха в баллонах.

Костя, подбирая шланг-сигнал, услышал, как сержант что-то сказал на плоту, и среди солдат вспыхнул какой-то неловкий смешок. Он не расслышал, что именно сказал сержант, но по взглядам солдат, которые все, как один, уставились на Костю, понял, что сказано что-то о нем. Сержант, ухмыляясь, поднимался по шаткой сходне с плота на ряж и постукивал по начищенному голенищу прутиком.

— Эй! — окликнул его Димка. — Погоди-ка!

Димка бросил на палубу водолазную рубаху и, одним махом преодолев трап, взвился с бота на стенку причала.

Сержант обернулся с еще не истаявшей улыбкой и ждал Дергушина. До Кости донесло злое шипенье Димки:

— Ты, гад, еще слово — и будешь купаться!

Сержант удивленно округлил глаза, улыбка медленно сползла с губ.

— Ты-ы?.. — холодно протянул он, насмешливо окидывая нескладную, еще по-мальчишески жидкую фигуру Димки.

— Я! — выдохнул Димка и схватил камень с носилок, которые проносили мимо солдаты. — Еще слово — и капут тебе!

Тощий, с оттопыренными ушами Димка был смешон и нелеп против статного крепкого сержанта, но в побледневшем лице его было столько решимости, столько напора, что всем стало ясно — он пойдет на все. Наступила напряженная тишина. Сержант, не спуская прищуренных глаз с камня, зажато в руке Димки, сглотнул комок в горле.

Дергушин обвел всех солдат уничтожающе презрительным взглядом и на высокой звенящей ноте выкрикнул:

— Гады вы! Вам бы так!

И яростно запустил камнем в воду. Брызги обдали сержанта, запятали его наложенную гимнастерку и начищенные сапоги. Он молча вытер лицо рукой.

Димка сбежал по трапу на бот. Солдаты, прекратив работу, смотрели то на Дергушина, то на сержанта. Сержант стряхнул брызги с гимнастерки и начальственно прикрикнул:

— А ну за работу! Чего встали!

И решительным шагом сошел по сходне на берег.

Неизвестно как, но о недуге Кости узнали и солдаты. Они поглядывали на него, перешептывались. Костя давно уже почувствовал неладное, стыдился этих откровенно любопытных взглядов, страдал, не зная, что делать, как избавиться от настырного интереса людей...

Через полчаса на бот, по-птичь подсакивая на ходу, причался разгневанный мичман. Еще не успев ступить ногой на палубу, он закричал:

— Что тут такое! Ты что, под трибунал захотел?

Димка спокойно клеил рубаху, будто слова мичмана его не касались.

— Ты что делаешь? Я тебя спрашиваю! — Кинякин грозно навис над Дергушиным.

— Клею, — спокойно ответил Димка.

— Я тебе дам «клею»! Я тебе!.. — мичман задохнулся. — Ты с ума спятил — с камнем на людей бросаться!

— Зря, конечно, — кивнул Димка.

— Еще бы! — мичман сбавил тон, в общем-то он быстро отходил, если человек признавал свою вину.

— Зря, — продолжал Димка. — Надо было все же врезать ему, чтоб другим неповадно было.

Кинякин опешил на мгновение и опять взвился:

— Ну не сносить тебе головы, Дергушин! Знаешь, чем это пахнет — поднять руку на командира?

— Сволочь он, а не командир, — твердо сказал Димка

и припечатал прорезиненную заплату на потертый локоть водолазной рубахи.

— Это я и без тебя знаю, — вдруг согласился мичман. — Но он же жаловаться собирается. Рапорт писать.

— Хрен с ним, пусть пишет, — равнодушно пожал плечами Димка.

— Тебе — хрен, а мне его уговаривать.

— Не уговаривайте.

— «Не уговаривайте»! Ловок ты, да дурен. Что ж ты думаешь, так я и отдам тебя кому попало на съеденье! — И попросил: — Извинись перед ним. И все шито-крыто.

— А это он видал! — Димка показал фигу.

Кинякин устало провел рукой по лицу и раздумчиво сказал сам себе:

— Останусь я на сверхсрочную и буду всю жизнь с такими вот архаровцами здоровье гробить. Раньше времени в деревянный бушлат обрядят. — Переспросил: — Не пойдешь извиняться?

— Не пойду, — отрубил Димка.

Кинякин сокрушенно покачал головой.

— А мне придется. За тебя. Если он начальству донесет — кисло тебе будет. — Мичман немного поразмыслил, сказал: — Я скажу ему, что наказал тебя своею властью. Три наряда тебе, выдраишь весь барак.

Димка хмыкнул в ответ.

— Ты слышал, что я сказал? — взорвался мичман. — А ну встать!

Дергушин встал, вытянулся по стойке «смирно».

— Есть три наряда, товарищ мичман.

— Вот так, — удовлетворенно кивнул Кинякин и посмотрел на Костю, у которого тряслись губы и багровыми пятнами покрылись щеки. Он пытался сделать вид, что все это его не касается, но у него не получалось.

«Нет, надо что-то делать! — горестно подумал мичман о Косте. — Пропадет парень». Но что делать, как помочь, мичман не знал. Правда, давно уж он лелеял одну думку, да все не знал, как ее осуществить. Теперь же, видя тоскливо-загнанный взгляд Кости, решил не откладывать больше этого дела в дальний ящик.

Мичман частенько захаживал к Любе. Оба деревенские, они быстро нашли общий язык, вспоминали каждый свои места, обоим тянуло домой, хотя из мест они были разных: мичман с Вологодщины, а Люба с калужской земли. Люба чувствовала себя с мичманом хорошо и просто, будто со старшим братом, знала, что он не охальник и ходит к ней не с тайными мыслями, а просто душой погреться, в домашней обстановке побыть, от которой за годы службы и войны отвык, но сердцем тянулся. Он ей то ходики на стене починит, то у стула ножку поправит, то гвоздь вобьет. «Вам бы, Артем Николаевич, по хозяйству заниматься, а вы в воду лазите», — говорила Люба ему. «Я дома, бывало, все почию, каждый гвоздик в дело шел. Люблю чинить-ладить», — сознавался мичман. Был он из глухой деревни. Любил девушку, но не дождалась она его, выскочила замуж, укатила в город. Люба сердцем услышала, что любит он ту девушку до сих пор. Из однолюбов он. Ей бы, Любе, такую любовь! Не поняла та, мимо счастья прошла, глупая.

Чаевничали они вечерами под мирную беседу, советовались, делились новостями, и мичману хорошо было в чистой горенке с деревенскими тряпичными половичками на свежевымытом полу, с цветками в консервных банках на подоконнике, с наглаженными кружевными накидками на подушках — во всем чувствовалась расторопная и опрятная женская рука.

И давно уж рассказали они друг другу все о себе, и мичман знал горемычную долю Любы.

А тут стал он примечать, что Люба интересуется Костей, все про него спрашивает, все выпытывает. Будто бы ненароком, а все разговор на Костю поворачивает. «Неспроста это», — смекнул мичман. Вот тогда-то и зародилась у него мысль, что Люба могла бы помочь выправиться парню. Только как подступиться к этому вопросу, мичман не знал, да и совестно было. А что Люба явный интерес к парню проявляет — тут и дураку видно. Все зыркает в него глазом. Не раз мичман перехватывал этот взгляд. «Хорошо бы вот...» — думал он. Хорошо-то хорошо, да только как все это сделать? Тут мичман вставал в тупик.



Не одну ночь поворочался он на нарах, обмозговывая, как бы так уладить это щекотливое дельце, как бы так подступиться к Любе и половчее спеленать ее, чтобы и не вытурила под горячую руку и чтоб дело было обтяпано. И ничего не придумал, как начать с бутылки, а там — куда кривая вывезет.

И сегодня, после того что произошло на ряжах, мичман решил: «А-а, была не была! Что, убудет ее, что ли!»

Вечером, едва Люба успела подтереть пол, как ввалился к ней мичман.

— Любовь Андреевна, я к тебе по делу! — бухнул он с порога.

— Проходите, Артем Николаевич, проходите, — запела Люба и, привечая гостя, обмахнула полотенцем стул. — Садитесь, всегда рады вам.

Кинякин вытер сапоги о мокрую тряпку у порога, осторожно, боясь наследить, прошел по чистым половичкам к столу и уселся на венский стул с изогнутыми ножками, невесть откуда залежавший сюда, в этот барак на краю света.

— Я, значица, вот... — Мичман запнулся, поиграл желваками на скулах. — Дельце тут одно...

И выставил бутылку на стол. Пока шел сюда, все было просто, а как настал момент сказать — зачем, так вспотел мичман.

— Дело, значица, такое...

Мичман смущенно кашлянул в кулак. «Вот, черт, как же начать!»

— Да уж вижу, Артем Николаевич, какое дело.

Глаза Любы настроженно сузились. Уж больно необычен был этот приход, и сам мичман какой-то взволнованный и вроде бы не в своей тарелке. «Неужто подсыпается?» — подумала Люба с удивлением. Недавно с Лубенцовым разговор был, и вот — на тебе! Вот уж от кого не ожидала. Уж кто-кто, но мичман! Люба уважала его, чувствуя в нем и доброту, и совесть. А тут вон как дело оборачивается! Все же мужик — он мужиком и остается: мимо бабы, не скосив глаз, не пройдет. Ишь, поллитру притащил, голубчик!

И Люба сразу от ворот поворот произвела:

– Только забирайте-ка вашу бутылочку, дорогой Артем Николаевич, и... скатеркой дорожка!

– Погоди, – опешил мичман. – Я же еще и не сказал...

Лысина его вспотела. Когда Кинякин волновался, у него почему-то всегда потела лысина.

«Вот, черт, так и знал – сердце вещало, что неправильно поймут его. Поди, думает, что он сам к ней клинья бьет». И, набравшись духу, мичман брякнул:

– Ты бы это... пригласила бы Костю нашего. На чай. Потолковала б с ним... хм. Парень-то мается. И до греха недолго. Боюсь я за него. Ему женское... хм... слово надо.

Мичман запинался, вытирал вспотевшие ладони о штаны и все хотел, чтоб Люба сама догадалась, что к чему.

А у Любы глаза на лоб полезли. Щеки, уши, открытая белая шея пошли красными пятнами. Когда кровь схлынула, когда Люба пришла в себя, она по-гусиному зашипела:

– Я тебе что!.. А? Жук навозный! Чего удумал! Да я тебя!... А ну катись отсюда, гад ползучий!

– Ты погоди, погоди! Ты уразумей, – пытался еще что-то толковать ей мичман.

– Я уразумела! Это ты уразумей, кобель плешивый! – Глаза ее косили от ярости, и взгляд был текуч и ускользящ.

– Дело-то общественное, чего ты взъярилась? – увещевал мичман и, сказав это, понял – совсем не в те ворота въехал.

– Общественное! – задыхнулась от возмущения Люба. – Я тебе дам «общественное»! Ах ты пес бесстыжий! Да как языку у тебя повернулся такое предлагать?!

Люба схватила подвернувшуюся под руку сковородку. Белая, зло осщерясь мелкими плотными зубами, она наступала.

И мичман дрогнул. Он пятился, не упуская из виду сковородку.

– Белены объелась! Чего взъярилась-то? Я к тебе как к сознательному человеку, а ты!.. – пытаюсь еще сохранить достоинство, вразумляя ее Кинякин.

– «К человеку!» – захлебнулась словами Люба, наступая на него широкой грудью. – Змей подкольный, чурбак осиновый! Убью!

Люба запустила сквородкой, мичман увернулся. Скворода тяжко грохнула в стену, посыпалась штукатурка. Кинякин снарядом вылетел в коридор, захлопнул дверь, прижал спиной. «Убила бы, — подумал он. — Голову расколоть можно, чугун ведь. Вот сука!»

Кинякин, матерясь, быстрым шагом прошел коридор, воздав богу хвалу, что никто не видел его позора. Пригладив остатки волос на темечке, одернув китель, нарочито неторопливо дошел до своих дверей. Уже взявшись за ручку, вспомнил, что оставил бутылку на столе. «Все. Накрылась водочка! — с сожалением подумал он. — Не отдаст». И тут же обругал себя: «Пенек березовый! Надо было сначала раздавить поллитру, а потом уж заманивать».

О своей неудаче он никому не обмолвился.

А Люба, рухнув на стул, на котором только что восседал мичман, залилась в три ручья. Щеки горели, будто крапивой нажгло. Это за кого же они ее принимают, раз с такими предложениями приходят! Какая же славушка о ней идет! Господи! Нет ничего хуже, чем быть одинокой женщиной! Всяк тебя и обидит, всяк и пристанет, всяк и осудит. «Разнесчастливая я горемыка! Чем я хуже других?» — причитала она вполголоса, чувствуя себя одинокой, обиженной, по-сиротски беззащитной.

Постепенно мысли ее перешли на Костю. Господи, неужели и впрямь такое с ним? Не будет же мичман на невинного наговаривать. Это еще Лубенцов мог бы сбрехнуть, а мичман нет, зря поклеп возводить не станет. За что же бог покарал Костю? Он же мальчик совсем. За какие грехи? Личико у него, как на иконе — худенькое, темное, одни глазыньки, как небушко, чистые — светят. А в них боль. И промеж бровей страдальческая морщинка прорубилась, и в складках у рта — горькая горечь. Страсть-то какая! Ведь он и руки может на себя наложить! Сглупу-то погубит жизнь свою.

Люба даже привскочила, бежать хотела, будто Костя и вправду уже собрался порешить с собою. Но тут же села, и жгучая обида вновь удушливо взяла за горло, опять брызнули слезы. Дьявол лысый, явился — не запылится! Сват какой выискался. Это ж чего удумал! Вот удумал так удумал!

Люба убрала бутылку со стола, запрятала в шкафчик. Дудки уж, не получит! Это вместо платы за стыдобушку. Господи, вот дурак плешивый! Да кто так к женщине идет! Думает, бутылку поставит – и все. Вот ума-то не хватает у мужиков! Дураки дураками. Никак не могут понять, что женщина выбирает, она – и только она! – решает, быть или не быть тому, что мужик замыслил. А они думают, что они победили. Захочет женщина быть побежденной – «победит» мужик, а не захочет – пиши пропало. Любу вдруг пронял смех: она вспомнила, как мичман – задом, задом! – выскочил из комнаты. И про бутылку позабыл.

Мысли ее снова обратились к Косте. Жалостью сердце зашлось. Такой пригоженький, такой тихонький, воды не замутит. Он ей сразу приглянулся, как тогда за нитками пришел, сердцем почуяла она его чистоту. Тонкобровый, ясноглазый и губы бантиком – как у девочки. Нецелованный, поди, еще?

Неожиданно для себя подумала о тайном и тут же устыдилась своим мыслям, почувствовала, как жаром взялись щеки. Ох, бесстыжая! Не лучше мичмана. Но вдруг и оправдала Артема Николаевича. Он за человека болеет, он Косте-то как старший брат, вот и гложет его забота. Он, Артем-то Николаевич, только с виду строг да криклив, а душа-то у него добрая. Люба давно уже разгадала: кто здесь кто и какой. Опять же, ничего он постыдного и не сказал. Чего это вдруг ей пригрезилось! И впрямь – белены объелась.

Но хоть и оправдывала теперь Люба мичмана, но все же понимала: въявь ничего не сказано, но толковали-то о том самом, за что сковородкой запустила...

Смятенно думала Люба, не зная, кто прав из них – она ли, мичман ли?..

*Люба, братцы, Люба; Люба, братцы, жить,  
С нашим старшиною не приходится тужить!..*

Звонкие, не окрепшие еще голоса под открытым окном обовали ее растерянные думы. Дергушин и Хохлов шли с залива и, как всегда, пели эту песенку возле ее окна. Пересмешники. Каждый раз вот так орут, выделяя слово «Люба». Одетые в водо-

лазные серые свитера, в шерстяных фесках на голове и в кирзовых сапогах, они нарочно строевым шагом «пропечатали» по каменной тропинке. Ощеряясь до ушей, держали равнение на Любу, будто на адмирала. Зелененькие мальчишечки, им бы с мамками еще жить, а они под водой работают и вот что с ними приключается. Господи!

Опять подумала о Косте. Господи, ну за что ему такое наказание! Вспомнила слова мичмана, что сказал он однажды за чаем: «Доктора говорят – потрясенье ему надо. Чтоб какая женщина помогла ему. Тогда, глядишь, направится малый, нормальным человеком станет». Устроила она мичману потрясенье сковородкой. Люба усмехнулась, но усмехнулась горько, не смешно ей было...

Наутро пришел Артем Николаевич. Вежливо постучался, отводя глаза, хмуро сказал:

– Мичманку оставил.

– Берите. – Люба кивнула на форменную фуражку, висевшую на гвозде.

Кинякин надел мичманку, потоптался у порога.

– Ты... это... извини меня.

– Чего уж, – горько усмехнулась Люба.

– Не хотел обидеть, видит бог.

Мичман мялся, не уходил, она видела – что-то сказать хочет.

– Ну, – подтолкнула Люба.

Кинякин отвел глаза:

– Ты все ж подумай...

– Ты... опять! – Люба задохнулась, из глаз брызнули слезы.

– Вот бабы! – недовольно поморщился мичман. – Ну чего реветь-то?

Он сокрушенно покачал головой.

– Ну чего я такого сказал? Подумаешь! Я ж к тебе как к взрослому человеку, по-товарищески, а ты в слезы да еще... за сковородку. Ты об нем подумай. Пораскинь мозгами-то.

– А обо мне ты подумал! – выкрикнула сквозь слезы Люба. – Что я тебе – сука какая?

– С чего ты взяла? – удивился мичман. – Я такого и в уме не держал. Человека спасти надо.

— Я знаю, что вы обо мне думаете, — тихо, с горечью и почему-то успокаиваясь, сказала Люба. — Я по утрам-то встаю и дрожу: не измазали чем дверь. Аж сердце заходится, пока дверь отворю.

Мичману знаком был этот деревенский обычай — мазать дегтем ворота, когда хотят опозорить девку.

— Я салки-то любому сверну, ежели кто посмеет, — заиграл желваками Кинякин. — Скажи только. Любому.

Потоптался, помолчал, глухо обронил:

— Я ведь тебя понимаю. Но он же вовек к девке не подступится, а в него веру надо вдохнуть.

— Ну и пушай кто другой веру эту вдыхает! — зло ответила Люба. — Чего ко мне-то липнете? Я вам что!..

— Не понимаешь, — с сожалением вздохнул Кинякин.

— А вы, кобели, понимаете.

— Костери, костери, а все ж запомни, об чем я сказал, — долдонил свое мичман.

— Настырный ты — у попа кобылу выпросишь.

— На кой мне кобыла! — осердился теперь мичман. — Мне человека надо спасти.

— Уйди с глаз, а то опять сковородки дождешься, — без зла и с какой-то покорной тоской предупредила Люба.

— Ладно, пошел, — вздохнул Кинякин. — Как пишут в газетах: высокие договаривающиеся стороны к согласью не пришли.

— Не пришли, — отрезала Люба. — Сват какой выискался. Иди, иди, не толкись тут!

«Чертова баба, сопрел с ней!» — чертыхнулся мичман, прикрывая за собою дверь.

Лубенцову и Косте предстояло уложить на «постель» параллельно два рельса на расстоянии пяти метров, чтобы потом, двигая по этим рельсам третий, ровнять щебенку.

Они спустились в воду друг за другом. Видимость была отличной, метров десять, пожалуй. Редко такое выпадает водолазу, чаще на дне его встречает полумрак и плохая видимость, а то и вообще тьма, и работать приходится на ощупь. Приятно быть в светлой воде, приятно сознавать, что глубина невелика и опасности тут никакой. Век бы так работать! Сейчас вот

солдаты опустят два рельса, и они с Лубенцовым установят их параллельно.

– Костя, гляди там! – предупредил Игорь Хохлов по телефону. – Сначала тебе майнаем.

– Давайте.

Костя передернул груза назад, на спину, поднял голову. В светлый, играющий бликами проем плота нырнула черная длинная тень. Неровно покачиваясь, приближалась, постепенно приобретая вид рельса. Спускали его на пеньковых концах.

– Потравливай помалу! – приказал Костя и подошел к рельсу, который уже касался груды щебня.

Костя взялся за рельс и потянул на место, обозначенное вбитыми колышками, которые еще вчера установил под водой мичман Кинякин. Когда рельс повис точно в назначенном месте, Костя приказал:

– Майнай сразу!

– Есть! – отозвался Игорь.

Рельс упал на щебень, поднял облачко веселого рыжего ила.

Костя отвязал тонкие канаты.

– Вира концы!

Извиваясь светлыми змеями, канаты ускользнули вверх. Ил размылся, осел толстым рыжим слоем на рельс, на щебенку, и снова стало светло и прозрачно.

На душе было легко и радостно. Мурлыкая песенку «Ты, моряк, красивый сам собою...», Костя нашел лом, спущенный еще заранее, и стал подвигать рельс на место. Мешала грудка щебня. Пришлось ее разравнивать руками, и Костя, занятый своим делом, совсем забыл про Лубенцова. Он вздрогнул, когда услышал по телефону взволнованный голос Игоря Хохлова:

– Костя, помоги Вадиму! Быстрей!

Костя выпрямился и увидел Лубенцова, лежащего без движения. Еще не понимая, что произошло, Костя поспешил к нему. Только на подходе он разобрал, что Лубенцову придавило рельсом шланг.

– Быстрей! – торопил Игорь.

Костя попробовал приподнять рельс, но сил не хватило. Ли-хорадочно работала мысль: «Что делать? Как помочь?» Решение

пришло самое простое. Он намертво уцепился руками в рельс и крикнул Игорю:

– Открой мне воздух на полный!

В шлеме мощно загудела воздушная струя. Костя перестал стравливать излишки, и сразу же начало раздувать скафандр, потянуло вверх, и Костя почувствовал нестерпимую боль в руках, но, стиснув зубы, не разжимал рук. «Только бы не вырвался! Только бы вытерпеть!» – молил он.

Рельс вытягивал ему жилы. Казалось, руки сейчас оторвутся, и тогда он с силой пушечного снаряда вылетит наверх, ударится снизу о плот. И иллюминаторы его только созвывают, тогда уж никто не поможет ни ему, ни Лубенцову.

Раздутый скафандр приподнял его с грунта вместе с рельсом. В глазах потемнело, пошли кровавые круги, руки выламывало из плеч. Он прохрипел:

– Поднял!

Сквозь рев воздуха в шлеме, сквозь звон крови в ушах пробились до сознания далекие слова Игоря:

– Все! Опускай!

Костя не видел, но понял, что Лубенцов выдернул свой шланг из-под рельса.

– Стоп воздух! – прохрипел Костя.

– Есть! – ответил Игорь.

Рев в шлеме прекратился, наступила тишина, которую знают только водолазы – глухая, непроницаемая, могильная.

Стравливая лишний воздух из скафандра, Костя до боли нажал головой клапан шлема. Он понимал, что если сейчас не бросит рельс, то, падая на грунт, обрубит себе пальцы – руки намертво прикипели к железу, и он не мог разжать их.

Костя не видел, как Лубенцов подставил лом между камнями и рельсом и смягчил удар. Костя упал на грунт, почувствовал резкую боль в пальцах.

– Костя, выходи наверх! – приказал по телефону Игорь.

Когда Костя поднялся по трапу, когда его раздели, он увидел, что кожа на пальцах сорвана до мяса – и рукавицы не помогли.

Рядом раздевали Лубенцова.



Мичман Кинякин орал на сержанта, стоящего на плоту:

— Олухи, кто так вяжет узлы! Так козу только привязывают, и то убежит!

Бледный сержант молча выслушивал ругань мичмана, перепуганные солдаты тоже молчали. Мичман Кинякин, красный, разъяренный, бегал вприпрыжку, как воробей, по палубе и распекал стройбатовцев:

— Чуть водолазов мне не угробили! Это вам не навоз заготовлять! Смотреть надо!

Из крика мичмана Костя понял, что солдаты плохо завязали узлы на рельсе и рельс сорвался. Мог бы и убить Лубенцова на повал. Еще счастливо отделался.

Костя не работал, мичман дал ему несколько дней на поправку. И хотя руки его заживали и он уже разбинтовал их, но спускаться под воду еще не мог, и Костя помогал Сашке-коку на камбузе: резал хлеб, перебирал сушеные фрукты на компот, носил дрова.

Часто уходил в сопки, бродил там в одиночестве. Как-то вечером, когда он опять пошел в свои облюбованные места его окликнули из окна:

— Ты куда, Костя?

Люба поправляла волосы, подняв над головой обнаженные по плечи полные белые руки,

— По ягоду.

— Возьми меня с собою, — улыбнулась она, и взгляд ее раскосых глаз ускользнул куда-то в сторону.

— Пойдемте, — не очень охотно согласился он. Ему хотелось побыть одному, и вот — на тебе!

— Я быстренько! — обрадованно крикнула она и исчезла из окна.

Через минуту стояла уже рядом, слегка запыхавшаяся, в накинутом на плечи цветастом платке и с плащом через руку. В другой руке она держала кастрюлю с проволочной дужкой.

Костя смущенно и осторожно косил глазом на барак — не видит ли кто? Слава богу, никого не было. Одна смена водолазов работала, другая ушла в кино в Верхнюю Ваенгу.

— Я одну полянку знаю, — торопливо и взволнованно говорила Люба, тоже стараясь побыстрее уйти от барака. — Вся в ягоде, ступить негде. Надо на варенье набрать.

Люба говорила без умолку и часто смеялась коротким нервно-возбужденным смешком. — Как руки твои?

— Ничего.

— Ох и перепугались мы тогда все! — простонала Люба. — И что за профессия у вас такая! Вроде тихая, мирная, не минеры вы, не саперы, а вот... Не страшно под водой-то?

Костя пожал плечами.

— Ох, а я бы так и померла! — призналась она. — Как погляжу на вас, когда под воду спускайтесь, так сердце и зайдет. Сколь работаю с вами, а все привыкнуть не могу.

Они пришли на полянку, и впрямь сплошь усыпанную морошкой. Люба пораженно смотрела на ягоду. Она сама такого не ожидала.

— Ой, сколь ее! Собирай. Кто так не любит морошку, а я так люблю. Вкус у нее какой-то... Нет боле такого вкуса, правда? Я не встречала.

Костя кивнул.

Они наелись морошки, наполнили кастрюлю на варенье — полянка и вправду была как скатерть-самобранка.

— Ох, пристала я! Давай отдохнем, — предложила Люба и чуть снизу взглянула на Костю.

Место было на пологом склоне сопки и с трех сторон защищено кустарником, с четвертой виднелся залив. Слюдяно-бледное солнце низко висело над землей, но уходить с горизонта не собиралось, освещая сиреневый залив, по которому шел мелкий накат и стальная чешуя взблескивала на сонных водах. Затихшие сопки графически четко врезались в бледно-голубое тихое небо. Наступили те прекрасные светлые сумерки, какие бывают только в Заполярье.

— Го-осподи-и! Тишина-то какая! — распевно сказала Люба, опускаясь на мягкий мох. — И нету никого. Будто мы с тобой одни на всем белом свете.

Она сидела на подстеленном плаще и медленно разглаживала складки юбки.

— Садись, чего стоишь-то? В ногах правды нету.

Она коротко всхотнула странно-чужим голосом, подвинулась на плаще, освобождая ему место.

Костя присел рядом.

Рукой он случайно дотронулся до ее руки. Люба осторожно и ласково, как ребенку, погладила ему большие пальцы. Прикосновения эти были приятны.

— Пальчики мои беденькие, — тихо сказала она. — Жалкий ты мой!

Костя поднял голову и увидел ее побледневшее лицо и загуствовавшие глаза. Она вдруг зябко поежилась, медленно провела рукой по своей открытой полной шее и, не таясь больше, глянула ему прямо в глаза, тихо позвала осевшим голосом:

— Иди ко мне, Костя.

Белыми рыбинами всплеснулись ее руки, сильно обняли его за шею, и жаркий щекотливый шепот ударил в уши:

— Ты не бойся меня, Костя! Не стесняйся, милый...

Люба обожгла поцелуем, и он задохнулся. У него кругом пошла голова и отчаянно-гулко застучало сердце. А она целовала все крепче и крепче и, преодолевая его робость, и торопя его, и укрепляя ему веру, сдавленно шептала:

— Ты все можешь, все можешь, все...

Потом, ошеломленный, он лежал рядом с ней, и сердце его готово было выскочить из груди. Он хватал пустой воздух и не мог надыхаться, будто был в скафандре и ему выключили подачу из баллонов.

А Люба лежала на спине, и тихая грустная полуулыбка таилась в уголках ее губ.

Они встретились глазами, и у Кости от нахлынувшей нежности перехватило горло. Он хотел сказать ей что-то благодарное, ласковое, но не мог, не знал, как говорить. Люба поняла его, чуть хриповато произнесла:

— Ну вот видишь, вот видишь...

Костя в благодарном порыве целовал ее мягкие, пахнущие чем-то горьковато-свежим, будто бы забытым запахом черемухи губы, целовал шею, ослепленный ее белизною, близко видел раскосые, затуманенные нежностью глаза.

Наконец он опомнился, отрезвел, отвернулся, чтобы скрыть свое смущение.

Залив потерял уже синеву, небо тоже, все вокруг погрузилось в прозрачно-зыбкую светлую пустоту. Не шелохнется листок, не замутится вода. Северная ночь пала на землю.

Костя услышал вздох и увидел, что по лицу ее катятся светлые дробинки слез. Люба смаргивала их, а они все катились и катились.

– Вы что? – испугался он и весь рванулся к ней. – Вы... обиделись?

Люба провела ладонью по щекам, смахнула слезы, виновато-успокаивающе улыбнулась:

– Нет, Костик, это я так. Это я по бабьему обычаю. – Она вздохнула, голос ее окреп, но на мокрых ресницах по-прежнему вздрагивали слезинки. – Баба не баба будет, если не поплачет. Ты не бойся, когда бабы в таких случаях плачут. Из одних глаз слезы, да на разном хмелю настояны.

Он не понял. Люба притянула его голову к себе на грудь и тихо, с какой-то затаенной болью сказала:

– Вот и породнились мы.

Он услышал, как под шелковой прохладной кофточкой сильно и беспокойно стучит ее сердце, и почему-то тревога охватила Костю, какое-то смутное предчувствие беды.

– Ты не осуждай меня, ладно? – просительно прошептала она.

– Нет, нет, что вы! – горячо заверил он. Костя не понимал, почему он должен осуждать Любу.

Она вздохнула, будто от чего-то отрешаясь, легонько оттолкнула его, быстро поднялась и потянула из-под Кости плащ.

– Пора идти. Ночь уж совсем.

На горизонте стояло слабое солнце, лощины ушли в сиреневую дымку, сопки уснули.

Ему не хотелось расставаться. Люба поняла и тихо сказала:

– Потом придешь... Я варенья наварю.

Он согласно кивнул. Люба поправила волосы – и снова, как белые рыбины, всплеснулись ее руки – стряхнула плащ и решительно приказала:



– Ты иди этой дорогой, а я другой пойду. Не надо, чтоб нас видели вместе.

Она быстро спустилась к заливу.

Костя растерянно потоптался на месте, посмотрел ей вслед и, покорно выполняя ее приказ, пошел в обход сопки. С чувством недоумения ощущал он звонкую невесомость тела, подмывающую легкость шага и хмельное кружение головы. Все в нем ликовало, он готов был кричать на весь свет, что он – не инвалид, что он как все...

Чтобы побыстрее обогнуть сопку, чтобы еще раз встретить Любу возле барака, Костя, опаленный нахлынувшей благодарной нежностью, побежал, будто полетел.

Когда он обогнул сопку и выбежал на дорогу, увидел, что Люба уже входит в коридор барака, и только оттого, что увидел ее, у него радостно зашлось сердце.

Возле барака никого не было.

Он прошмыгнул мимо окон, заскочил в коридор, быстро, на цыпочках, прошел по скрипучим половицам и потянул ручку ее двери. Дверь была заперта. Он легонько постучал! Люба не ответила. Замирая от мысли, что его услышат водолазы, Костя опять постучал и позвал шепотом в щель:

– Люба, это я!

Она тихонько приоткрыла дверь, торопливо и приглушенно зашептала:

– Уходи, уходи быстрее! Не стой тут! Потом... завтра... – и вдруг прыснула по-девчоночьи в ладошку. – Ишь какой! Много – вредно. Иди, иди!

Костя схватил ее за руку.

– погоди! – стонуше, сквозь смех, просила Люба. – Куда ты меня волочишь?

Она выдернула руку и захлопнула дверь перед самым его носом. Костя, обалдевший от счастья, стоял перед закрытой дверью, и глупая радостная улыбка распирала ему губы.

Пришел август. Началась война с Японией.

«Ну все, теперь не светит нам, – сказал Лубенцов, узнав о войне. – Хотел летом домой попасть, а тут дело зимой запахло». И подал рапорт командованию с просьбой отправить его на

восток. Вместе с ним такие же рапорты подали и Костя с Димкой и Игорем. Им всем отказали. Отказ им вскоре привез мичман Кинякин, ездивший на базу за новым водолазным снаряжением: «Без вас справятся».

— Мы с этими самураями — как повар с картошкой, раз-два! — высказал мысль Сашка-кок.

— С немцами тоже так думали, — усмехнулся Лубенцов. — Не говори «гоп».

— Гоп не гоп, а вам отказ, — повторил мичмач.

— Я сам поеду к командиру, — заявил Костя. — Я добыюсь.

— Не поедешь, — отрезал мичман. — Твое место тут, вон причал строить. Это — приказ. — Вздохнул: — Не нахлебался еще горького до слез? С автоматом побегать захотелось. — И обрушился на Лубенцова: — Ты мне пацанов не сманивай! Не навоевался еще? Мало тебе! Слава богу — живы остались. А там и без вас справятся.

Костя сильно огорчился отказом. Он еще надеялся повоевать по-настоящему. Его не покидало чувство, что остался он на обочине, где-то в стороне от главного дела на войне! Ну был под бомбежками, когда самолеты с неба не слезали и так густо клали бомбы, что и муха не пролетит; ну смертей и крови понасмотрелся; ну сам бывал на волосок от гибели, но не ходил же он в атаку, не стрелял, не кричал «Ура!». У Лубенцова вон вся грудь в орденах и медалях — сразу видно, воевал человек. А у него? Ни одной самой заваливающей медальюшки, ни одного ранения. Будто и на войне не был. А так хотелось совершить какой-нибудь подвиг, чтобы не стыдно было приехать в деревню.

Люба же, наоборот, обрадовалась, что Костю не взяли, но, понимая его состояние, радости не выказывала, только сильнее еще любить стала. «Господи, — вздыхала она, — опять война! Сколь живу — и все воюют. То — озеро Хасан, то — финская, то — с немцами, теперь вот — с Японией. Сколь парней перебили, крови пролито — земля насквозь пропиталась».

Водолазы работали до изнеможения. Приходили в барак, падали на нары, не раздеваясь, во влажном белье, с мокрой грудью, распластанно лежали, каждый думал о своем. Спи-ну ломило, плечи стоном стонали от тяжести скафандра. Руки,

разъеденные морской водой и отмытые добела, распухли, покрылись волдырями и нестерпимо ныли. Ноги, натруженные свинцовыми водолазными галошами, гудели тягучим гудом. «Ревматизмом обеспечены по гроб жизни», — сказал как-то Лубенцов, растирая полотенцем мокрую грудь после спуска в воду. На груди его было наколото: «Боже, храни моряка». И если даже Лубенцов, сплетенный из крепких корней, перевитый жилами, и то уматывался на работе, всхрапывая, как усталая лошадь, то что уж говорить о молодых водолазах — их без ветра шатало.

Под водой Костя ворочал работу, как медведь, а если делал передышку и вентилировал скафандр, то думал о том, как ночью, когда все уснут, он опять потихоньку проберется по коридору, как легко вздохнет незапертая дверь, пропуская его в теплую комнату Любы. Он счастливо улыбался, глядя в голубоватую воду, или напевал.

— Рано пташечка запела... — сказал однажды по телефону Лубенцов. — Смотри, чтоб не выбросило «лапти сушить».

— Не выбросит, — беззаботно ответил Костя.

Несколько ряжей уже установили на «постель» в воду, и солдаты забросали срубы камнем, другие ждали своей очереди. Скинув потемневшие от пота гимнастерки, солдаты в одних нательных рубашках тесали бревна, и веселый перестук топоров далеко летел над тихим заливом.

Люба сновала по сходням с ряжей на плоты и обратно, замеряла, записывала, с сержантом говорила. Ходила она легко и свободно, глядела на всех смело. Солдаты и матросы отводили глаза, встречаясь с ее дерзким, вызывающим взглядом счастливых провалившихся глаз, видя в уголках ее губ встающую улыбку. Чувствовали — не трожь! И смешки, и шуточки, и многозначительные прищуры прекратились. Все напряженно ждали, чем все это кончится. Завидовали Косте. Подфартило парню! А еще слух был, что калека он. Какой калека — вон баба как цветет!

Костя не знал, что мичман предупредил: «Кто вякнет лишнее слово!..»

— Ты прям как коршун, — хмыкнул Сашка-кок. — Уж и глянуть нельзя. Что мы теперь, с завязанными глазами ходить должны?



– Гляди, только свои похмылочки придержи. А то рот до ушей растворяется, как у Ванечки-дурачка.

– Ну так... ситуация, – не сдавался кок.

– «Ситуация», – передразнил мичман. – Слово-то какое выворотил.

– Научное слово, – приосанился Сашка.

– Ученый какой выискался.

– А чего – не дурак.

– Дурак и есть, ежели не понимаешь, что на твоих глазах из мертвого трупа человек опять человеком стал. Ей в ножки поклониться надо. А вы!.. Лоб-то как камень – поросят об него бить.

– Да не дурее тебя, – обиделся Сашка.

– Вот и докажи, что не дурее. – И пояснил: – Я тут за все в ответе: и за работу, и за вас. Моя задача – чтоб он человеком стал. Полнокровным.

– Да уж куда полнокровнее – одни скулы остались, боками опал, как загнанная лошадь. Любка-то под гвардейца кроена, а он – что! Сопленос еще! Гляди, придется писать: «Погиб смертью храбрых», – не сдавался Сашка-кок.

– Ты вот что, ты мне парней на смех не подбивай, а то язык у тебя на лоскуты измочалился.

– Ну уж! – обиделся Сашка. – Баба я, что ль!

– Спишу я тебя к чертовой матери отсюда. Будешь в штабе наряды нести, – пригрозил мичман.

– Чего ты взъелся? – Сашке совсем не улыбалось торчать в штабе на глазах у начальства. – Уж и слова сказать нельзя.

– Ну вот, значаца, подписали договор о нейтралитете.

– Подписали, – неохотно отозвался Сашка-кок.

Лубенцов при этом был, но молчал хмуро, в разговор не вступал. И это-то больше всего и беспокоило мичмана. Он давно приметил, как поглядывает на Любу старшина. Вот еще – не было печали, так черти накачали! Мичман, несмотря на свои покрики и разносы, несмотря на строгие уставные отношения с подчиненными, был добрым и жалостливым человеком. И по доброте своей хотел всем помочь, хотел, чтобы у всех все ладно было. И то, что Костя избавился от своего недуга, радовало мич-

мана, а вот что Лубенцов, всегда веселый да охотливый на слово, вдруг сдвинул брови да так и ходит не улыбочиво — и Кинякин догадывался почему, — печалило. «Тут, кажись, морской узел завязался», — думал он о Любе, Косте и Лубенцове...

Как в омут головой кинулась она в неожиданную любовь. Не думала не гадала, что так вот все обернется. Поначалу просто по-бабьи пожалела, а потом как водоворот засосал. Отлюбит за все, за всю свою горькую нескладную жизнь. И пусть говорят про нее что угодно! На каждый роток не накинешь платок.

Без венца заиграла свадьба, закружились денечки, затуманились синим дымом! И позабыла себя прежнюю, забыла все, что было с ней. Да и не было ничего! Сон! Только сон был. Господи-и, да и не жила она до него! С ним только и оживела, с ним только и узнала, что такое настоящая бабья любовь.

Нахлебалась за жизнь свою горя — и руками и горстью, умялась душой, озябла сердцем и уж не верила в счастье и не ждала его, а тут вот какое диво дивное сдивовалось: оттаяла сердцем, доверчиво прислонилась душою к Косте и забыла про все. И все боялась расплескать любовь, и все не могла поверить в то, что с ней творится. Раньше в книжках читала, завидовала да мечтала про такую смертную любовь, а теперь вот судьба подарила ей подарок. Нет, и на ее долю посеяно на свете, вот и ей выпали красные денечки, пришла сердечная услада. И пело сердце ее, пела душа. И не в силах совладать с собою, заводила низким мягким голосом:

*Синенький скромный платочек  
Падал с опущенных плеч...*

А Костя, положив голову ей на колени, глядел в небо и подтягивал Любе, хотя уж и отвык от своего голоса. Ладно да складно проиграв одну песню, заводили другую, любимую Любину:

*Среди долины ровныя, на гладкой высоте  
Стоит один высокий дуб в могучей красоте...*

А то примутся бегать в догоняшки. И летела она, как девочка-подросток с крылышками за спиной, позабыв о своих годах, и с замиранием сердца ожидала, как нагонит ее Костя, схватит горячей рукой, как услышит его близкое учащенное дыхание и возглас: «Ага, попалась!» И смеются, глядя в глаза друг другу, и слабнут ее ноги...

А то, присмирив, сидят рядышком на своей полянке, смотрят на залив, а он тих и гладок, а чуть дунет ветерок, взрябит воду, и заблещут маленькие серебряные чаечки солнечных бликов, и томительно-сладко щемит сердце от такой красоты.

— А ты слышал, как овес звенит при луне? — спрашивала Люба. — Как стеклянные бусы, тонюсенько-тонюсенько.

И Костя вспоминал, что и правда в лунную ночь овсяное поле переливает дымным серебром и нежный тихий звон стоит вокруг, будто стеклянные колокольчики постукивают друг о дружку.

— А рожь гудит, будто колокол — густо, ровно. Как из-под земли гуд идет. Да? — И рассказывает Люба: — А мы с подружками, как месяц взойдет, так на полянку бежим. Растелешимся донага и катаемся по траве, в росе купаемся.

— Зачем? — удивляется Костя.

— А чтоб парни любили, чтоб красивыми стать, чтоб кожа гладкая да шелковая была, — грустно улыбается Люба девичьей наивной вере и тут же оправдывает себя и подружек-несмышленицей: — Глупые были. Молоденькие, глупенькие. А то наберем светлячков и нацепим их на волосы да на грудь, и светят они в темноте, будто корона иль бусы. Красиво! Как в сказке. Принцессами себя представляем.

Пролетели незамутненные годочки, отзвенели золотые девчоночьи деньки, и только в сердце следок остался да все не истает никак, все щемит, и набухают благодарной влагой глаза.

— Накатаемся по росе до озноба, потом бежим наперегонки до копны. Заберемся в свежее сено по самую макушку, греемся да друг дружке рассказываем: кто из парней за кем ухаживает да что говорит за околицей. Ох, смехи да потехи! Парням да девчонкам-неподружкам все косточки перемоем. А луна-а!

Светлынь! И кузнечики стрекочут. А тут кузнечиков нету. Я что-то не слыхала. А ты?

— Не водятся они тут. — Костя тоже вспоминает ромашковый луг за деревней, где кузнечики серой тучей прыгают, если с налету повалиться в траву.

— Нету, — вздыхает Люба. — А у нас целое лето стрекочут. И птиц тут нету. Мертвый лес — ни песенки, ни голосочка. А у нас весной соловьи как начнут! Ночи напролет. Девки с ума посходят. И сирень цветет. Господи-и! — счастливо улыбается Люба давним дням своим, когда беззаботная текла жизнь, когда распевала она во всю головушку, хоть с голоду, хоть с сытности. — Хороводы девки до солнышка водили. Уж и петухи давно отслаивают зарю и на работу пора, а все никак не уgomонятся. Парни с балалайкой да гармошкой придут на игрище, пляски затеют. А я сяду, бывало, у окошка и все сижу, сижу. И на душе сладко-сладко, аж плакать хочется. До свету сижу, солнце караулю. И все мечтала: летчик ко мне с неба спустится.

Люба смеялась и тяжелыми, как весла, руками ласково гладила отросшие после госпиталя Костины волосы.

— Какие мягкие они у тебя. Господи, какой ты мне весь родной! И не с неба упал, а из воды вышел. Я раньше-то воды боялась, думала, там одни лешии в омурах водятся. Утащат вглубь, защекотят до смерти. А там и такие вот...

И целовала его легко и нежно.

А то просила Костю рассказать о себе, о доме, впитывала жадно каждое его слово о той жизни, что была неведома ей, что осталась там, за чертой, куда ей не дано ступить. Костя не знал, что и рассказывать: ну жил в деревне, потом в городе у старшего брата, доучивался в школе, потом пошел на войну, попал на Байкал в водолазную школу, потом на фронт — вот и все, вся его жизнь. Короткая, как воробьиный хвост.

Рассказывал, а сам зрячим сердцем видел свои родимые места, свою деревню на берегу быстрой и холодной Катуня, видел степные дали, что открываются глазу, если взойти на увал за околицей. Вспоминал, как ждали с братом отца и мать с поля, как издалека еще слышали их голоса. Мать Кости смолоду песнопевницей была,



как заиграют с отцом песню — далеко по степи слышать. В деревне услышат, скажут: «Реутовы поют», а песня все приближается понад Катунью, и поется в ней, как из-за острова на стрежень выплывают расписные Стеньки Разина челны. И казалось Косте, что вот-вот из-за островов на Катуню и в самом деле выплывут разинские струги, и хотелось попасть на ту далекую великую реку Волгу, где Степан бросил персидскую княжну в набежавшую волну. Потом, когда попал под Сталинград, посмотрелся утопленников, но не было среди них княжны, а все солдаты, солдаты, солдаты...

Ходили Люба и Костя по сопкам, собирали уже поспевшую бруснику. Солнечные дробины ягод прохладно скатывались из пригоршни в рот. Счастливо смеясь, угощали они друг друга.

И летели счастливые денечки, чиркали по небу, как ласточки перед грозой. И на излете уже было короткое северное лето.

Засентябрило.

Потянуло студеным ветерком с Арктики, зашуршал полураздетый кустарник, принахмурилось небо. Осыпь мертвых багровых, желтых, коричневых листьев покрыла холодную землю, жухлые травы и серый гранит валунов. Залив загустел, изредка колыхал пологой волной от корабля и опять свинцово-тяжело замирал в ожидании чего-то. Нет-нет да и полетят белые мухи — прощалась земля с молодостью. Неуютно стало в сопках, и на сердце пала непонятная тоска, предчувствие беды какой-то. В счастливых глазах Любы затаилось тревожное ожидание. Однажды, возвращаясь из сопки, Люба вышла прямо на Лубенцова. Вадим сидел на валуне у самой кромки воды и хмуро смотрел на залив. И дрогнуло сердце Любы — столько печали было во всей фигуре молча курившего старшины. Догадалась она, почему сидит он тут. Оробела, но виду не подавала, собралась с духом и пошла прямо на его взгляд.

— Уморилась? — спросил он тусклым голосом.

— Уморилась! — с вызовом ответила она, готовая случь чего отпор дать.

Но Лубенцов вдруг смутился и отвел глаза от ее счастливого лица. И Люба невольно опять отметила его зрелую уже красоту и силу.

– Чем он тебя приворожил? – спросил Вадим, не глядя на Любу. – Что ты в нем нашла?

– Что нашла, то мое. – Злость уже подпирала ей горло, чего он все поперек дорожки стоит!

– Людей только сметишь – ребенок он против тебя.

– Ох, Вади-им! – простонала Люба. – Не твоя это заботушка.

Он усмехнулся, и столько горечи было в этой усмешке, что Люба не нашлась больше что сказать и тихо пошла прочь. Нет, не догнал он ее, не схватил за руку. На повороте оглянулась. Лубенцов все так же сидел на валуне. Как степной орел на камне, одинокий и гордый. И не глядел в ее сторону.

Смятенно шла Люба домой. Вот узелок завязался! Что делать ей? Вадим не отступится так просто – сердцем чуяла, а Костик беззащитен и слаб перед миром, и она тоже вдруг почувствовала себя беспомощной перед судьбой.

Долго маялась в ту ночь Люба, долго не могла сомкнуть глаз...

А дни шли, катились под горку. И работа двигалась. Все меньше ряжей оставалось на берегу – их стаскивали в воду, устанавливали на «постель», забрасывали камнем, застилали поверху вершковыми плахами, и почти готовый причал тянулся вдоль берега губы.

А для Любы потерялось время, помешалось утро с вечером, и лето, как один вздох, пролетело. Было ль – не было? В последних теплых днях копился предзимний неуют, уже угадывались будущие морозы и темная полярная ночь, Люба чувствовала это и в природе и в себе, и грустный холодок, настоящий на бабьей польни, омывал душу.

Дождинкой малой давно уж просочилась в сердце думка, что связь ее с Костей рано или поздно кончится. И посередине радости да счастья вдруг ознобит сердце, занеет душа. Гнала она эту невеселую мысль, все прятала, как птаха голову под крыло, все оттягивала разговор, хотя и понимала, что ей самой надо на это решаться, преступить свою любовь. И сколько бы это длилось – неизвестно. А тут как опять перехватил ее в сопках Лубенцов и неожиданно-негаданно сделал ей предложение – опамятавалась Люба, на свет божий трезвыми глазами глянула. Не думала она,

конечно, за Вадима идти, но поняла, что и с Костей пора кончать. Видать, на роду ей написано не с ним жизнь коротать.

С непостижимой небесной высоты ухнула вдруг Люба на холодную землю, вынырнула из детски-счастливого сна, отрезвела: ну какая она ему пара! В любви-то глупа стала, память отшибло, что ей уж двадцать восьмой доходит, а он и двадцатого не распочал. Женские годочки ее уж под горку покатались, а он — зеленый росточек еще, чистый, светлый, наивный. Правду говорят: «Что ни время, то и птицы, что ни птицы, то и песня». Прошло ее времечко золотое, отпелись песни. Не свистать уж больше ни соловьем, ни иволгой. Отыграла последнюю сладкую бабью зорьку здесь, в сопках, распрощалась с молодостью. У него вся жизнь впереди, а ее доля — бабья, ей надо пристань искать, куда бы голову приклонить. Пощипала от чужого счастья крохи — и хватит.

Люба не хотела портить жизнь Косте, понимая, что не пара ему не только по годам; понимала, что должна пожертвовать собою ради его счастья. Она отрывала его от себя с кровью, с мукой. Знала, что не затынет сердечную тропку травой забвения, будет бежать и бежать в годы молодые, сюда, в эти сопки, из той дали, что ждет ее впереди, что ноченьки эти угарные будет вспоминать как ясные дни, будет памятью сердца все возвращаться и возвращаться к нему, и сладко горевать о подснежнике, чистом и нежном, и до конца дней своих помнить о нем, и высокая, безутешная и светлая печаль ее будет бесконечной. Но она и рада будет; счастлива тем, что живет он где-то, счастливый и нехворый, что он тоже помнит ее, первую у него.

Она не знала и знать не могла, что в жизни его все сложится совсем не так, как думает она, и что на роду ему написана иная доля.

— Думаешь, легко мне тут, — в светлую ночь жаловалась она, когда пришел он к ней в комнату. — Каждый глазами обсосет, каждый норовит в темном углу прижать. Один Лубенцов ваш чего стоит.

— А чего он? — удивленно спросил Костя. Люба помолчала:

— Чего... замуж зовет.

Костя ошеломленно приподнялся на локте, вглядываясь ей в лицо на подушке.



– Замуж?

– Проходу не дает, – будто извиняясь, ответила Люба.

– Я ему...

Теплой ладошкой она зажала Косте рот.

– Что ты, миленький! Ну что ты ему сделаешь? Он вон какой...  
бык.

– Я ребятам скажу.

– И ребята твои... – усмехнулась она его наивности. – Нет, Костик, ты уж... не надо. Я сама. Я за себя постоять могу.

Люба крепко прижала его голову к груди, горестно пропела:

– Защитничек ты мой, кровинушка моя... Люба отстранилась, долго и ласково всматривалась в его лицо, провела пальцем по его бровям.

– Какие они у тебя шелковые да тонкие. Как у девушки.

Он нахмурился. Костя не любил, когда говорили о его и впрямь по-девичьи тонких и ласковых бровях.

– Ладно, ладно, не серчай, чего насупился? Ты красивше, когда веселый.

Она нежно погладила на его острых, еще не окрепших плечах надавы, жалостливо вздохнула. Когда Люба впервые увидела эти красные вздутые пятна, она удивленно воскликнула: «Ой, а что это у тебя?» «От скафандра», – ответил он тогда. «Господи, ровно холка у лошади сбита». Надавы были, как чирьи. Они так и остались у него с первых дней водолазной службы, даже в госпитале за полгода не исчезли.

– Сколько железа на себе таскаете! Тут не то что мозоли, тут и пововсе плечи оборвать можно. – Люба легонько гладила ему больные плечи.

– А-а, ничего, – небрежно ответил Костя и потянулся к ней.

– Нет, – отстранилась Люба.

– Почему? – удивился Костя.

– Нет, – повторила Люба вдруг отсыревшим голосом. – Теперь ты... иди.

– Куда? – не понял Костя. Было еще рано уходить. Он возвращался от нее в глухое предутрие, когда все спят без задних ног, а тут ночь еще только начиналась.

– Иди, – повторила она и на миг замолчала, собираясь с духом. Осторожно, будто по тонкому льду шла, подбирала слова. – Совсем, Костя. Теперь ты... теперь... обидного тебе никто не скажет.

Люба встала с постели, накинула на плечи косынку, просто-волосая подошла к окну и зябко поежилась, хотя в комнате было тепло. Костя ничего не понимал, но сердцем почуял неладное.

Призрачный свет зачарованной северной ночи лился в окно, освещал по-чужому замкнутую, струнко-натянутую Любу.

– Иди, а то я привыкать стала, – глухо роняла она слова, не поворачиваясь и кутая плечи косынкой. – Мне замуж надо, семью заводить. А ты... еще ребенок.

– Говорила – мужчина.

У Кости пересохло во рту, он стал понимать, что происходит, и сердце его упало в холодную пустоту.

– Мужчина, мужчина, – торопливо подтвердила она, поворачивая к нему белое неживое лицо. – А все – ребенок.

– Но почему, почему?

– Не кричи, – умоляюще прошелестел ее голос. – Не с руки нам с тобой, Костя.

– За Лубенцова пойдешь? – задыхаясь от ревности, спросил он.

– Уеду я, – осевшим голосом тихо ответила она и опять зябко повела плечами.

– Как уедешь? – ошеломленно переспросил Костя. – Куда?

– Домой. Письмо от подруги получила. Из Калуги прислала.

У Кости горько и пусто стало в груди. Тусклый голос Любы, падающий в ночной плывущий полусвет, доносился издалека, будто сквозь толщу воды.

Как в полусне, оделся он и вышел из комнаты, ожидая, что она окликнет его. Мертво звякнул в тишине крючок.

Костя стоял в холодном коридоре, по которому гулял ветер, и все еще на что-то надеялся. Он подождал, осторожно постучался. Люба не открыла. Костя прислушался, за дверью было тихо. Он не знал, что Люба, прижавшись спиной к двери с другой стороны, сминала в себе крик, беззвучно глотала слезы...

На работе она стала избегать его, отводила глаза. Поджав оборочкой губы, делала вид, что не замечает, если он оказывался неподалеку, крепилась, чтобы не выдать волнения. А Костя как не в уме стал, будто приворотным зельем опился, глаз с нее не снимал и все норовил рядом оказаться, искал удобного случая словечком перемолвиться.

Ночами тайно подходил к ее двери, но она не открывала.

— Да брось ты за ней гоняться! — зло сказал однажды Лубенцов, разбирая на корме бота шланг. — Убивается по этой...

Короткое хлесткое слово прозвучало пощечиной.

Не помня себя, Костя кинулся на Лубенцова, ухватил за горло, повалил на бухту мокрого шланга. Хохлов и Дергушин едва оттащили его от поверженного на спину старшины.

— Ты что, гад, очумел! — вскочил на ноги побелевший Лубенцов. Он ощупывал шею, кашлял. — Сопля, щенок! Попробовал бабу и сбесился! Да я тебя!..

Хохлов и Дергушин, бросив Костю, крепко схватили за руки Лубенцова.

— Пустите, сосунки! — орал взбешенный старшина и никак не мог вырваться из цепких рук парней. Не ожидал он, что эти сагаи окажутся такими сильными.

На шум из кубрика выскочил мичман:

— Что такое? Что за галдеж?

Ребята отпустили Лубенцова, он закричал на мичмана:

— Твоя работа! Видишь, какой мужик стал! На людей кидается!

Широкая каменная грудь Лубенцова ходила ходуном, он не мог отдышаться. Мичман мгновенно понял, что к чему, и приказал:

— Прекратить! Все по местам!

— А я б тебя придушил, — вдруг процедил сквозь зубы Дергушин.

— Ты-ы!.. — темная вода набежала на глаза Лубенцова. — Уши свои подбери, а то по ветру хлопают!

Димка терпеть не мог, когда говорили про его смешно оттопыренные уши. Прижав руки к груди и дергая побелевшими губами, Димка медленно двинулся на Лубенцова.

— А ну хватит! — срываясь на визг, прикрикнул мичман. — Прекратить! Всех посажу на «губу»! Дергушин, Хохлов, за работу! Реутов, иди в барак, от работы отстраняю! Старшина Лубенцов, возьмите себя в руки! Какой вы пример показываете! Безобразия! Сегодня же доложу командованию!

— Доброхот какой, мать твою!.. — зло ощерился Лубенцов. — Добился своего! Видал! Твоя работа!..

Из крика и мата Лубенцова Костя вдруг понял, что мичман ходил к Любе и уговаривал ее. Будто бичом стеганули, Костя задохнулся от боли и стыда. Вот, оказывается, что! Люба просто пожалела его! Она никогда и не любила! Поэтому так легко и порвала с ним.

Костя перепрыгнул через борт, взлетел одним махом по трапу на ряжи и побежал, сам не зная куда, лишь бы подальше от всех, лишь бы с глаз долой. Ноги сами принесли его на поляну, где они часто бывали вдвоем с Любой. Он упал в холодный, уже по-осеннему ломкий мох.

Здесь его и нашла Люба.

Когда ей обо всем, что случилось на водолазном боте, торопливо рассказал Дергушин, охнула она и кинулась со всех ног искать Костю именно здесь, чутьем почуяла, где он. Опрометью выскочив из барака, простоволося, заметалась между валунов, придерживая рукой сердце.

Увидев его лежащим на поляне, она чуть в голос не ударила, подумав самое плохое. Но когда поняла, что он жив, у нее подкосились ноги, она обессиленно опустилась на валун и заплакала.

Костя поднял голову.

— Ты!.. Ты!.. — не понимая, что делает, бросал в нее обидные, хлесткие, полные презрения слова, а она, покорно опустив голову, беззвучно плакала. Косте же казалось, что она притворяется, и он вспоминал все тяжелые, жгучие и постыдные для женщины слова и хлестал ими Любу. Не ожидала она таких попреков, и ее слепые от слез глаза неподвижно, с удивленным ужасом смотрели на него. Жестоко обзвав ее, он ушел. Рваным голосом она что-то крикнула вслед, он не обернулся... Костя шел, сам не зная куда, давил под ногами бруснику, будто кровью пятнал землю.

На сердце было пусто и холодно, как на пепелище. Он ощутил враждебность пространства, почувствовал собственную беспомощность перед судьбою, заброшенность на край света. Зверем вой – никто не услышит.

К вечеру, когда спустились темные осенние сумерки, Костя вернулся в барак. Мичман Кинякин раздавал на ужин водолазные сто граммов, положенные по норме за спуски в воду. Хмурое облако накатило на его лицо, когда он увидел Костю.

Костя молча, залпом выпил свою наркомовскую норму, выпросил у Хохлова и Дергушина и тоже выглотал. Он напился, что-то кричал, матерился, обзывал всех женщин на свете, плакал. Кто-то прикрикнул на него: «Прибери губы, сопляк!»; кто-то зло хохотал; кто-то стукнул по шее. Потом его тошнило, и его держали под руки за углом барака, потом укладывали спать. Наконец он ушел в беспамятство, как в пропасть кинуло. Тяжелый сон вырвал его из жизни, освободил от горестей и печалей...

Утром его грубо растолкали.

Костя с трудом открыл набрякшие веки. Перед ним стоял грозойю налитый мичман Кинякин.

– Приказ! – объявил он. – Выехать сегодня же на базу. Всей станцией. – Дергушину, Хохлову и тебе. – Помолчал, добавил: – Попили-поели, пора и бороды утирать.

У Кости раскальвалась голова, и все время подташнивало. Тело ныло тягучей болью, будто вчера избили его. На душе было пусто и горько, словно выгорело все. Он плохо соображал; но сердце испуганно и больно ворохнулось в ребрах: прощай, Люба!

– Накудесил! – Мичман неприязненно поджал сухие губы. – За такие фокусы!..

Костя молчал. Мичман вздохнул, горько усмехнулся:

– Молоко тебе пить еще. Собирайся!

В обед они уехали на полуторке. Пока забрасывали в машину свои вещи, Костя косил глазом на занавешенное окно Любы. Ребята собирались тоже хмуρο, молча стаскивали свои пожитки в машину. Как бы то ни было, а тут они привыкли, в работу втянулись, обжились, обтерлись, а вот что их ждет на судоремонтном заводе, где будут восстанавливать разбомбленный слип, – неизвестно.

Налетел «заряд», снежная крупа секла лицо, скакала в сухом безжизненном мху, путалась в сохлой траве, ложилась рыхлыми пластами. Враз загустели лужи, подернутые шершавым белым месивом, грязь запорошилась снежным бусом, стала вязкой и ленивой.

Пронесло «заряд», на миг пробрызнуло озябшее солнце, осветило белые холодные сопки, донага охлестанные ветром кусты, сиротливо торчащие из-под снежного покрова высохшие травяные былинки, обляпанные мокрым снегом гранитные лбы валунов, и вновь пасмурное небо придавило пустынно-горькую землю.

Полуторка тряслась по каменистой дороге, подпрыгивала на ухабах. Костя сидел в открытом кузове и тоскливо глядел, как удаляется приземистый барак, как все дальше и дальше отодвигаются еще не затопленные, оставшиеся на берегу свежеструганные ряжи, как все уже и уже становится залив.

Из Верхней Ваенги еще раз открылась панорама всей губы, тускло блеснул равнодушный ко всему свинцовисто-серый залив, помаячили эсминцы у причала, и пропало все в размытом свете хмурого полярного дня.

Наступил декабрь.

В огромном полуразрушенном цехе судоремонтного завода, где когда-то строились корпуса рыболовных судов, гулял ветер. Снег, пробиваясь в дырявую крышу и в щели треснувших от бомбежек стен, наметал сугробы на полу. В углу пустого гулкого цеха была небольшая пристройка. До войны находилась в ней конторка для планерок и перекуров, а теперь, слегка подлатав ее, жили там водолазы. Железная «буржуйка» топилась день и ночь, но в комнате стоял промозглый холод, потолок и углы терялись в сыром тумане. Спать матросы ложились на двухэтажные нары в водолазном шерстяном белье, в свитерах, натянув на голову шапку. Укрывшись тонкими отсыревшими одеялами, набросив сверху шинели и полушубки, затихали до утра, если не работали в ночную смену.

Рано утром резал уши переливчатый свист боцманской дудки и ненавистный клич вахтенного:

– По-одъем!

Кашляя, ругаясь, проклиная Север и свою долю, водолазы вставали, ежились, проверяли – высохли ли возле печки свитера, ватные штаны, валенки, и лаялись с вахтенным, обвиняя его в том, что он плохо калил «буржуйку» и не высушил белья. Натягивали полусырую одежду, завтракали, обжигаясь кипятком, и, хмуро сгорбившись, шаркая кирзачами, пряча лицо от студеного ветра, тянулись по разрушенному неосвещенному заводу к слипу.

Под водой было теплее. Работали на небольшой глубине, укладывали шпалы, рельсы, по которым будет двигаться слиповая тележка, забивали кувалдами железнодорожные костыли, крепили рельсы к шпалам. Работа была однообразной, скучной, надоевшей.

Но Костя охотно уходил на грунт. Хотелось побыть одному, отрешиться от всего на свете, забыться, наработаться до ломоты во всем теле, чтобы потом едва дотащиться до нар, упасть и провалиться в тяжелый глухой сон.

Тоска, глухая тоска давила сердце. Невыносимо хотелось бросить все и помчаться к Любе. И он сделал бы это, и ничто не удержало бы его: ни дисциплина, ни патрули, но он знал – она отвергла его. И чтобы как-то заглушить тоску, думал о Любе зло, мстительно и все время вспоминал, как Сычугин рассказывал в госпитале, что с ним случилось после Насти-бомбовоза: «...А потом встренул я ангела во плоти. Ну херувим просто. Беленькая, кудряшки завитые, глазками голубыми хлоп-хлоп! Куклы такие продаются – глазами хлопают. И сердце мое упрыгнуло к ней. Женился на ангеле, будто ум отшибло. Никого, кроме ее, не вижу. Молился на ее. Думал, ангел, а она курва оказалась. Пока я на работе ломил, она в нашей супружеской кровати принимала. Раз пришел я раньше времени, руку ожег у мартеновской печи, бюллетень дали. Я воровство-то бросил, как оженился, на завод подался. Так вот, приперся я домой и застучал их, тепленьких, середь бела дня. Его отпустил – очкарик, на коленях передо мной стоял, кальсоны замочил. А ее ударил. И не шибко чтоб ударил-то, а зашиб до полусмерти. В тюряге оказался. Мне

попытку к преднамеренному убийству приписали, да и карманные дела мои припомнили. Оптом получил». «Таким куколкам доверять нельзя, — сказал тогда штрафник. — Эти куколки самые что ни на есть распутные». А он-то, Костя, тогда, в госпитале, дурак, думал, что это наговоры на женщин. Нет, все они такие! И Люба — не лучше!

И все же очень хотелось увидеть ее, услышать голос, поймать ее чуть раскосый ускользящий взгляд...

Закончилась работа в Ваенге, были поставлены все ряжи на «постель», и остальные водолазы прибыли оттуда сюда, на слип. Прибыли и мичман Кинякин со старшиной Лубенцовым. Мичман остался на сверхсрочную службу и даже повеселел, исполняя привычную работу и обязанности. А Лубенцов ждал демобилизации.

Костя и Вадим делали вид, что не замечают друг друга. Оба помнили ссору.

День за днем, неделя за неделей пропадали в полярной ночи, истаивали в постоянной тяжелой работе, исчезали из жизни.

Костя наконец выкроил время сходить в госпиталь, навесить Лукича, которому, когда выписывался, обещал обязательно прийти.

Оказалось, что госпиталь перевели в другое место, а школу, где он раньше располагался, отдали опять под учебу, и в ней уже шумели вернувшиеся из эвакуации мурманские ребяташки.

Половину больницы, где теперь размещался госпиталь, занимал гражданский хворый люд, другую половину — раненые. Их осталось мало, только самые тяжелые. Это был уже отголосок войны.

В одной из палат на втором этаже он нашел Сычугина.

— Костя, дорогой! Вот спасибо-то, что пришел. Вот спасибо! — Глаза сапера омыло влагой.

Костя оглядел палату, раненые были ему не знакомы. А в остальном все то же: тумбочки между койками, госпитальная бледность лиц, запах медикаментов и хлорки. Из бинтов восково желтели носы, тусклые изболевшие глаза следили за



Костей. И здесь, среди этих увечных людей, Костя почувствовал себя непростительно здоровым.

— Никого из старых, — понял его взгляд Сычугин. — Все уже повыписывались. Один я из нашей палаты остался. И сестрички поменялись, и Руфа ушла.

— А Лукич как?

— Лукич уже месяц как уехал. Все ждал тебя, — с легким укором сказал Сычугин. — А ты канул — ни слуху ни духу, как козой скосило. Чего так-то?

— В Ваенге я был, причал строили. В увольнение не пускали.

— Знамо дело, знамо, — соглашался Сычугин, и голова его мелко тряслась. Раньше с ним такого не было. — Военный человек, он — куда прикажут.

Костя никак не ожидал встретить Сычугина, думая, что сапер давно уж выписался, а Лукич со своими культяпками еще лежит, а оказалось все наоборот.

— Он ложку держит, — радостно сообщал Сычугин. — И цигарку. Вроде как вилами зажмет — ему культяпки-то раздвоили. Ширинку, конечно, застегнуть не может, а ложку и цигарку держит справно. Он веселый поехал. Вот ждем письма от него. — Он окинул взглядом раненых в палате, пояснил им: — А это Костя, водолаз. С нами лежал. Раненые согласно закивали, и Костя понял, что они знают о нем все, не раз, видать, шла тут беседа про его кессонку.

— Пойдем в коридор, — попросил Костя.

— Пойдем, пойдем, — заторопился сапер.

На лестничной площадке между этажами, где можно было курить, Костя угостил Сычугина американской сигаретой.

— Вкусная, как конфетка. — Сапер с удовольствием затягивался ароматным дымом. — Не то что наша махра.

Костя давно хотел задать вопрос, да все сдерживался, но Сычугин понял.

— А я вот застрял тут. Меня припадки бьют, ну прям через день. Замучили. И держут вот. Все в палате поменялись, а я все лежу. — Он жалостно улыбнулся, а у Кости защемило сердце. — Я не первый раз за войну в госпитале. Раньше-то, бывало,

лежишь и думаешь, хоть бы подольше полежать, а то опять в мясорубку на передовой лезть. А теперь я бы с милой душой в свою роту вернулся. Да где она теперь, рота! Все давно по домам разъехались. И возвращаться мне некуда.

— А к той... рассказывал-то. К Насте. Бомбовозом называл.

— Да не было никакой Насти, — горько усмехнулся Сычугин. — Это я, чтобы вас повеселить, врал. И вообще, нету у меня никого на свете. Сестра где-то в оккупации потерялась. Где теперь найдешь. По нашему Донбассу война два раза прокатилась — туда и обратно.

— А та, с кудряшками-то? Ангел. Была?

— Та была, — вздохнул Сычугин. — Да тоже не знаю, где она теперь.

Костя и раньше догадывался, что сапер сочиняет свои веселые байки, но только теперь понял, насколько он одинок: ни роту, ни племени, ни пристанища, где голову приклонить.

Сычугин исхудал, усох в стручок — объело его госпитальное время. Из бязевой застиранной нижней рубашки, что виднелась из-под байкового серого халата, жалко и незащитно торчала тощая шея. Сычугин понял взгляд Кости.

— Вишь, какой я. Думал, дело на поправку пойдет, весной-то, когда ты уходил, а тут еще хуже стало. И ведь руки-ноги целы, вроде — человек, а вот... не человек, оказывается. И память стал терять, иной раз, как звать себя, забуду, а потом опомнюсь — и страх нападет. Амнезия у меня. И припадки эти...

Он прятал трясущиеся руки, покрытые какими-то шрамами. Костя никак не мог вспомнить — были эти шрамы у сапера или нет?

— Ничего, все будет в порядке, — старался обнадежить его Костя. — Видишь, вот я. Думал, совсем концы отдам, а вот видишь.

Костя вдруг понял, что саперу поправки не будет и что Сычугин знает об этом. И жалость охватила Костю, а ведь когда лежал в госпитале, он не любил этого психа и боялся.

— Контузии, они осложнения разные дают, и ослепнуть можно, и оглохнуть, и еще хуже... Да что я все о себе да о себе, — спохватился Сычугин и улыбочиво уставился на Костю. — Ты-то как, Костя?

- Да служу вот.
- Вижу. – Сычугин с любовью оглядел Костю с головы до ног. – В морской-то форме ты прям красавец. Ноги-то как?
- Хожу.
- А... это?.. – Сычугин понизил голос. – Это-то как?
- Костя понял, смутился.
- Нормально.
- О-о! – зацвел Сычугин. – Мы тут с Лукичом-то говорим-говорим про тебя, испереживались. Молили прям, чтоб у тебя все в норме было, чтоб как у людей. Сударушка, значица, была?
- Костя кивнул.
- О-о, молодец! – Сычугин похлопал Костю по плечу и посе-резнел. – Без этого какая жизнь! Это у кого куриные мозги, тем хи-хи да ха-ха, а дело это серьезное. Род-племя надо продолжать. Каждый человек обязан потомство пустить, предназначение исполнить. На то и на свет нарождается человек-то.
- Костя смущенно слушал его, а Сычугин все гладил его по плечу и с любовью смотрел, и Костя опять укорил себя, что так долго не мог выбраться в госпиталь, навестить товарищей по беде.
- У нас лейтенант был, командир взвода. Так, бывало, в атаку идет, а сам офицерским планшетом прикрывает. Говорит, пусть хоть куда ранит, лишь бы не сюда. До того нас всех довел, что и мы бояться стали! – Сычугин усмешливо покрутил головой. – Он, понимаешь, перед самой войной женился и жену-красавицу дома оставил. Я, говорит, к ней должен прибыть в полной парадной форме. Пусть лучше убьет, чем так-то...
- Товарищ моряк, ваше время кончилось, – предупредила сестра, появляясь на лестнице.
- Ты приходи, Костя, – просительно сказал Сычугин, и лицо его жалко сморщилось. Он вдруг заплакал.
- Костя растерялся:
- Что ты? Что с тобой?
- Чую, швах мое дело. Судьба подножку подставила.
- С чего взял? Вот придумал! – успокаивал его Костя и гладил по худым вздрагивающим плечам. – Ты не думай плохого.
- Товарищ моряк... – опять напомнила сестра.

– Ты иди, Костя, – вдруг с тревожной торопливостью зашептал Сычугин. – У меня сейчас... у меня начнется, подташнивает уже. Я как разволнуюсь, так начинается.

Лицо его побелело, покривилось, глаза расширились, и мутная пелена, как бельмо, наполнила на зрачки.

Сестра подбежала к Сычугину, схватила за руку, а он уже вгрызлся зубами в свою руку, чтобы болью пересилить приступ, и Костя только теперь догадался, почему у сапера руки в шрамах, которых раньше он у него не видел.

– Идите, идите! – приказывала Косте сестра и звала санитарок на помощь.

– Я приду, – пообещал Костя Сычугину. – Я потом приду.

Но Сычугин уже не слышал его, он скрипел зубами и дико косил глазом. На помощь сестре прибежали две санитарки.

Спускаясь со второго этажа, Костя услышал тонкий, будто игла, свиристящий звук и не сразу понял, что это кричит сапер.

Потрясенный, вышел он из госпиталя.

Шел по разрушенному, плохо освещенному Мурманску, шел к порту, горевшему разноцветными огнями судов, и на душе было больно. Острой занозой вошла в сердце дума о Сычугине, о том, какую подножку подставила судьба саперу; думал о том, что нет, еще не кончились муки людей, война все еще собирает страшный свой оброк.

Приближался сорок шестой год.

Восстановление разбомбленного слипа подходило к концу. Уже стояли у ближних причалов суда, которые первыми будут подняты на сушу, где им залатают продырявленные за войну борта и днища. Уже капитаны знали свою очередь и все вместе поторапливали водолазов, чтобы побыстрее заканчивали они подводные работы. И водолазы торопились, работали без выходных и увольнений.

Под Новый год мичман Кинякин неожиданно объявил:

– Разрешается увольнение. Женатым – на сутки.

Среди водолазов женатых не было.

Выбрав момент, когда рядом никто не торчал, мичман сказал Косте:

— Надо проверить наш бот в Ваенге. Как он там? Не съездишь?  
У Кости в радостном испуге оборвалось сердце.

Подняв воротник шинели и опустив уши шапки, Костя трясся в кузове. Ноги стыли в ботиночках, ветер пронизывал насквозь, бросал в лицо колкую снежную дробь.

Костя окоченел, пока добрался на попутной полutorке до Ваенги. От КПП у въезда в Верхнюю Ваенгу Костя побежал вниз по знакомой малонаезженной дороге.

За спиной остались редкие огни поселка, справа на сопке чернели кусты кладбища, тускло освещенные сквозь рваные облака проблесками лунного света; слева, в низине, заснеженное болото; за ним причал, где стояли корабли — их силуэты слабо проступали в морозной ночной мгле.

До барака Костя добрался, уже не попадая зуб на зуб. Приземистое длинное строение, одиноко заброшенное посреди пустыря, чернело мертвыми окнами. В Любином окне света тоже не было, но слабо белели занавески. «Спит уже, — подумал Костя с нежностью. — И не знает, что я приехал.»

Проскрипев мерзлыми гулками ступеньками крылечка, он вбежал в стылую тьму насквозь продуваемого барачного коридора.

Костя нетерпеливо постучал в дверь, подождал ответа, снова постучал. Прислушался. Тишина. Испуганно екнуло сердце: «Может, не живет уже? Уехала!» Пошарил по двери, звякнул замок. Обрадовался: «Живет!» И занавески на окнах. Живет, конечно. «Где же она?»

Не зная, что делать, Костя топтался возле двери, растирал поджаренные морозом щеки, стучал ботиночками. Ветер гулял в коридоре, поскрипывала неприкрытая дверь в одну из комнат, где недавно еще жили водолазы. Он зашел в ту, которая служила ему жильем, и сел на голые нары.

В обледенелое окно сочился лунный свет, неясно проявляя в темноте доски двухэтажных нар, мусор на полу, обрывки бумаг, какие-то тряпки. Под ногами взблеснуло что-то металлическое. Костя поднял. Это был сломанный штуцер от шланга. Костя

вспомнил, что резьбу шульца сорвал Лубенцов, когда соединял новые шланги, и как ругал его за это мичман Кинякин.

В комнате было холодно и промозгло, как в погребке, пахло заброшенным жильем: остывшей золой, мерзло-сырыми кирпичами, пылью. «Куда же она делась?» – с тоской думал он. Где живут ее подружки в Верхней Ваенге, он не знал, а то пошел бы разыскивать.

Чувствуя, что холод донимает всерьез, Костя достал из кармана бутылку, отглотнул холодного рома: друзья отдали ему свои сто граммов, положенные за спуски в воду. Глоток ожег гортань, покатился вниз, и через минуту приятная теплота разлилась по телу. Он сделал еще глоток. Стало еще теплее, и он повеселел, гадал: куда она пошла? Поди, сидит с подружками в поселке, встречает Новый год и ни сном ни духом не чает, что он приехал. Да и откуда ей знать! Не предупредил, весточки не послал. Три месяца уже не виделись. Спасибо мичман придумал хитрый предлог – осмотреть бот. Что ему, этому боту, сделается! Стоит себе возле причала и стоит. А как она тут? Одна во всем бараке! Заныло сердце от жалости и любви. Как он мог обозвать ее тогда, идиот неблагодарный! Сейчас попросит прощения. Как только она придет, так бухнется на колени перед ней и попросит прощения. Скажет, что жить без нее не может, что измучился от любви и стыда за свое тогдашнее поведение. Представил, как обрадуется Люба, как простит его, введет в теплую комнату, как будут они пировать, встречая Новый год...

Сколько он так сидел, он не знал. Часов у него не было. Он, наверное, все же придремнул. И, очнувшись, услышал под окном морозный скрип шагов. Костя сразу же узнал ее голос, и в груди счастливо дрогнуло. Ей в ответ что-то пробубнил мужской бас, раздался Любин смех, а у Кости заглохло и покатилося в холодную пустоту сердце.

Он услышал, как они вошли в коридор, как Люба отпирала замок и что-то говорила, а в ответ гудел мужчина. Заскрипела дверь и стихла.

Костя все понял, сидел оглушенный.

Стекло в окне слабо зажелтело — это она зажгла лампу, и свет упал на снег и отразился в Костином окне. Он сидел и не знал, что делать. Опять скрипнула дверь, и по коридору послышались ее летучие шаги. Она шла в его сторону, и чем ближе подходила, тем неувереннее и тише становились шаги. Возле двери они замерли. Костя вскочил с нар. Дверь осторожно отворилась, и Люба вздрагивающим шепотом спросила:

— Ты здесь?

— Здесь, — перемерзлым голосом отозвался Костя. — Как ты догадалась? — удивился он.

— Сердцем почуяла, — приглушенно ответила она. — И крылечко истоптал, наследил на снегу.

— А кто это с тобой? — Он пытался рассмотреть Любино лицо, смутно белеющее пятном в темноте.

Люба промолчала. Костя слышал ее взволнованное дыхание.

— Кто он? — повторил Костя.

— Тебе-то что! — И опять простонала в отчаянии: — Ну зачем ты приехал?

— Хахаль? — грубо спросил Костя, охваченный жгучей ревностью. Он там страдал, а она тут!..

— Ну — хахаль! — прошипела она. — Тебе-то что!

— Я ему сейчас!.. — пообещал Костя, хотя мгновение назад и не помышлял об этом.

— Ты-ы, — насмешливо сквозь слезный тон протянула она. — Да он тебя... одним мизинцем.

— Поглядим. — Костя решительно шагнул к двери.

— Тихо, тихо ты! — тревожно зашептала она, загородив ему дорогу. — Ошалел, дурачок! Не вздумай! Он — мужик против тебя. Ему тридцать. Старшина, сверхсрочник, — зачем-то сообщила она подробности.

— Ну и что! Подумаешь — старшина! — громко сказал Костя. Ему стало обидно, что грозят старшиной.

— Да тише ты! — испуганно простонала она. — Не губи ты меня. — И вдруг умоляюще, торопливо зашептала: — Не порть мне жизнь. Не стой на дороге. Он, может, женится.

Это известие сразило его.

– И я женюсь, – сказал Костя. Когда ехал сюда, он твердо решил жениться.

– Глу-пенький, – с грустной нежностью протянула Люба. – Тебя мама за такую женитьбу... в угол поставит.

– Я не боюсь. – Костя был полон решимости жениться.

– «Не боюсь», – в голосе ее послышалась горькая усмешка. – Говоришь-то как дите. – И вдруг злым, отчужденным голосом прошипела: – А ну катись отсюда, сосунок! Жених нашелся! Телок ты еще, а не жених.

От жестокой обиды он задохнулся и не знал, что ответить.

– Мне идти надо, я за дровами вышла. Стою тут с тобой, – раздраженно говорила она, и в голосе ее улавливалась тревога, боязнь.

За дровами пошли вместе.

В небольшом сарайчике держали дрова и водолазы. Наверное, они и оставили напиленные, наколотые и аккуратно сложенные в поленницы дрова. Костя хотел помочь ей.

– Нет, я сама, – отказалась она и быстро набросала себе на руку поленьев. На минуту замерла с охапкой дров, тихо спросила: – Помнишь, на бревнах-то сидели? День Победы?

– Помню, – у него дрогнуло сердце.

– И я помню, – тоскливо сказала она.

С охапкой дров шла Люба к бараку, а он собачонкой плелся за ней. Луна вышла из-за туч, ярко осветила промерзлый мир – засинел снег, побежали по пустынному полю тревожные тени облаков. Люба испугалась света, обернулась, освещенное лицо ее просительно искажилось.

– Ты иди, Костик, иди, – увещевала она. – Мне жизнь надо строить. Такой случай. Может, повезет.

– А как же я? – с тоской спросил он, жадно всматриваясь в такое родное и любимое лицо.

– Го-ос-поди-и! – слезно простонала она. – Ну что мне с тобой делать! Да у тебя вся жизнь впереди. Еще девочку найдешь какую, чистую. Любовь будет, любить друг дружку будете.

У нее перехватило горло, голос осекся, но она тут же поборола себя и решительно заявила:



— И не околачивайся тут под окнами! Иди отсюда! Иди!

Люба быстро вошла в барак. Гулко прозвучали в коридорной пустоте шаги, знакомо скрипнула ее дверь, и стихло все.

Костя долго стоял на месте. «Садануть в окно поленом!» — с отчаянием подумал он. Вспомнил про бутылку в кармане, вытащил, вызванивая зубами о ледяное горлышко, отглотнул.

Студеный ветер с моря жег лицо, пронизывал шинель. Надо было спасаться, но куда идти и где искать убежища, он не знал. Костя бесцельно зашагал по ледяному полю в сторону поселка.

Была глухая ночь.

Посреди поля он вдруг осознал, что идти ему некуда. Никакой попутной машины среди ночи он не поймает, чтобы возвратиться в город, только нарвется в Верхней Ваенге на патруль. Костя растерянно остановился, потоптался на месте, и ноги сами повернули назад. Там, в бараке, были нары. Там хоть не свищет ветер, можно перебиться до утра.

Огонек в ее окне манил к себе. Когда Костя подошел к бараку, лампа у нее погасла. Ревность оглушила его. «А может, он ушел? — вдруг подумалось ему, и он схватился за эту спасительную соломинку. — Ну, конечно, ушел, раз свет погас. Она спать легла».

Опаленный радостью, Костя влетел в коридор и постучал в дверь. Ни звука в ответ. Он постучал сильнее. «Неужели уснула уже?» Костя прислушался, приложив ухо к двери. Где-то в глубине комнаты возник едва уловимый шорох, потом вроде бы торопливый шепот. Поняв, что Люба не спит и что она там не одна, он зло и требовательно забарабанил в дверь. Что он делает, Костя уже не соображал — ревность захлестнула его.

— Люба, это я! Открой! — кричал он в безрассудстве и брякал чугунным ботинком в дверь. — Это я, Люба!

Она вышла в накинutom на плечи пальто. Из комнаты на миг обдало теплом и запахом табака. В темноте близко замаячило ее лицо.

— Уйди, проклятый! — простонала она. — Отстань! Не губи ты мне жизнь, дурак несчастный!

— Люба, милая, — шептал он, пытаясь обнять ее. — Это я, Люба! Я люблю тебя, Люба!

— Да уйди ты, идиот! — крикнула она и затряслась в рыданиях.

Костя обнимал ее, чувствуя родные теплые плечи, и что-то шептал, полный любви и невыносимой жалости к ней.

Скрипнула дверь. Вышел мужчина, забелел в темноте кальсонами.

— Тискаетесь? — с прохрипом спросил он. — Мало тебе одного, на молоденького потянуло...

Он обозвал ее коротким хлестким словом. Костя почувствовал, как Люба съежилась, будто от удара, втянула в плечи голову.

— Не смейте так говорить! — крикнул Костя, стараясь разглядеть лицо мужчины.

— Ну ты... ссыкун! — зло прошипел мужчина. — Сопля недозрелая! Да она, знаешь... Она со всяким, кто мигнет...

— Не смейте! — взвизнул Костя и не узнал своего голоса. Не помня себя, он кинулся на мужчину. — Она хорошая! Она...

Жестокий удар в скулу впечатал его в стенку коридора. Раздался какой-то звон, промерзлый барак гулко загудел, в глазах пошли красные круги, по подбородку потекло что-то теплое, и во рту стало солоно. «Кровь», — мелькнула мысль, и Костя полетел в черную глубину без воздуха...

Очнулся он от испуганного шепота:

— Костик, ты живой? Костик!

Чувствуя нестерпимую боль в затылке, он застонал.

— Пойдем, миленький, подымайся, — шептала Люба, пытаясь поднять его. — Вот так, миленький, вот та-ак...

Она помогла Косте подняться и повела к двери. Его подтащивало, головой нельзя было тряхнуть, в затылке стояла тяжелая боль, будто горячим свинцом налито.

В комнате, усадив его на стул, Люба зажгла лампу.

— Господи-и, искровянил-то как! Зубы не искрошил он тебе? — жалостливо спрашивала Люба, осторожно обмывая ему разбитое лицо теплой водой.

— Не-е.

У него ныла шея и одеревенело-сухой не слушался язык, но зубы были целы.

— Я думала — захлестнул он тебя. Неживой лежишь, кровью



улился. Страсть-то какая! У него кулак-то с кувалду. Счас я чаю горяченького. — Люба хлопотала то у печки, то возле него, снимая шинель и разувая каменные ботинки. — На вот шерстяные носки, погрей ноги-то. Не обморозил?

— Не-е.

Он плохо владел прикушенным языком и разбитыми губами.

— Ну слава богу! А то я прям извелась вся. Думаю, как ты там на морозе? Ты уж прости, что накричала я на тебя давеча. Это я не со зла, это от жалости. Я так растерялась, что не знала, что и делать. Ты сердца не держи на меня, ладно?

Костя радостно закивал: конечно, конечно, он и не думал на нее обижаться.

— Вот и ладно. Вот и помирились. Счас я тебя чайком погрею.

— У меня ром есть, — вспомнил он. — Там, в шинели.

Люба пошарила в карманах, ойкнула, порезав палец.

— Разбился твой ром. Шинель вся мокрая. Да у меня есть чего выпить. Погреешься.

Костя только теперь в тусклом свете лампы разобрал, что на столе, перед которым он сидит, остатки пиршества — консервы, макароны. И стыдливо отвел глаза. Люба, высасывая кровь из пореза, тоже засовестилась, глядя на стол, и вдруг пораженно ахнула:

— Унес бутылку-то! Не забы-ыл!

Костя сказал в утешение:

— Я и не хотел.

— Уне-ес, — протянула она с болью в голосе, думая о чем-то своем, но тут же встрепенулась: — Счас я чаю.

Люба поила его чаем, как маленького ребенка, с ложечки: ему было больно шевелить разбитыми губами.

— Потерпи, Костик, потерпи, миленький, — приговаривала она и снова подносила ложечку, предварительно подув на нее.

Наконец он одолел чашку.

— Ну как, лучше? Согрелся?

Он кивнул. Ему и впрямь стало легче, а главное — теплее. Он так намерзся, что все еще ознобно вздрагивал. Люба горестно смотрела на него, вздыхала. Спихватилась, взглянув на ходики на стене:

— Ой, сколько уже! Заговорила я тебя совсем, глупая баба. Спать, поди, хочешь?

Костя кивнул. Его разморило от чая, от печки, от Любиных забот. Она подкинула дровишек, подула на обугленные чурки, шевельнула ленивый огонь, и он весело вспыхнул. Запотрескивало в печке, пахнуло горьким березовым душком, в незакрытую дверцу выстрелили угольки.

— Ну ложись.

Костя отчужденно поглядел на кровать. Люба поняла его:

— Ты не думай. Ничего не было. Ложись.

Она торопливо перестелила.

И он с радостью забрался в прохладную, пахнущую свежими простынями постель и затих с гулко бьющимся сердцем. Люба еще походила по комнате, изводя порядок, прибрала со стола, поджила огонь в печке, подложив полешек, повесила сушить шинель и носки его на стул перед открытой дверцей. А он все ждал и все боялся, что постелит она себе на громоздком сундуке, стоящем в углу комнаты. Она будто прочитала его мысли и сказала, снимая халатик:

— Чего уж. Не чужие.

Дунула на лампу и легла рядом. Он потянулся к вей.

— Не надо, Костик, — бесконечно усталым голосом сказала Люба. — Спи спокойно.

Он затих возле нее, чувствуя знакомое тепло, вдыхая ее родной запах, а Люба лежала пластом на спине и тоскливо говорила:

— Господи, и зачем мы только с тобой встренулись?

— Я люблю тебя. — Сладкие слезы подступили ему к горлу.

— Нет, — выдохнула Люба. — Это тебя просто к бабе тянет. Тот же хмель, да не та бражка.

— Люблю, — повторил Костя, не понимая, почему она не верит ему.

— В тебе мужик проснулся, вот он и говорит невесть чего, — с горечью пояснила она. — А мне жизнь надо строить. Побаловалась с тобой, и будя. Погрелась у чужого огонька, и хватит, пора и честь знать.

— К нему пойдешь? — догадался Костя и отодвинулся от нее.

Подсунув ему под голову руку, Люба притянула Костю к себе, как прижимает ребенка мать, и тихо, как несмышленищу, стала объяснять:

– Пойду. Куда мне теперь? Может, простит. Где гроза, там и милость.

Помолчала, думая о своем решении: со старшиной они ровня, оба потерты жизнью, оба немало повидали, у обоих есть прошлое.

– Как раздумаюсь, так сердце мрет, хоть криком кричи. – Но тут же оправдывая старшину, торопливо сказала: – Он ведь с серьезными намерениями. У него дите в деревне. Жена померла за войну. А он на сверхсрочную остался, завскладом. Хочет девочку сюда выписать. Я ей заместо матери стану.

– Так это тот сержант? – удивленно спросил Костя и вспомнил, что было что-то знакомое в фигуре мужчины, когда он вышел из комнаты, только в темноте не разобрал.

– Тот. Он теперь старшиной стал.

– У-у, гад! – Костя разом вспомнил все обиды. – И ты с ним...

Люба ладошкой прикрыла ему разбитые губы. Ладонь была теплой, мягкой, пахла чем-то душистым и горьковато-сладким, будто черемухой.

– А я девочка люблю, – сказала Люба и вдруг призналась: – У меня ведь дочка была.

– Дочка? – удивился Костя. Он никак не мог представить, что у Любы была девочка. – Как дочка?

– Так, дочка, – вздохнула Люба. – Померла от скарлатины. Такая хорошенькая толстушка... Полтора годика ей было.

Он слышал, как под теплой и мягкой грудью Любы тревожно и сильно билось сердце, и, слушая этот родной стук, еще больше жалел и любил ее.

– Пойду, – обреченно вздохнула она. – В ножки упаду.

– А как же я? – спросил он, охваченный обидой. Говорит, будто его тут и нету.

– Ты? – Люба еще крепче прижала его голову к себе. – Ты, Костик, своей дорожкой пойдешь, а я своей тропиночкой. Разошлись наши стежки-дорожки. Не суждено нам. Не пало счастья

нам, — тоскливо простионала она. — Нелегко мне будет. Ох, нелегко! Видал, бутылку-то не забыл. А кулачищи у него! Вон как вдарил. Сердце-то не удержало руку.

Костя потрогал языком разбитые вспухшие губы, прислушался к боли в затылке и вдруг понял, что старшина ударил и ее.

— Он и тебя бил? — Костя отстранился, вглядываясь в ее лицо, слабо освещенное огнем из открытой печки, увидел мокрые оплывшие глаза.

Люба не ответила.

— Гад! — сказал Костя. — Женщину бьет. Гад! Ты не плачь, Люба, не плачь.

— Реви не реви, а жить надо, — вздохнула Люба и ладошкой отерла щеки. — Знаю, на что иду. Бабы завсегда знают, на что идут, а идут.

— Я его завтра найду, я ему, гаду!..

— Пойду, поклонюсь, — повторила Люба, будто и не слыша, о чем толкует Костя. — Он ведь с серьезными намерениями. А кулаки... что ж... Я баба здоровая, вон какая гладкая. Выдюжу. Улещать стану. Ничего! — с отчаянной беспечностью заключила она. — Всех бьют. Вон в деревне у нас, бывало... На то мы и бабы.

В печке, догорая, потрескивали дрова. Свет из открытой дверцы падал на пол кровавым пятном. Тихо стучали ходики на стене. И тихо падали в полумрак тусклые слова, будто рассказы-вала Люба не о себе, а о ком-то чужом.

— Я места себе не находила, когда уехал ты. Криком кричала. Сердце болью запеклось. Пореву-пореву да закаменею. А приду в себя, убеждаю сама себя: «На кого позарилась, глупая! Не по себе деревцо рубишь, не того поля ягодка: ты — уж перезрела, а он только соком наливаются; ты уж износилась, а он только на ноги поднялся». Говорю так-то себе, слезой умываюсь, а у самой сердце кровью обливается. Не пара мы, Костик, не пара.

— Пара, — убежденно сказал Костя.

— Не-ет, — со вздохом сказала Люба. — Не на свое позарилась я. Оприютить захотела тебя да и самой возле огонька погреться. А вышло — тебя намучила, себя напозорила. Ты уж не держи на меня сердца.

У Кости от любви и жалости перехватывало горло. Он по-щечья потянулся к ней, чтобы обласкать, облегчить ей душу, но Люба поняла его не так.

— Не надо, Костик. На душе муторно.

Но он настоял на своем, и она, нехотя, подчинилась, а Костя вдруг с ужасом обнаружил свою беспомощность и застонал от стыда и отчаяния.

— Что ты! Что ты! — всполошилась Люба. — Не думай, не думай! Ты верь в себя, верь, миленький мой, сладенький. Худого не думай. Горе ты мое...

Люба целовала его и все шептала и шептала что-то ободряющее, нежное. Прощаясь с ним навеки, она исступленно ласкала своего мальчика, единственного родного человека на земле.

Утомленный, он уснул на ее руке, покатился в сон, как в пуховую яму. Люба, боясь пошевелиться, глядела в темный провал потолка, и слезы душили ее, текли по щекам, мочили наволочку...

Сколько мест переменила она, пока не закинула ее сюда, на край света, ломаная да путаная дорожка! Все мечталось счастья найти. Да кто его потерял! Каждый в завязанной котомке держит. В самых соковых бабьих годках была, да укатились-скрылись они без возврата, без следочка. Года не хлеб, сами рождаются, и чем дальше, тем подгорелее да горчее. Не думала не гадала, что тут, в холодном краю да в лихую годину, и встретит своего единственного...

Она не сомкнула глаз до утра, слушала ровное, по-детски легкое дыхание Кости и, жалеючи его, боялась шевельнуться, хотя рука, на которой лежала его голова, совсем онемела. Все думала и думала, все перебирала и перебирала летние счастливые денечки...

Изгасли морозные звезды в окне, рассвет заснил стекла, неясно проступили в комнате предметы. Лицо Кости расплывчатым серым пятном лежало рядом. Комната выстыла, тепло сохранилось только в постели, и это было единственное место во всем морозном и чужом мире, где Люба еще чувствовала себя в безопасности.



Ей было жаль будить его, обрывать сладкий сон, но надо было вставать, и она легонько потрясла его за плечи. А он никак не мог проснуться, все выплывал и выплывал из легкого счастливого сна и все не мог выплыть, улыбался во сне, а у нее разрывалось сердце от жалости и близкой разлуки. Наконец Костя очнулся.

— А? — не понимая, спросил он. — Что?

— Выспался? — мокрым голосом спросила она.

— Выспался. — Костя радостно потянулся к ней, хотел обнять.

— Нет, — горько вздохнула она. — Все, Костик, все.

Люба высвободила из-под его головы затекшую руку, быстро поднялась с постели.

— Подымайся, поздний час уже, — бесцветным заношенным голосом сказала она.

Он встал.

Теперь, утром, все было по-иному. Он вспомнил, о чем говорила она ночью, и понял, что решение Любы бесповоротно и ему надо уходить. А Люба, омертвев, с непролитыми слезами, наблюдала, как он медленно снаряжается в дорогу, но не оставливая, только спросила:

— Чаю попьешь?

Костя отказался.

Долго застегивал шинель, все никак не мог попасть крючками в петли. Наконец, собравшись, сказал:

— До свиданья.

— Прощай, Костик, — рвущимся голосом отозвалась она и тут же торопливо и стыдясь заговорила: — Ты не думай худого, Костик. Все наладится. Ты верь в себя-то, верь. Да будь посмелей с бабами. Бабы, они силу любят. — Люба всхотнула, но смешок получился бесстыдным, и ей стало неловко за свои слова, она смутилась, замолчала.

Костя топтался возле дверей, все еще не решаясь переступить порог, все еще на что-то надеясь.

— Еще женишься, — лихорадочно шептала она, беззащитно припав головой к его шинели. — Детки пойдут, счастливый будешь. Счастья тебе, Костик, счастья, милый! Дай я тебя поцелую.

Она осторожно поцеловала его разбитые, опухшие губы.

— Ох, Костя! — со смертной тоской простонала Люба и лицом слепо тыкалась ему в грудь, что-то шептала прощальное, горькое, прижимала к себе, будто хотела запастись впрок его теплом.

Наконец, пересилив себя, оттолкнула его, твердо сказала:

— Иди!

Костя обернулся, прежде чем переступить порог, он было качнулся назад, но Люба, как бы защищаясь, выставила руки и выгоревшим голосом, будто вытлела у нее вся сердцевина, торпливо прошептала:

— Нет, нет!

А сама криком кричала в себе, держала слезу.

...Он шел по студеному, синим огнем искрящемуся полю, и дома Верхней Ваенги зябко проступали в сизой мгле раннего утра.

Ветер резал лицо. Костя на миг остановился, отвернулся от ветра, чтобы перевести дыхание, и взгляд его упал на приземистый, насквозь промерзший барак, и на крыльце ему почудилось что-то белое, и он было рванулся туда сердцем, но пересилил себя, пошел прочь.

Он еще не осознавал огромности потери, постигшей его, — это придет к нему позднее, но он знал — они простились навсегда...

За опоздание из увольнения его посадили на гауптвахту. Он был равнодушен — «губа» так «губа». Там он встретился с Хохловым. Игоря посадили в тот же новогодний вечер. Он шел поздно от матери (она вернулась из эвакуации и вновь поселилась в Мурманске) и придрался к прохожему, которого почему-то почитал за шпиона.

Схватка кончилась не в пользу водолаза. Прохожий скрутил Игорю руки и привел в комендатуру. «Шпион» оказался пехотным старшим лейтенантом. В комендатуре Игорь вгорячах выдал большой флотский набор. Комендант с интересом выслушал виртуозные матюги и за проявленную «бдительность» и за то, что Игорь был весьма навеселе, вкатил ему «на полную катушку» — двадцать суток гауптвахты.

Игорь, похохатывая и удивляясь самому себе, рассказал Косте о своей схватке на пустынной улице, довольный все же тем, что сидеть ему не одному, все родная душа рядом...

После отсидки, когда Костя и Игорь вернулись на слип, младший лейтенант Пинчук объявил:

– Весело живете – кто шпионов ловит, кто гуляет вволю. Развращения кончились. Реутов и Лубенцов откомандировываются на спасательное судно «Святогор», а Хохлов и Дергушин на крейсер. Там вам вправят мозги.

Косте было все равно – на «Святогор» так на «Святогор», в море так в море. Чем дальше от берега, тем лучше.

Мичмана Кинякина тоже отправляли куда-то в Карелию, чистить фарватер какого-то озера, а Сашку-кока в Архангельск. Работа на слипе закончилась, и оставалась лишь дежурная водолазная станция.

Друзья распрощались и отбыли по месту назначения, не ведая, что больше им никогда не встретиться.

На «Святогоре» Костя чувствовал себя чужим, ни с кем из матросов не подружился, держался в сторонке, жалел, что не попал вместе с Хохловым и Дергушиным на крейсер. С Лубенцовым Костя держался настороже, между ними так и остался холодок. Жили они в разных кубриках и встречались только на водолажном посту, на работе.

После того как Костя вернулся из Ваенги с разбитыми губами, Лубенцов зло усмехнулся и сказал:

– Ловкий ты парень, да не ловчее телка – тот себе под хвост языком достает. Растворожили тебе рубку.

Костя промолчал тогда, а мичман Кинякин сказал Лубенцову:

– Не лезь к парню, ему и так несладко.

– Флот позорит, – не унимался Лубенцов. – Дал себя избить.

– Он и тебе бы ткнул – дверей не нашел бы, – сказал мичман, зная от Кости, с кем он схлестнулся.

– Я до флота мешки нянчил, грузчиком рабливал. Не таких кидал за плечо, – ответил Лубенцов.

– Удалой, он долго не думает – сядет и заплачет, – вздохнул мичман, а Лубенцов помрачнел, замолчал и больше об этом не поминал, но Костя порою ловил на себе его удивленно-хмурый взгляд, будто выискивал в нем что-то старшина и не мог найти.

«Святогор» часто выходил в море: то обследовать какое-нибудь затопленное еще в войну судно и доложить — можно ли его поднимать, то требовалась помощь попавшему в беду в шторм траулеру, то пластырь поставить на пробоину, то винт сменить...

И каждый раз, когда «Святогор» шел мимо Ваенги, Костя с бьющимся сердцем пристально глядел на поселок, втиснутый в северную землю, и все пытался увидеть заветный барак, но его заслоняли корабли, стоящие у знакомого причала. Костя искал глазами ту сопку, с морошковой поляной, но и ее не мог различить среди одинаковых угрюмо лобастых холмов. Порою ему казалось, что ничего этого и не было — ни Любы, ни морошковой поляны — ничего. Пригрезилось. Во сне привиделось. Ничего не знал он и о Любе: где она, что с ней? Уехала ли на родину в Калугу, вышла ли замуж за старшину?

Замечал он на палубе и Лубенцова, тоже пристально смотрящего на Ваенгу. Вадим курил, был задумчив и хмур.

Лубенцов последнее время ходил со сдвинутыми бровями. И только вечерами, когда в кубрике собирались матросы, когда выпадали свободные от службы минуты, Лубенцов, играя на гитаре, пел, чаще всего:

*Напрасно старушка ждет сына домой,  
Ей скажут, она зарыдает...*

Уже не первой молодости старшина, всю юность провоевавший, прослуживший ни много ни мало, а девять лет, давным-давно не бывавший дома, пел старую горькую матросскую песню, и печаль лежала на его всегда злом и упрямом лице. Матросы помоложе, притихнув, слушали.

Лубенцов пел про кочегара, который никогда не вернется домой, а Костя вспоминал госпиталь, обваренного паром молодого кочегара и думал, где он теперь? Выздоровел и уехал домой или все еще мается по госпиталям? Может, лицо его стало нормальным? Вспомнил свой последний приход в госпиталь к Сычугину, когда ему сказали, что сапера отправили в другое место, держать его среди раненых больше нельзя. Он стал опасен

для окружающих, и припадки безумия его участились. А Лукич прислал письмо в госпиталь: жив-здоров, работает бригадиром в колхозе, место свое в мирной жизни нашел.

Косте нестерпимо хотелось домой, где не был уже четыре года. Как там, в родной деревне? Кто вернулся с войны, кто нет? Не шибко грамотная мать пишет редко и то все про хозяйство да про родню.

...И опять пришла весна. Опять обтаяли головы сопок, заголубели дали, с юга наносило теплым ветром, и вновь поманило куда-то. Матросы повеселели, стали дольше задерживаться на палубе, поглядывая на чистое небо и спокойные воды, вели мирные беседы под солнышком, ждали каких-то перемен.

Однажды вечером в кубрик вломился радостный усатый матрос, один из старослужащих, и гаркнул:

– Пляши, кореша! Демобилизация!

– Врешь, – тихо сказал Лубенцов, еще не веря, но уже понимая, что это правда,

– Не вру! Нет! – смеялся усатый матрос. – Все! Отслужили! По домам!

Лубенцов рванул струны гитары, но тут же прихлопнул звук ладонью и устало повторил:

– Все.

И не было радости в его голосе. Слишком долго ждал он этого. У Кости дрогнуло сердце, захотелось сказать что-то хорошее и доброе товарищу по службе, но старшина уже справился с минутной слабостью и опять стал насмешливо-ироничен.

– И какая сорока на хвосте принесла эту весть?

Усатый матрос хохотнул и сообщил, что у него в штабе земляк-корешок служит, вот он под великим секретом и сказал, что уже документы заготавливают. Два призывных года сразу уходят в запас. Со «Святогора» уйдут шестеро матросов.

В тот вечер долго не спали. Уже и «отбой» объявили, уже и дневальный заходил и просил: «Братцы, тише! Дежурный офицер придет», а матросы все не могли угомониться. Те, кто уходил в запас, вслух мечтали о том, что они будут делать дома, а те, кто еще оставался, с завистью слушали и прикидывали –

сколько им еще «трубить». Прикидывал и Костя, выходило — много...

Молча лежал в своей подвесной парусиновой койке Лубенцов. Заложив руки за голову, вперив бессонные глаза в железный потолок, думу думал, дом вспоминал, листал страницы своей жизни.

Смолоду ухватист и неробок был он. Мальчишкой еще подался в сплавщики, бросил школу, гонял плоты по быстрой и холодной Чусовой. Плясун был и весельчак, легкой поступью шагал по жизни, шел себе, посвистывал. Озорно кричал девкам на берегу, что белье полоскали, звал с собою, ослеплял белозубой улыбкой, обещал показать дальние края, что были где-то там, по течению реки.

Жили плотогонны артелью, весело — каждый день новые места, одно другого краше да интересней. По душе Вадиму была такая жизнь, и не думал он ее менять, да пришло время на службу идти. Но и тут подфартило — во флот попал: и форма красивая, и опять же разные места посмотрит. Пошел с охотой. Приказали на водолаза выучиться, опять обрадовался — новое интересное дело, что там на дне морском? На теплом Черном море службу начал и после водолазной школы, что была под Севастополем, попал на Балтику. Корабли поднимал. Там и война застала. Воевал не хуже других. Один раз только оплошка произошла, за свой строптивый характер в штрафную роту попал. Сюда вот, на Север, угодил. Кровью смыл с себя вину, полежал в госпитале и потом воевал в морском батальоне, не раз в десантах участвовал, в переплетах побывал, когда казалось — все, не выбраться живым. Но ему везло, видать, крепко мать за него молилась, живым из могилы выходил. Правда, весь в рубцах — как кобеля в драке, перепятнали. За полгода до победы отозвали с фронта и приказали опять быть водолазом. За девять лет службы пообломали рога, другим стал. Как говорится, наплясался, напелся и страху понатерпелся. И соловьем залетным юность пролетела, вот уж на висках и сединой припорошило, будто первым снежком. Кончилась какая-то полоса жизни, теперь новую начинать надо. Новую, незнакомую. Специальности гражданской никакой.

Опять плоты гонять? Не манит что-то. Да и насмотрелся он новых мест, хочется и у пристани пожить, тишины хочется, семьи.

И мысли все бежали и бежали в Ваенгу, к Любе. Вот кто сердце присушил...

Ночью их подняли по тревоге.

Только в открытом море объявили: идут на спасение подводной лодки – подорвалась на mine. Водолазам предстояло спасти экипаж. К утру они были на месте катастрофы. В серой рассветной дымке «Святогор» лег в дрейф. Там, внизу, под черными тяжелыми водами, лежала беспомощная подводная лодка, и неизвестно было – остался ли кто жив на ней? И насколько им хватит воздуха?

К месту катастрофы спешили и другие спасательные суда, «Святогор» пришел первым.

Младший лейтенант Пинчук, накинув на голову капюшон каски, защищал лицо от тяжелых хлопьев мокрого снега, который, несмотря на апрель, валил, как в январе. Над местом катастрофы в разрывах тумана был виден беспокойно мотающийся на мелких волнах облепленный пластами снега красный аварийный буй, выброшенный с подводной лодки.

Великая холодная тишина была здесь, и от этой тишины сжималось сердце.

– Вы готовы? – спросил Пинчук,

– Готов, – ответил Костя.

Он был уже в скафандре, только без шлема. Осталось ступить на трап, и на него наденут шлем, закрутят гайки, и он первым пойдет в эту черную дымящуюся воду, навстречу неизвестному.

Еще на подходе сюда, к этому месту, младший лейтенант Пинчук появился в водолажном посту и спросил:

– Чья очередь идти в воду?

– Моя, – ответил Костя.

– Одевайтесь, чтобы, когда придем на место, не терять ни минуты.

Лубенцов метнул прищуренный взгляд на Пинчука и сказал:

– Я думал, сначала пойдет водолазный специалист.

Красные пятна покрыли лицо Пинчука, но он овладел собою:

– Выполняйте приказ!

– Ему нельзя, – предупредил Лубенцов, и все в водолажном посту настожились.

– Что значит – нельзя? – Пинчук недовольно сдвинул брови.

– Ему можно ходить только на малые глубины, а на какой глубине лежит лодка – мы не знаем, – пояснил Лубенцов.

На обследование лодки должен был идти опытный водолаз. Таких на «Святогоре» было трое: Пинчук, Лубенцов и Костя. Остальные не в счет – молоды, зелены, неопытны.

Но Лубенцов грипповал, с температурой и насморком в воду идти нельзя. У Пинчука нарывал палец, рука была перевязана, а главное – он давно не ходил в воду, потерял навык. Внешне здоровым был только Костя. Да и очередь идти в воду была именно его.

И все же Лубенцов настаивал на своем, не спуская понимающего взгляда с Пинчука. А Костя подумал, что зря задирается Вадим, ничего с ним, с Костей, не случится. Уже год как он из госпиталя, и все с ним в порядке. Да и не должна быть большой глубина, на которой подорвалась лодка, – произошло это уже неподалеку от берега.

И теперь, когда они пришли на место, Пинчук еще раз спросил:

– Вы можете идти?

– Могу, – ответил Костя,

– И все же я прошу послать меня, – резко произнес Лубенцов.

– Они там ждут! – Пинчук кивнул на воду. – Что за торговля!

Что вам здесь – базар?

– Не базар! – с вызовом ответил Лубенцов и побледнел.

Они встретились глазами, и Пинчук медленно произнес:

– Хорошо.

И это «хорошо» прозвучало угрозой. Все поняли – нашла коса на камень.

Сузив глаза, Пинчук отчеканил:

– Товарищ старшина первой статьи, я отстраняю вас от работы и приказываю покинуть палубу!

Побледневший Лубенцов долго смотрел на Пинчука и медленно сквозь зубы процедил:



- Ты ответишь за это, младший лейтенант.
- Приказываю покинуть палубу! – взорвался Пинчук.

Лубенцов круто повернулся и пошел прочь.

Младший лейтенант Пинчук был возмущен. Эти «старики» совсем распоясались. Узнав о демобилизации, перестали подчиняться, вступают в пререкания, ведут себя, как будто они уже не на службе. И хотя Пинчук, конечно, уже ничего не мог сделать Лубенцову в дисциплинарном порядке – кто будет наказывать человека, на которого уже заготовлены демобилизационные документы! – но он все же указал ему его место.

Сейчас был самый удобный момент заявить о себе как о расторопном и знающем свое дело офицере. Пинчук первым прибыл на место катастрофы, и, пока другие топают сюда, лодка будет обследована. А о том, кто первым сделал это, будет знать самое высокое начальство на флоте, а может, и в Москве. Дело нешуточное – спасение подводной лодки. Нельзя упустить такой случай показать себя. Нельзя не ответить на неожиданную улыбку фортуны.

Пинчук давал последние наставления Косте: с чего начинать осмотр, на что обратить внимание в первую очередь, а главное – определить, живы ли люди. Костя слушал Пинчука вполуха – не впервой шел он на обследование и без указаний младшего лейтенанта знал, что в первую очередь осматривать и о чем докладывать. Пока он будет обследовать, подойдут другие спасательные суда, подойдет и «Нептун». И если люди на подводной лодке живы, то с «Нептуна» спустят водолазный колокол, при помощи которого будут спасать экипаж...

Костя привычно падал вниз, и воздух едва успевал догонять его. И снова перед иллюминаторами мелькали отметки глубин на спусковом канате, опять вода становилась все темнее и темнее и все сильнее и сильнее заковывала в латы, обжимая тело со всех сторон. Знакомо покалывало барабанные перепонки, пока еще легонько, вроде бы даже нежно, но вот-вот уже вонзятся огненные иглы, и тогда хоть криком кричи. Пора «продуваться»!

У отметки «Тридцать» Костя задержался. Надо было подождать, пока догонит его воздух, надо насытить организм кислородом, чтобы не наступило кислородное голодание. Костя

ухватился за пеньковый спусковой конец и, наклонив шлем, всмотрелся в темную глубину под ногами. Видимость была все же хорошей, вода — чистой, но в расплывчатой мгле он ничего не обнаружил. Не видно было и грунта.

После госпиталя прошел год, и Костя чувствовал себя нормально. Так что если он обернется быстро — осмотрит лодку и выйдет, — то ничего с ним не случится. Зря Лубенцов задрался с Пинчуком, нажил только неприятности. А главное — на «Святогоре» есть рекомпрессионная камера. Если что: сунут туда — и порядок!

Отдышавшись и провентилировав себе легкие, Костя стравил лишний воздух из скафандра и снова полетел вниз. Сколько раз вот так вот падал он вниз, в глубинный мрак, и всегда его там что-то ждало: торпеда, мина, погибший корабль... Теперь вот подводная лодка, и в ней задыхаются парни.

Скорей! Скорей!

Лодка появилась внезапно. Вдруг надвинулась на него снизу черная скала, и не успел Костя сообразить, что это такое, как стукнулся галошами о что-то неподвижное и металлически-твердое, и падение его прекратилось. Он не сразу понял, что скала, рядом с которой он падал последние секунды, вовсе не скала, а ходовая рубка подводной лодки. Он угодил прямо туда, куда и надо было.

— Есть. Стою на лодке.

— Стучите! — приказал Пинчук.

Костя опустил на колени и ударил по корпусу лодки гаечным ключом, который был предварительно привязан шкертиком к его руке. Ударил три раза через равные промежутки времени, потом еще два раза подряд, чтобы там, в лодке, поняли, что стук этот не случаен, что им подадут сигнал.

Ответа не было.

Костя снова ударил три раза, потом еще два. Прислушался. Тишина.

Ему стало не по себе. Неужели задохнулись в этой металлической большой сигаре? На сколько им там хватает воздуха? Говорят, возвращались с задания, значит, всякие ресурсы уже



выработаны. И вот он стоит на подводной лодке и у него под ногами задохнувшиеся люди.

— Молчат, — доложил он наконец.

Пинчук не сразу подал голос:

— Как чувствуете себя?

— Нормально.

— Тогда осмотрите лодку и наверх!

Костя решил начать осмотр лодки с носа, раз говорят, что подорвалась она на mine — значит, скорее всего, напоролась на нее носом.

— Потравите шланг-сигнал! — приказал он и пошел в мутно-коричневую зыбь.

Свинцовые подошвы стучали по металлу, он ногами чувствовал эти глухие удары, и звук казался мертвым.

Много раз приходилось Косте обследовать погибшие корабли, случалось — находил в них утопленников. Но на этот раз под ним, под холодным металлом, лежал мертвым весь экипаж, все до единого! И от этой мысли Косте было не по себе, будто шел он прямо по трупам.

Он подошел к носовой пушке. «Сорокапятимиллиметровка», — подумал Костя, увидев сбитый взрывом короткий тонкий ствол. Ствол ткнулся дульным срезом в тело лодки, будто склонила пушка голову перед теми, кто был под ней.

Металлические леера-ограждения по бокам палубы тоже были сорваны. Железные, витые, оборванные прутья торчали в разные стороны, как руки с тонкими длинными скрюченными пальцами, призывающие на помощь. Костя прошел мимо брашпиля, мимо кнехт и увидел, что носовой броневой лист круто загнут вверх — носом напоролась.

— Взрыв в носовой части! — доложил он наверх. — Потравите шланг-сигнал, пойду вниз, определю пробоину!

— Идите! — разрешил Пинчук.

Стравливая воздух из скафандра, Костя стал спускаться с лодки на, грунт. Рваная огромная пробоина зияла в первом отсеке, искореженное железо нависало острыми краями. Видать, на крупную мину наскочили.

Спускаясь вдоль этой рваной черной дыры в носу подводной лодки, Костя мысленно определял ее размеры. Он знал, что подводные лодки разделены на отсеки водонепроницаемыми переборками, и если первый отсек взорван и затоплен, может остаться целым второй, третий...

На грунте было темно, но Костя все же различил и примерно определил размеры пробоины. Определил также, что водонепроницаемая переборка во второй отсек цела. Лодка лежала, накренившись на правый борт, на твердом каменистом грунте, и Костя подумал, что поднимать ее будет трудно, под нее не подкопаешься, чтобы пропустить стропы понтонов. Левый борт лодки был цел: и носовой, и кормовой вертикальные рули, и оба винта, и горизонтальный руль. Правый же борт, на который лодка накренилась, Костя не мог осмотреть тщательно, но никаких повреждений не было видно.

Обо всем этом Костя доложил наверх.

— Выходите! — приказал Пинчук, и Костя, окидывая последним взглядом лодку, почувствовал, как защемило сердце.

Он уходил, а они оставались.

Костя подвсплыл и снова оказался на палубе подводной лодки. Подошел к рубке, зачем-то потрогал задрайку двери, ведущей внутрь рубки.

И уже ни на что не надеясь, на всякий случай, он еще раз постучал по ней гаечным ключом и вдруг услышал слабый ответный стук. Костя не поверил своим ушам и торопливо, с бьющимся сердцем, застучал изо всех сил ключом по металлу. Он приложил руки к железу, перестал травить воздух, и в наступившей тишине руками услышал ответный стук. Но стук был настолько неясен, что Костя засомневался — может, слуховая галлюцинация.

— Кажется, есть! — крикнул он. — Вроде отвечают!

— Кажется или есть? — торопливо переспросил взволнованный Пинчук.

— Не пойму.

— Стучите! — приказал младший лейтенант. Костя стучал, прислушивался, иногда ему казалось, что отвечают, иногда — нет. Он уже не мог понять.

– Стучите в районе боевой рубки! – приказал Пинчук. – Где вы сейчас находитесь?

– Не знаю, – ответил Костя, хотя стоял именно возле рубки.

Он уже плохо ориентировался, сообразительность понизилась – у него началось глубинное опьянение. Он давно уже заметил, что ему как-то нехорошо: то закружится голова, то покажется, что его окликнули, и он переспрашивал, что именно ему сказали, то вдруг подкатит к горлу тошнота.

– Реутов, вы поняли, что я сказал? – тревожно спросил Пинчук.

– Понял, – ответил Костя и пошел прочь от рубки, цепляясь за гнутые поручни.

Он на миг даже забыл, где он и что надо делать. Азотный наркоток отравлял его. Костя пьянел, будто пил рюмку за рюмкой.

Пинчук заподозрил неладное:

– Реутов, провентилируйте скафандр! Даем напор. Ухватитесь за что-нибудь! Держитесь крепче!

У Кости плыло все перед глазами, он плохо соображал. Он еще понимал, что ему надо приподняться на несколько метров и глубинное опьянение азотом пройдет, и тогда он может вернуться к лодке и продолжить ее обследование. Все это, как опытный водолаз, он знал и даже хотел предупредить Пинчука: «Я пьянею!», но им уже овладело хмельное безразличие к себе и ко всему вокруг, ничего не хотелось делать, и не было никакого страха.

А потом ему стало нестерпимо смешно. Смешно оттого, что подводная лодка лежит боком, что боевая рубка ее наклонилась, что пушка уткнулась стволом вниз и что он, Костя, как мокрая вошь, лазает по холодному металлическому телу.

– Реутов, немедленно наверх! – кричал Пинчук.

Костя засмеялся в ответ. Чего они там паникуют? С ним все в порядке. Он почувствовал, как его потянули за шланг-сигнал. Не-ет, у них ничего не выйдет! Костя ухватился за изогнутый леер, захихикал – пусть попробуют теперь отодрать его!

– Реутов, выходите!

– Да не пьяный я, нет! – уверял он младшего лейтенанта и смеялся писклявым смехом. (Голос на глубине меняется, становится тонким.)

И хотя у Кости сохранился в сознании проблеск трезвой мысли, что он опасно опьянел от глубины и что его может выбросить наверх и тогда обрушится на него кессонка, но он уже не мог сдерживать веселья. Ему стало еще смешнее от мысли, как он вылетит наверх «сушить лапти», как будет бултыхаться на поверхности в раздутом скафандре, будто поплавок, и как будут его буксировать за шланг-сигнал к трапу. Он хохотал и пытался что-то петь разудалое.

— Реутов, я приказываю — немедленно наверх!

«Подь ты в пим дырявый! — весело подумал Костя и еще крепче ухватился за леер. — Черта с два! Фиг вам, фиг!»

И вдруг услышал голос старшины:

— Костя, говорит Лубенцов. Слушай меня внимательно. Надо, понимаешь, осмотреть люк боевой рубки. Он на самом верху рубки. Мы немного подбираем шланг-сигнал, а ты поднимись и посмотри.

— Ладно, — с пьяной легкостью согласился Костя.

Когда он приподнялся на несколько метров, он пришел в себя, отрезвел и увидел, что держится за спусковой канат гораздо выше рубки и лодка где-то под ним. Огромной длинной сигарой темнела она у него под ногами.

— Я опьянел? — догадался он, вспоминая какие-то голоса и приказания.

— Нет, — спокойно ответил Лубенцов, и Костя удивился, что на телефоне не младший лейтенант, а старшина. — Но время твое истекло, и тебе пора подниматься наверх.

— Я трезвый, — сказал Костя, приходя окончательно в сознание. — Я могу продолжить обследование.

— Не надо, — все так же спокойно и непривычно мягко говорил Лубенцов. — С «Нептуна» спускают водолазов. Выходи, Костя.

— Я, кажется, слышал ответные стуки. — Костя припоминал что-то, как после сильного похмелья.

— Хорошо, хорошо, Костя... Мы все поняли, — благодарил Лубенцов. — А теперь следи за воздухом, мы выбираем шланг-сигнал.

Его потянули наверх. Когда Костя вышел из воды и поднялся по трапу, он увидел на палубе инженер-капитана второго ранга

Ващенко и стоящего перед ним бледного Пинчука. Разъяренный командир что-то выговаривал младшему лейтенанту.

Возле «Святогора» болтался водолазный бот. Из тумана неясно проступал «Нептун». Костя узнал его по силуэту.

С Кости сняли шлем.

– Люди, кажется, живы, – доложил он командиру.

– Благодарю за службу, – сказал Ващенко.

Не успел Костя по-уставному ответить «Служу Советскому Союзу», как хмельно кругом пошла готова. Он пошатнулся и, уже охваченный гибельным предчувствием, уже с испугом слушая, что происходит в его организме, уже понимая, что не избежал закупорки кровеносных сосудов пузырьками азота и что сосуды рвутся под напором невыделенного из крови газа, увидел Лубенцова, хмуро, с бессильным отчаянием смотрящего на него.

Безвольное тело Кости вывалилось из скафандра, его подхватили на руки матросы. Уже теряя сознание от знакомой горячей боли, стеклянно пронзившей его от паха до пяток, услышал высокий голос командира:

– Что вы сделали! Вы понимаете, что вы сделали! Под трибунал пойдете, негодяй!

Костя не понял значения этих слов. Уже проваливаясь в глубину темной горячей боли, уже теряя свое тело, уже понимая горькую обреченность, он закричал что-то бессвязное, иступленно моля кого-то о пощаде.

И крик этот эхом отозвался во всей его дальнейшей жизни...

И повторилось все сначала.

Костя опять прошел все госпитальные муки. Закаменев от отчаяния, понимая, что теперь ему нет места в нормальной человеческой жизни, что навсегда обречен на одиночество, лежал он трупом.

В палате, когда пришел в себя, Костя узнал, что экипаж подводной лодки спасен. Но при подъеме уже самой лодки погиб Лубенцов: ему обрубил понтон шланг-сигнал, и Вадим задохнулся на глубине.

Костя давился слезами, он представлял муки Вадима – сам задышался и знал, что это такое. Он знал, каким вытащили



Лубенцова на поверхность. Металлический водолазный шлем превращается в кровососную банку — давление воды на глубине, обжимая скафандр, вытесняет всю кровь из тела в голову. Костя видел таких водолазов, когда не узнать, кто перед тобою, когда вместо головы раздутый сизо-багровый шар, когда глаза выдавлены из орбит, а губы, нос, щеки, уши — все наполнено кровью и безобразный шар этот лоснится от внутреннего напора.

Не успел Костя пережить гибель Лубенцова, как пришла другая страшная весть: в Карелии, вытаскивая со дна озера авиационную бомбу, подорвался мичман Кинякин.

Из госпиталя Костя вышел через полгода и сразу же был демобилизован.

Потом была долгая и мгновенная жизнь.

Константин Федотович Реутов сразу же узнал в подполковнике того давнего юного лейтенантика, к которому тридцать с лишним лет назад пришел он, демобилизованный матрос Костя Реутов. Офицер тогда строго отчитал его за то, что Костя явился в военкомат одетым не по форме, а по-граждански — в рубашке и костюме старшего брата.

Бывший лейтенант располнел, черты лица приобрели властность, дающуюся годами командования, как некий вышний знак отличия от обычных смертных. Волосы у него поредели, но были еще без единой сединки и, как и тогда, тщательно расчесаны на пробор. По-прежнему, до блеска, были выбриты и щеки, сохранившие, несмотря на возраст, юношеский румянец.

По тому, как входили и выходили из его кабинета подчиненные, чувствовалось, что аппарат военкомата работает четко, отлаженно, без перебоев и что подполковник является примером для подчиненных.

— Почему вы не пришли вовремя? — спокойно, но строго спросил военком.

— Работы очень много. Грипп свирепствует, половина шоферов заболело.

Подполковник развернул личное дело лейтенанта запаса Реутова Константина Федотовича. (Окончив автодорожный институт, Реутов стал офицером запаса.)

— Кем вы служили во время войны? Здесь записано — водолазом. — Подполковник поднял глаза на седого человека с тонким интеллигентным лицом и спокойными светлыми глазами.

— Водолазом, — подтвердил Реутов.

— Всю войну?

— Да. Вернее, с сорок второго.

Подполковник не мог понять: воевал, а наград не имеет. Станный какой-то случай. Вызывая к себе директора городской автобазы, в личном деле которого значилось, что он участвовал в войне, и которому надо было вручить Удостоверение участника Великой Отечественной, военком обнаружил, что в графе о наградах не значится ни одной награды. Сейчас, когда участники войны награждались юбилейной медалью «60 лет Вооруженных Сил СССР» и военкоматы готовили списки для представления к наградам, поднимали личные дела бывших фронтовиков, собирали справки о ранениях, документы о прохождении службы, вызывали к себе запасников, беседовали с ними, уточняли документы, факты, даты... он, военком, и обнаружил это странное «Личное дело» лейтенанта запаса.

— Да, да, в сорок втором. — Подполковник листал страницы. — Доброволец?

— Доброволец. Семнадцати лет пошел. — Константин Федотович смутился, получилось — вроде бы похвастал этим, и чтобы как-то сгладить это невольное бахвальство, пояснил: — Весь класс пошел, все мальчишки. Девятый «А», — зачем-то уточнил он.

Константин Федотович вспомнил, как всем классом ходили в райвоенкомат, как обивали пороги. Они тогда думали, что все вместе и отправятся прямо на фронт и воевать будут в одном взводе, но их рассовали по разным родам войск — кого в пехоту, кого в танкисты, кого в авиацию, а он, Костя Реутов, попал в водолазную школу на Байкал. И только после войны узнал, что в живых из всего класса остался он да еще двое.

– Почему же ни одной награды здесь не записано? Здесь какая-то ошибка?

– Нет, – ответил Константин Федотович и слегка порозовел скулами, ему всегда было неудобно, когда речь заходила о наградах.

Он понимал, что действительно нелепо получается – всю войну был военным водолазом (сначала у Сталинграда доставал со дна Волги танки, орудия, затопленные катера, утопленников; потом на Ладожском озере – баржи, машины, оставшиеся на дне после «Дороги жизни»; потом на Севере доставал корабли, мины, торпеды и снова утопленников) – и ни одной награды.

О наградах он никогда не думал, не придавал этому значения, но вот сейчас слова подполковника подчеркнули всю странность положения, какую-то даже подозрительность ситуации.

– А что вы вообще делали на войне? Что делают водолазы?

Подполковник откинулся на спинку кресла, продолжая с привычной начальственной строгостью глядеть на Реутова сквозь стекла очков в модной оправе.

Подполковника заинтересовала эта необычная специальность на войне. Тысячи запасников у него: пехотинцы, артиллеристы, танкисты, кавалеристы, моряки, летчики, полковые разведчики – кого только нет! А вот водолаз один-разъединственный на весь город.

Подполковник с уважением относился к бывшим фронтовикам. Он сожалел всегда и сожалеет до сих пор, что самому не довелось побывать на фронте. Он тоже пошел добровольцем и тоже семнадцати лет, но только в сорок четвертом. Но пока учился в военном училище, война кончилась.

Константин Федотович смотрел на наградные планки подполковника – блестящие, широкие и длинные, сделанные по заказу, – понимал, что все это – юбилейные медали, и вдруг вспомнил, что там, на войне, делали они из этого плексигласа, который добывали на сбитых самолетах (немецких и своих), портсигары и наборные ручки для финок и что большим мастеров по этому делу был мичман Кинякин, работающие руки которого не знали покоя.



И вдруг ему пришла мысль, что они с военкомом, пожалуй, ровесники, но какая незримая бездна разделяет их: у них были не только разные пути в этой, мирной, жизни, но были (и это, может, главное!) разные в той, военной.

И поэтому уже нехотя он ответил на вопрос военкома о том, что делали водолазы на войне:

— Корабли поднимали, «постели» ровняли...

— Постели? — подполковник приподнял брови. Едва заметная усмешка мелькнула за большими стеклами очков, а может быть, только показалось, и Реутов тоже усмехнулся, понимая, что действительно слово «постель» звучит нелепо в рассказе о войне.

— Это... место под водой. Под причал делается. На «постель» ряжи ставят, это — деревянные срубы. Ну, еще — топляки вытаскивали, слип ремонтировали...

— Что это — слип?

Константин Федотович объяснил, и по поскучневшему лицу военкома понял, что тот чем-то разочарован и вызвано это, им, Реутовым, и потому уже не стал рассказывать про мины, торпеды, взрывчатку, утопленников, подводные лодки, кессонку...

— Вы что, не женаты? — перелистывая «Личное дело», спросил подполковник. — Здесь не указано.

— Не женат, — подтвердил Константин Федотович.

Подполковник с легким удивлением взглянул на него, а Реутов сжал челюсти, чувствуя, как начинают гореть уши. Он не любил отвечать на этот вопрос, но в отделе кадров, в домоуправлении, в бухгалтерии — почему-то всегда и везде дотошно допытывались: женат он или нет. Как будто важнее этого вопроса в жизни и не существует.

— Чего ж так?

Константин Федотович понимал, что военком спросил по-товарищески, как мужчина мужчине, в общем-то не придавая, видимо, этому факту особого значения.

— Так получилось, — сухо ответил он. Подполковник взглянул на него и подумал: «Скажите какой! Эгоист, видать». Но тут же отогнал эту мысль. Он на службе, и эмоциям здесь не место! Надо быть объективным.

У самого подполковника были три дочки, теперь взрослые, он был счастлив в семейной жизни и с неприязнью относился к холостякам, особенно пожилым, считая их эгоистами, берегущими свою свободу.

«Что же с ним делать? — подумал военком. — К празднику Победы будут награждать раненых, еще не получивших наград. Работа в военкоматах началась уж давно: справки, розыски, архивы, заявления...»

— У вас, может быть, справки какие-нибудь сохранились? Об участии в каких-то боевых операциях, ранениях?

У Константина Федотовича чудом сохранилась справка о награждении его медалью «За оборону Советского Заполярья». Когда всех награждали, он лежал в госпитале. И только перед самой демобилизацией, при оформлении документов, обнаружили, что медали он не получил, и ему выдали справку о награждении. С этой справкой он и отбыл домой.

— Покажите, — обрадовался подполковник. Он искренне хотел как-то помочь этому человеку.

Константин Федотович вспомнил, как тридцать с лишним лет назад эту самую справку он показывал тому самому подполковнику, тогда юному лейтенанту, и как он ответил: «Таких медалей у нас нет. Надо посылать в Москву, но теперь ими уже не награждают». И матрос Костя Реутов, радостный от того, что демобилизован, забрал справку и побыстрее ретировался из военкомата, подальше от строгого лейтенанта.

Теперь подполковник, внимательно прочитав справку, рассмотрел печать и позвонил по телефону:

— Принесите мне статуэты о награждении медалями.

Через минуту девушка в военной форме принесла большую папку, и подполковник стал листать. Константин Федотович видел напечатанное крупным шрифтом на лощеной толстой бумаге «За оборону Ленинграда», «За освобождение Вены», «За взятие Берлина». Наконец военком остановился на листе, где был напечатан статут о награждении медалью «За оборону Советского Заполярья». Читал он долго, внимательно, а Константин Федотович чувствовал неловкость этой проверки, вроде бы его

в чем-то подозревают, и чтобы как-то отвлечься, водил взглядом по стенам, где висели портреты Героев Советского Союза, имена которых были знакомы еще с военных лет.

Подполковник оторвался от чтения и как-то непонятно взглянул на Реутова.

– Справка недействительна, – сухо сказал он.

– Почему? – Константина Федотовича кинуло в жар. Будто подделал он эту проклятую справку и теперь вымогает награду.

– По статуту медали. Вы пробывли на Севере до окончания войны меньше, чем положено для награждения.

Реутов растерянно пожал плечами. Всех награждали тогда. И Хохлов, и Дергушин награждены, а они вместе, в один день, прибыли на Север. И ему вот эту справку выдали. А теперь хоть со стыда провались.

– Мы отберем ее у вас, – холодно и каким-то усталым голосом сказал подполковник.

– Как хотите, – ответил Константин Федотович, сгорая от стыда и желая только одного – поскорее кончить это нелепое дело. Черт дернул его сунуться с этой справкой! И чтобы хоть как-то оправдаться (а зачем оправдаться – и сам не знал, просто неловко было перед военкомом), сказал: – Всех награждали.

– Что же вы не получили? – недовольно спросил подполковник.

Ему было жаль этого запасника, он понимал его состояние, но переступить букву закона не мог. Он охотно верил, что тогда, сразу после войны, награждали, не очень соблюдая статут, и, конечно, прав этот водолаз, что «всех награждали». Но это – тогда.

«В госпитале лежал», – чуть было не сказал Константин Федотович, но вовремя спохватился. Военком наверняка заинтересуется – почему. Недаром он уже спрашивал про справки о ранениях.

– Так получилось.

Подполковник остался недоволен ответом.

Он вручил Реутову Удостоверение участника Великой Отечественной войны, крепко пожал руку и, чтобы как-то загладить свою вынужденную педантичность, чтобы смягчить неприятное

впечатление от встречи и сказать что-то ободряющее этому, видимо, совестливому человеку, добавил:

– Поздравляю вас, Константин Федотович, с наступающим Днем Победы!

– Спасибо. Вас тоже, – улыбнулся Реутов и облегченно вздохнул – кончилась пытка.

Подполковник взглянул на часы, было уже одиннадцать минут третьего, начался обеденный перерыв.

– Приходите на открытие памятника павшим. Девятого мая будем открывать, – пригласил военком.

Когда Реутов вышел, подполковник снова взглянул на часы, было уже пятнадцать минут третьего. Он достал из ящика стола пакет с бутербродами и нашумевший детектив, в котором было не дочитано несколько страниц. Этот детектив, который ему дали почитать на короткий срок, так увлек его, что он принес книгу даже на службу, желая дочитать в обеденный перерыв. Но сначала надо было все же покончить с этим водолазом. Военком любил порядок в деловых бумагах.

Подполковник снова открыл «Личное дело» Реутова и на миг вспомнил, чем запасник возбудил в нем интерес, когда он прочитал, что тот – водолаз. Посылая повестку, ему думалось, что специальность водолаза на войне связана с какими-то секретными заданиями, например, с высадкой подводного десанта в тыл противника или с раскрытием тайны какого-нибудь затонувшего корабля. А оказалось – они ровняли «постели». Подполковник усмехнулся этому термину. На мгновение он вспомнил тонкое, будто сожженное какой-то внутренней болезнью лицо лейтенанта запаса с умными, все понимающими глазами и снова пожалел, что не удалось как-то отметить этого ветерана ради Дня Победы. Он немало знал фронтовиков, у которых не сохранилось справок о ранениях и которые не помнят номеров госпиталей, где лежали, не помнят номеров своих воинских частей, и он всегда помогал им, считал это своею первостепенной обязанностью: делал запросы в Центральный архив Министерства обороны СССР или в Архив военно-медицинских документов, наводил справки, требовал, напоминал... И был очень рад, если



удавалось кому-то помочь, всегда был рад вручить бывшему фронтовику награду.

У этого же лейтенанта запаса не было ничего, даже справка и та оказалась недействительна. А жаль! Очень жаль, что этот ветеран награде не подлежит...

И подполковник взялся за книгу.

Закрыв последнюю страницу детектива, где все, как он и предполагал, окончилось благополучно для нашего разведчика, военком откинулся на спинку кресла, все еще переживая напряжение увлекательных и острых событий романа.

А Константин Федотович сидел в это время неподалеку от военкомата в небольшом скверике и курил сигарету. Как все же неловко получилось с этой справкой! Ну зачем ему теперь эта медаль! Никогда он о ней и не думал. Жив остался – вот высшая награда! Колосков умер в госпитале, Лубенцов задохнулся, Кинякин подорвался. А сколько ребят остались покалеченными после кессонки, с парализованными руками-ногами...

Вернулся он, когда фронтовики уже отгуляли, когда кончился дым коромыслом и солдаты уже привыкли к гражданской одежде. Домой, в деревню, он не поехал, остался у брата в городе. Старший брат обрадовался несказанно и все хвастал своей жене: «Во, Римка, гли-ко, братка мой – моряк!» А она розовела смуглыми скулами, и глаза ее наливались темной водой. Гладкая жена была у хромого брата, не оголодала за войну, продавщицей при хлебе состояла.

Приезжала мать, звала в деревню – дом пустует, соседская девушка ждет. Костя не захотел возвращаться. Брат на уговоры матери говорил: «Да мы ему тут такую девку отхватаем! Закачаешься! Лучшую в городе! Чего там Варька ваша – лаптем щи хлебает. Да за такого парня мы иль парикмахершу, иль продавщицу окрутим». Мать повздыхала-повздыхала, смирилась – отрезанный ломоть и второй сын. Уехала домой, тая обиду. А брат все просил, чтобы Костя не снимал матросскую форму, и водил его по своим друзьям и знакомым, хвастал: «Во братка мой, морячок. Всю войну наскрозь прошел, на дне морском все облазил». И подбивал Костю жениться, невест подыскивал.

Гулял Костя, забыв про бомбежки, про холодную глубину моря, про уопленников и мины. Но порою среди хмельного праздника, в который превратились первые дни возвращения, вдруг прошибал его жаркий озноб. Для всех война кончилась, для него не кончится никогда, поставила клеймо. Под пьяную руку рассказал Костя брату про свой недуг. Брат был потрясен, напился в тот вечер, плакал, стонал: «Нахлебался ты, братка, морского рассолу!»

Однажды ночью к Косте пришла Римка, брат был на заводе в ночную смену. Когда он отказался, со злой удивленностью зашипела: «Да ты и вправду! О-о, значит, Генка не соврал. А я-то не поверила. Увлеклась, дурочка». Костя понимал, что врет она про увлечение. «Тварь! Курва! — думал он. — И как с ней Генка живет?» Но брату ничего не сказал. Днем, когда встречался с Римкой глазами, шея ее, как лишаями, покрывалась красными пятнами, губы ехидно поджимались. С того разу начала она сживать его со свету. Генка помрачнел и, отводя глаза, сказал как-то:

— Ты, братка, не обессудь меня. Римка вон говорит, что стесняется тебя. Раздетой в уборную не пройти, понимаешь?

— Понимаю, — зло ответил он. — Подышу вот место в общезитии и уйду.

— Ты на меня сердца не имей. Я-то чо... я с милой душой. Женщина она ведь, говорит, что боится тебя. Одна с тобой ночью остается. Как-никак замужняя жена. «Потаскуха она у тебя, а не замужняя жена», — подумал он тогда, а вслух сказал:

— Да не казись ты. Уйду я. И сердца на тебя у меня нету.

— Во и ладно, — обрадовался Генка. — Давай-ка промочим горло. У меня тут в заначке от нее есть...

И пошла жизнь. Полетела уже.

Одно время ударился он с тоски и безысходности в пьянство. Пил смертно. Но устоял на ногах, не пропил себя. Медленно выходил на поверхность жизни, как с большой глубины поднимался, с «выдержками», и алкоголь, как кессонка, не свалил его. Шофером стал первого класса. Видать, рассказы Лукича в госпитале оставили в душе след, и поманили Костю дороги. С Лукичом так и не довелось увидеться. Поначалу все откладывал,



думал — успеется, а когда наконец решил навестить старого шофера, Лукича уже не стало — снесли на погост. До сих пор не может простить себе этого Константин Федотович. Ведь рядом жили, каких-то полсотни километров!

Исколесил он всю Сибирь. И в дальних рейсах глядя на землю свою родную, понял — жить надо! А был, был случай, когда пригнал он свою трехтонку в черемушник по-над Катунью, привез двустволку, зарядив ее, как на медведя. «С двух стволов разом — и все!»

Усыпанная — листа не видно! — цвела черемуха, и хмельной горько-сладкий чад стоял в лесу. В холодной белой накипи красовалась природа. Было зябко — когда цветет черемуха, всегда холодает. Как он удержался тогда! По самому краешку пропасти прошел, но устоял.

Дуплетом саданул в голубое высокое небо, и долго осыпался черемуховый цвет ему на голову. И если бы кто увидел со стороны, подумал бы, что седеет он на глазах. А он и впрямь с той поры сесть стал, будто прикипели к волосам белые черемуховые лепестки.

Долго лежал он пластом на весенней земле, набираясь сил для новой жизни. Дал твердый зарок тогда — будет жить! За погибших. Они не простили бы ему, что кинул жизнь псу под хвост. Лубенцов сказал бы: «Трус!» А мичман отвернулся бы навсегда. Наложить руки на себя легче, чем по жизни пройти. Тут надо мужество, может, большее, чем на войне...

А может, и мысль о племянниках-сиротах удержала? К тому времени внезапно умер брат, и надо было помогать Римме поднимать ребятишек. Забылась неприязнь к ней, да и Римма совсем другой стала — утишилась, перебесилась. Выучил племяшей, школу не дал бросить, поставил на ноги. И сам заочно окончил автодорожный институт, механиком автобазы стал, потом и директором. «Ты прислонись к людям, они помогут, всем миром подопрут. Без людей беда, паря, хушь в бою, хушь в жизни», — не раз вспоминал он слова Лукича. И прислонился он к людям. Работал яростно, до изнеможения, как под водой когда-то. А вечерами или учился или читал. Пристрастился к книгам,

библиотеку собрал. В госпитале, когда он второй раз лежал, был у них в палате тяжелораненый разведчик. Владлен. Уже год после войны валялся. Бывший студент-юрист. Он в госпитале учебниками обложился и говорил, что как на ноги врачи поставят, так в институт пойдет, учебу заканчивать. И повторял разведчик-студент: «Гибнут не уставшие, гибнут остановившиеся. Главное – от ветра голову не отворачивать». И Костя запомнил это крепко. Сцепив зубы, шел к своей цели, преодолевая отчаяние и боль одиночества. И – уцелел в движении. И понял: человек может гораздо больше, чем сам думает... Константин Федотович прикурил сигарету от сигареты. Опять вспомнил про справку. Тогда, в юности, он, конечно, с удовольствием навесил бы медаль на грудь. Ну нет так нет! Раз не положено, то чего и думать об этом. Можно и без медали. Не ради наград делал он свое дело на войне.

Но на сердце был горький осадок. Вспомнил, как однажды брат, в первые дни еще после демобилизации, спросил:

– А чего ордена-то не наденешь!

– Нет их у меня.

Брат не поверил:

– Как нету! Такие муки вытерпел – и нету?

– Нету.

– А я думал, у тебя вся грудь... На дно же морское лазил. Шутка сказать! – И, сожалеюще вздохнув, признался: – Уж больно мне хотелось твоими орденами похвастать. Утереть кое-кому нос. А то тут некоторые хвастают своими братовьями-фронтвиками...

...В десять утра Константин Федотович стоял на новой площади и ждал открытия памятника павшим. Высокий, еще молодому стройный и подтянутый, тщательно выбритый, в белой свежей рубашке и в строгом темном костюме, с плащом через руку, с непокрытой седой головой, он выделялся среди возбужденной и праздничной толпы. Его тонкое интеллигентное лицо со светлыми, всегда таившими грусть глазами было задумчивым и сосредоточенным. Перед памятником, закрытым еще белым покрывалом, строились пионеры, в руках у них были горшочки с цветами. Парни и девушки постарше, в джинсах, стройные, красивые,

спортивного типа, держали в руках венки. Сбоку памятника расположился духовой оркестр во главе с низеньким рыхлым дирижером, у которого на пиджаке сияло несколько солдатских медалей.

Пожилых, пришедших на открытие памятника, было мало — только кое-где стояли в толпе люди с орденами и медалями, больше было молодежи и среднего возраста людей, тех, кто войны не видел, кто знает о ней по фильмам, книгам, по школьной программе. «Помолодел город, — думал Константин Федотович. — Новая поросль вымахала».

Всеми приготовлениями к торжествам распоряжался молоденький подвижный лейтенант.

— Товарищи ветераны, просим вас занять почетные места! — в алюминиевый рупор объявлял он. — Пожалуйста, побыстрее. Проходите к памятнику.

Седые мужчины и женщины, смущенно улыбаясь, вытаскивались бочком из толпы, в одиночку или кучками шли к подножью памятника.

— Товарищи ветераны, прошу вас, прошу! — с вежливой настойчивостью повторял лейтенант.

Константин Федотович не считал себя ветераном. Однажды к нему на дом пришли пионеры. «Дяденька, у вас в квартире есть ветераны Великой Отечественной войны?» — вежливым голосом произнесла заученную фразу девочка с косичками, чистенькая, аккуратненькая, деловитая. «Нет», — ответил он, и только когда пионеры ушли, вдруг осознал, что ведь он — ветеран. И с облегчением подумал: как хорошо, что хоть и бессознательно, но ответил очень удачно. Дети — они любят героев, ордена на груди, рассказы о сражениях. Чем бы он мог доказать им, что был на войне? Но потом почему-то было нехорошо на сердце, и весь день обидно щемило в груди...

Лейтенант продолжал искать в толпе ветеранов и приглашал их к почетному месту. Небольшая группа начальства, стоявшая возле памятника, дружескими возгласами и взмахом руки приветствовала подходивших фронтовиков, здоровалась, поздравляла с Днем Победы. Все они были моложе седых ветеранов,

у всех у них были черные шляпы-котелки и одинакового покроя темно-серые плащи.

Среди толпы на тротуаре, неподалеку от Константина Федотовича, стояла старушка в черном, выдавшем виды мужском пиджаке и держала в сморщенной высохшей руке фотокарточку молодого парня. Фотография была довоенной, пожелтевшей. С нее, беззаботно улыбаясь, смотрел на мир форсистый паренек с ромашкой за ремешком сдвинутой на затылок фуражки. Он был еще не острижен, еще чуб не скатился мягкой волной под машинкой армейского парикмахера на призывном пункте, еще не успел он и силой налиться – подбородок нежный и тонкий. Видать, последняя перед призывом фотография и последняя в жизни.

Старушка молча показывала фотокарточку ветеранам, они вглядывались, вспоминая морща лоб, извинительно пожимали плечами, отводили глаза от скорбно-спрашивающего взгляда выцветших глаз старушки. Константин Федотович сказал: «Прости, мать, не встречал» – и тоже отвел глаза, будто в чем-то виноватый.

– Бабуся, бабуся, не мешай, милая! – отодвинул ее в сторону лейтенант, энергично освобождая место для шествия колонны.

Стало накрапывать. Капли дождя ударили в потертый пиджак старушки, пятнали его, влажно рябили материал. Константин Федотович поднял воротник плаща и пожалел, что не надел кожаной фуражки. Он искал глазами укрытие и встал под голый еще тополь – все какая-никакая защита.

Дирижер взмахнул рукой, и грянул марш. Под этот марш кто-то разрезал ленточку, и покрывало медленно сползло, обнажив серую бетонную стелу, из которой выступали высеченные жесткие солдатские лица в касках. Они сурово смотрели каменным взглядом, будто спрашивая оттуда, издали, помнят ли их, знают ли, как было трудно им, не даром ли все это было?

Седая женщина в орденах поднесла факел к железной воронке, и вспыхнул Вечный огонь. Все затихли, не спуская глаз с газового пламени.

Кто-то зычным, хорошо поставленным голосом читал речь, и усиленные микрофоном слова властвовали над площадью,

над народом. Константин Федотович смотрел на старушку, которая тянула шею и, высвободив из-под черного, в горошек, платка дряблое большое ухо, старалась расслышать, о чем речь. Она прижимала к груди фотокарточку, возможно, единственную ее реликвию. Константин Федотович вспомнил тот далекий победный день и старика с чайником бражки, у которого сгорел сын-танкист, «преклоняя город Кенигсберг».

Тем временем началось возложение венков. Сначала возложило начальство, потом ветераны, пионеры, комсомольцы... Оставив венки у подножья памятника, школьники и спортсмены под команду лейтенанта строились в колонну.

Дождь, как назло, расходился. Многие пораскрыли зонты, организаторы торжества заторопились.

Снова грянул марш.

Пионеры бойко прошагали мимо памятника и Вечного огня, за ними спорым и красивым шагом прошли спортсмены, а потом потянулись ветераны. Они не могли угнаться за резвой молодежью, но не хотели и отставать.

– Прошу, товарищи ветераны, прошу! – подгонял их лейтенант. Голос его был ласково-неумолим.

Ветераны сломали ряды, сбили шаг, одышливо хватая ртом воздух. Далеко отставший мужчина на протезе вышел из колонны, влился в толпу на тротуаре неподалеку от Константина Федотовича. Кто-то молодое засмеялся, смешок прошелестел по толпе и конфузливо сник.

За ветеранами протопала самостийная орава пацанов. На асфальте остались оброненные растоптанные цветы, окурки, конфетные обертки, лопнувшие воздушные шары – все то, что всегда остается после колонн.

Припустил дождь. Толпа стала редеть, расходиться. Стайка длинноногих девушек, накрытая полиэтиленовой прозрачной пленкой, с визгом и смехом пробежала мимо. «Люба, Люба, быстреей!» – кричали они кому-то в толпе. Услыхав имя, Константин Федотович захотел увидеть ту, которую зовут Любой, но не увидел, а в груди заныло, будто донесло горькое эхо далеких дней.





Оркестр яростно гремел:

*Этот День Победы порохом пропах...*

Когда у памятника поредело, Константин Федотович подошел ближе. Прибитые дождем цветы вяло обвисли, ленты намокли, потемнели, и некрепкая позолота надписей поползла.

Константин Федотович, всматривался в каменных солдат. Сквозь сетку дождя угловатые резкие черты смягчились, как бы ожили. Крайний слева с намертво спаянными челюстями, упрямым, почти злым выражением лица кого-то напоминал. Константин Федотович не сразу понял – Лубенцова. Будто Вадим надел каску, встал в строй солдат и теперь глядел оттуда, издалека, пристально и сурово. У солдата рядом с Лубенцовым было что-то схожее с мичманом Кинякиным, а вон тот – вылитый Колосков, и даже кажется, что каменный ворот шинели трет ему тонкую неокрепшую шею...

– Здравствуй, Лубенцов! – тихо сказал Константин Федотович. – Здравствуй, Колосок! Здравия желаю, товарищ мичман! Я жив. Я помню вас, ребята, и всегда буду помнить, родные мои...

Оркестр гремел наперекор дождю:

*Это праздник, это счастье с сединою на висках...*

Коротконогий дирижер стал стройнее, даже величественнее. Он самозабвенно взмахивал руками, не замечая, что идет дождь, что по лицу стекают капли, будто слезы. А может, это слезы и были? На груди дирижера мокро блестели медали.

*Этот день мы приближали как могли...*

Молодые музыканты, сдвинув брови, не сводили глаз с вдохновенного лица дирижера, выдували из труб мощные набатные звуки вслед уходящим людям, и шаг людей стал короче, они оглядывались, кое-кто в нерешительности остановился. Было что-то возвышенное и гордое в звуках оркестра, который напе-

рекор хлещущему дождю гремел литаврами, звал к себе, требовал, приказывал. И люди подчинились властной силе и красоте.

Начавшая было редеть толпа вновь стала густой. Приостановилось и начальство, недоуменно, даже с досадой поглядывая на дирижера. А лейтенант, было подскочивший к дирижеру и что-то сказавший ему, вдруг отступил как ошпаренный и остался вместе со всеми.

Константин Федотович вдруг заметил мальчика лет десяти. Он стоял по ту сторону Вечного огня и, не моргая, широко раскрыв глаза, смотрел на пламя.

Лицо его плавилось, изменялось в горячем подвижном токе воздуха, то проясняясь сквозь прозрачно-дымные языки, то скрываясь в оранжевом мареве. Мальчик напряженно смотрел на огонь, хотел что-то понять, что-то постичь, осмыслить, и лицо его, то исчезающее, то возникающее сквозь колеблющееся пламя, становилось или по-взрослому суровым, или детски-беззащитным.

Из потемневшей от дождя стены выступали бетонные лица солдат. Пелена воды размыла, смягчила резкие грани, и казалось, ожившие солдаты идут и идут из дальней дали, из пороховых лет, из дождя, из дыма, из огня... Идут на призыв литавр, идут навстречу с живыми.

Что-то единое, нерасторжимо-могучее охватило людей: и этого мальчика, и эту старушку, и Константина Федотовича, и лейтенанта, и дирижера, и оркестр, и притихшую стайку девчат.

Мокрые люди стояли перед бетонной стелой, каменные солдаты и живые смотрели друг на друга – глаза в глаза.

А оркестр все гремел и гремел, рвал душу:

*День Победы, День Победы, День Побе-еды!..*



# Какая-то станция



В бледных северных сумерках поезд подошел к вокзалу. Перрон был пуст. И только одинокая — баскетбольного роста — бабка в мужском пиджаке продавала ягоду в кулечках.

Василий Иванович стоял в коридоре мягкого вагона и смотрел из окна на станционные постройки, выкрашенные в стандартный кирпичный цвет, на водонапорную башню, на серый, мокрый от непогоды дощатый настил платформы, на деревянные тротуарные мостки, расплзающиеся от вокзала по топким хлябям, на темный ельник, на просвет блеклой воды меж приземистыми сопками, и то давнее, полузабытое, отодвинутое протяженностью лет, заслоненное суетою и заботами с новой силой вошло в него, и еще тоскливее защемило сердце. Это чувство родилось и не покидало его, как только поезд пошел по Карелии.

Пожившему человеку часто вспоминается молодость, тянет его в давно минувшее, невозвратное, хочется уйти от повседневных дел и обязанностей в беспечную, свободную, голубую юность. Приглушенное эхо тех лет — сожаление об ушедшем, желание увидеть места, где был молод, где провел прекрасную, неповторимую пору, — заставило Василия Ивановича согласиться на нелегкую командировку и отправиться в дальний путь на север.

И теперь, проезжая по этим местам, он все пытался увидеть, восстановить в памяти знакомые приметы, вспомнить название ТОЙ станции, для него особо дорогой.

Выглядывая из окна, Василий Иванович силился прочитать название станции и не мог, потому что вагон проскочил вокзал и потому что очки лежали в купе, а он почему-то не решался отойти от окна, ожидая, что вот-вот поезд тронется и он проглядит что-то совершенно необходимое, чего никак нельзя пропустить.



И Василий Иванович все смотрел и смотрел на одноэтажное, деревянное, явно сохранившееся с довоенных времен здание вокзала, на водонапорную башню, на эти будто бы знакомые очертания сопок, на тяжелый проблеск воды меж ними, и все думал, и все сомневался: может быть, это она и есть, ТА станция? Ведь он никогда не видел ее летом, ТОГДА была зима.

Тощая бабка у вагона сутуло кланялась вышедшему на перрон соседу по купе, протягивая ему кулек с ягодой, и что-то говорила с глухой хрипотцой. А Василий Иванович смотрел на ее глаза, резко высветленные на темном иконописном лице, и ему чудилось, что видел он когда-то и этот тонкий лик, и эти пронзительной светлости печальные очи северной богородицы, и этот рост, редкий для женщин, и даже черный в горошек платок, повязанный шалашиком. Василий Иванович вглядывался в лицо бабки, и ему хотелось спросить у нее что-то, но поезд неслышно тронулся и заскользил с вкрадчивой мягкостью, с холодной деликатностью сноба, желающего уйти, не привлекая внимания, не прощаясь. Поплыли мимо пожарный сарай, чахлый скверик, дежурный по станции в красной фуражке с жезлом в руке и с равнодушно-отсутствующим взглядом.

Сосед по купе мягко шел по коридорному коврику и нес кульки, стараясь не прижимать их к новой яркой пижаме. Кульки были свернуты из листков школьной тетрадки, исписанных фиолетовыми каракулями и подкрашенных рдяными пятнами давленной клюквы.

Поезд дернулся, набирая скорость, и сосед просыпал ягоду.

— Какая станция? — спросил Василий Иванович.

— Богом забытая, — поднял раздосадованные глаза сосед, весь поглощенный сохранением клюквы. — Не то Княжеская, не то Князево или еще как. Не желаете? Очень полезна для желудка. У меня, знаете, пониженная кислотность.

Василий Иванович посмотрел на бурую шею соседа, на расплывшийся торс его, поблагодарил и крикнул, высовываясь в окно:

— Какая станция?

— ...я-я — донесло в ответ, и бабка, уплывая за вагон, кивала



в подтверждение слов своих, мол, именно так, именно так, касатик, не сумлевайся.

И в том, как уплывала и исчезала за поворотом бабка, и в том, как поворачивал сам поезд, тоже показалось что-то знакомое, когда-то виденное, и Василий Иванович еще ненасытнее стал вглядываться в постройки, в местность, и ему мнилось, что — да, да! — он узнает эти места, и в названии было что-то знакомое, что-то созвучное, какой-то отголосок, хотя наименование ТОЙ станции он совсем не помнил. Ах, если бы была зима! Он непременно бы узнал места по зимним очертаниям, по тем приметам, что туманно хранила еще память.

Места шли болотистые, с топкой непролазью, с частыми проблесками стоячей воды. И все было как-то неопределенно, зыбко, смягчено странным бледным полусветом и зачарованно молчало, погруженное в дрему. Даже стук колес вагона, полного спящих, сытых, довольных людей, глух, будто поезд шел по мху. В далекой полоске зари, слабо проступающей над низким северным горизонтом, было что-то грустное и томительно-зовущее, как крик отлетающих журавлей.

Василий Иванович стоял в коридоре один и курил болгарскую сигарету с фильтром. У него пошаливало сердце, и дома курить ему не давали. А ТОГДА он смолил крупно нарезанную махорку, и была она сладка и вкусна, как бывает сладким и вкусным в молодые годы все.

Василий Иванович затягивался сигаретой, смотрел в линялое низкое небо, на призрачный неверный блеск северных сумерек, и поезд тихо входил в его память, в его далекую юность...

От мороза слипало в ноздрях. Затрудненное дыхание вырывалось сизым облачком. В студеной синеве ночи скорчился десяток разбросанных домиков.

Глухо, безлюдно, будто вымерло все.

Только неподалеку от состава стояла одинокая подвода. Заиндевевшая кляча, запряженная в розвальни, понуро опустила голову и, казалось, безропотно околевала. Синим неживым огнем горело колечко на дуге. Столбом высился возчик в тулупе

с поднятым воротником. Он молча наблюдал за парнями. А они торопились выгрузить из вагона свое добро: жесткие водолазные рубахи, резиновые шланги для подачи воздуха, специальные галоши со свинцовой подошвой и медными иноками, тяжелую помпу, большие сундуки с продуктами и посудой. Поезд стоял здесь всего три минуты.

Семен Суптеля, короткий, будто подпиленный, плотный, всклень налитой силой, подгонял, покрикивал, сам хватал мешки с хлебом, хватал цепко, кидал, как матерый волк овцу, на загребок и, рысцой отбегая от вагона, сбрасывал в снег.

Леха Сухаревский, непомерно длинный и гибкий, как тальниковый прут, похохатывая, трепался, работал с лентой и выводил этим старшину из себя.

Молчаливый жилистый Андрей ворочал под статью Семену.

Вася Чариков, зеленый водолазик, недавно прибывший из учебного аварийно-спасательного отряда, пыжился изо всех сил, но получалось у него плохо, не хватало сноровки.

— Эй, дед! — крикнул Леха возчику. — Подавай своего рысака!

Возчик переступил с ноги на ногу — заскрипел под огромными валенками снег — и просипел простуженным голосом:

— А вы кто будете?

— Ангелы. — Леха хохотнул. — Иль не признаешь?

— А мне моряков велено встренуть, — недовольно пробурчал возчик.

— Вот мы и есть моряки, — сказал Суптеля. — Тебя, батько, за водолазами прислали? С завода?

— Кто их поймет, — сипел возчик. — Велено привезть, которые озеро скрести будут.

— Вот мы и...

Голос Суптели потонул в реве паровоза. Морозный звон буферов пробежал вдоль состава. Визгливо заскрипели колеса по рельсам, и товарняк натужно сдвинулся с места.

Четверо парней и возчик молча проводили глазами медленно плывающий поезд. И как только огоньки заднего вагона скрылись за поворотом близкой сопки, как только заглох стук колес, так сразу услышали они вьюжный посвист ветра, почувствовали,

как сечет лицо сухой снежной крупой, ощутили огромное глухое пространство вокруг себя. Суптеля зябко поежился и приказал:

– Подгоняй, батько!

– Сказывали, морские будут. – В голосе возчика проступало сомнение, он недоверчиво разглядывал людей, одетых в телогрейки, в стеганные ватные штаны и валенки.

– А ты чего хотел, чтоб мы в парадном грузили? – начал сердиться Суптеля.

– Увидишь еще и ленточки и якоря, – пообещал Леха. – За утра надраимся – все девки попадают. Много у вас тут девок?

Возчик не ответил, дернул лошаденку под уздцы и подвел ближе. Стоял, наблюдая, как парни грузили свое добро в розвальни.

– Дед, а дед, ты глухой иль задремал? – приставал Леха. – Много, спрашиваю, девок?

– Хватает, – неохотно откликнулся возчик.

– А мужиков? Говорят, мужиков – один дед остался, из которого песок сыплется. Это не ты случаем?

Возчик промолчал.

– А баб и девок, сказывали, пруд пруди, – не унимался Леха. – И по мужскому вопросу неустойка. Ты, дед, как по мужскому вопросу?

– Да отстань ты от него, чего прилип к человеку! – прикрикнул Суптеля. – Поехали, батько, трогай!

Возчик неумело понукнул лошадь и по-бабьи дернул вожжи. Кляча поднатужилась, но сдвинуть воз не смогла. Она еще несколько раз налегала грудью на упряжь, скользила подковами по заледенелому насту, но сани как приморозились – ни с места.

– А ну помогай! – приказал Суптеля и первым подналег на воз.

– Но-о, холера! – заорал Леха.

И розвальни, груженные тяжелым водолазным снаряжением, завизжали полозьями.

Двинулись от полустанка в сторону, где в лунном свете студеным огнем горело глухое снежное поле. Дорога извилисто

уводила к черной зубчатой стене невысокого леса, к приземистым пологим сопкам.

На открытом месте нестерпимо обжигало ледяным ветром лоб, нос, скулы. Моряки, сгорбившись, защищая лица от ветра, гуськом шли за подводой. Над ними тягуче и сиротливо гудели провода.

Леха догнал возчика, предложил:

— Закурим, дед, погреемся. Сигаретки американские, сам Рузвельт курит. По воскресеньям.

Возчик не отказался. Леха, прикрываясь от ветра, высек огонь из «Катюши», дал прикурить.

— Ну как?

— Легкий табачок, сладкий, — глухо из стоячего воротника тулупа откликнулся возчик.

— Приедем, спирту поднесем с морозу, — хвастал Леха, а сам косил на Суптелю. Тут он работал в основном на старшину. — Пьешь, нет?

— Поднеси, увидишь, — пыхнул дымком возчик и понукал своего овра.

Въехали в селение. Занесенные снегом избы чернели провалами окон, будто слепцы. Ледяной свет луны заливал пустынную улицу.

— Как на кладбище, — сказал Леха. — Хоть бы собака какая сбрехнула.

— Сам брешешь много! — вдруг озлился возчик.

— Ты что, дед, какая муха тебя укусила? — удивился Леха.

Подъехали к дому, в котором тускло светило окошко.

— Контора, — недовольным голосом сказал возчик. — Велено сюда доставить.

В теплой комнате в свете висячей лампы сидел мужчина в гимнастерке, с золотой нашивкой за тяжелое ранение и гвардейским значком. Сухолицый, хмурый, с красными пятнами по щекам — видать, только что ругался. Возле стола стояла чернявая худосочная женщина, тоже красная и раздраженная. Она с угрюмым любопытством глядела на вошедших.

– Здравствуйте, дорогие товарищи! – громко поздоровался мужчина и вышел из-за стола, хромая и опираясь на палку. – Я директор завода, Соложёнкин Иван Игнатьевич.

– Старшина водолазной станции Суптеля, – представился Семен.

– Очень рад, очень рад. – Директор улыбался, обходя всех и подавая крепкую жилистую руку. Он был по-военному подтянут, сух фигурой, невысок. Коротко остриженные волосы, бледное лицо и палка в руке говорили о том, что он недавно из госпиталя:

– Дарья! – директор повернулся к возчику, молча стоящему у дверей. – Отвези вещи в избу Тимофея Кинякина. Там товарищей водолазов на постой определим.

Матросы разинули рты. Леха восхищенно покрутил головой.

– А мы думали – дед! И курила, и насчет спирту...

Директор усмехнулся, Дарья вышла, водолазы не успели даже разглядеть ее толком. За ней потянулась и угрюмая женщина. Директор проводил ее недовольным взглядом и, понизив голос, сказал:

– Я вам сразу обстановку доложу на данный день. На весь поселок четыре мужика. Бухгалтер – старик, кузнец без ног, я вот и плотник еще, тоже инвалид, недавно вернулся. Ну, сосунки еще подрастают. А так кругом бабы.

– Малина! – растворил рот Леха.

– Малина, да не очень, – не поддержал его веселья директор. – Меня вон жинка, – он кивнул вслед вышедшей угрюмой женщине, – ни на шаг не отпускает, к каждому пеньку ревнует.

Директор докладывал обстановку, а Леха все больше и больше расплывался в ухмылке, подмигивая товарищам.

– Ты не подмаргивай, – насупил рыжие брови директор. – Дело не шутейное. Вы мне задачу загадали. И фарватер чистить надо, и опять же, боюсь, война из-за вас разгорится, баталия. Тут бабы есть – оторви да брось. Та же Дарья.

– Молчала все, – с сомнением вставил слово Суптеля.

– Это она с непривычки смиренная. А так такое загнуть может, что и кобыла на ногах не устоит. И вообще, посудите сами, – директор больше обращался к Семену Суптеле как старшему

по должности и по возрасту, — мужиков всех подчистую забрали. Вопрос этот наболевший, вопрос этот, можно сказать, государственной важности.

— Поможем, — ухмыльнулся Леха.

— Бугай ты здоровый, — все так же без улыбки сказал ему директор. — Только гляди, есть у меня молодухи — рога пообломают.

— Хо! — повел бровью Леха.

— Вот тебе и «хо»! Всех одной меркой не мерь. Сказать по совести, — голос директора потеплел, — бабы - золото. Пропал бы я без них, начисто пропал бы. Чертоломают за мужиков, бревна vorочают, а ведь женская натура деликатная, учитывать надо.

Закурили. Поговорили о том, как доехали, какая работа предстоит, где жить будут. У Васи в тепле начали слипаться глаза, и он обрадовался, когда директор повел их на ночлег...

Утром Вася проснулся оттого, что в избу с улицы заскочил Леха и впустил белое облако мороза. В одной тельняшке, он крепко похлопал себя по бокам красными ручищами и объявил восторженно:

— Ну, жмет! На лету струя застывает. Какая тут работа! В такую погоду дома сидеть и спирт глушить.

— Тебе бы только спирт хлестать да зубы скалить, — сердито подал голос Суптеля, натягивая кирзовый сапог.

— Не с той ноги встал? — поинтересовался Леха.

Вася тоже выскочил на улицу.

В сизой морозной дымке он разглядел небольшой поселок. Дома прилепились к приземистой, поросшей низкорослым ельником сопке. Над крышами белыми столбами стоял дым.

За поселком простирался большой белый пустырь, на краю которого стоял крошечный заводик с трубой. Что пустырь этот застывшее озеро, Вася догадался не сразу. Фарватер, по которому летом гоняют плоты для деревообделочного заводика, и предстояло расчищать водолазам. За войну на дно озера осели горы затонувших бревен, и они мешали подгонять плоты к приемному лотку. Эти топляки надо было поднять на лед и оттащить на берег, чтобы летом цехи могли работать на полную



мощность: изготавливать приклады для автоматов и винтовок. Военное командование прислало водолазов сюда, приказав до весны закончить работы по очистке фарватера.

Вася оглядел унылый пейзаж, низкое плоское небо, похожее на лист оцинкованного железа, которым прихлопнуло поселок, и на душе стало невесело.

Суттеля и Андрей после завтрака ушли в контору, к директору.

Леха надраил зубным порошком медные пуговицы шинели. У Васи таких – довоенных, шикарных – не было. У него были черные, военного образца. И бляха на ремне тоже была военного выпуска – белая, железная, а у Лехи – медная.

И на погонах Лехи были ярко отблескивающие буквы СФ, сделанные им самим из медяшки, а у Васи – казенные, намалеванные масляной краской. Совсем не тот коленкор. Леха наваксил ботинки и навел лоск бархоткой. Несмотря на лютый мороз, лихо заломил бескозырку на затылок. На новой ленточке, которую Леха берег для особых случаев, золотом горели слова: «Северный флот».

– Пойдем прошвырнемся, – предложил он Васе. – На людей посмотрим, себя покажем.

Развернув плечи, Леха вышагивал по сугробистой улице. Вася шел рядом, с интересом разглядывая поселок. Из окон за ними наблюдали. Леха подмигивал, молодецки крутил тонкий светлый ус. Женские лица в окнах светлели.

У колодца стояла водовозка. Женщина доставала бадьей воду и переливала в обмерзлую кадущку на сани. Заметив моряков, она с преувеличенным усердием занялась своим делом.

– Помочь, красотка? – подскочил Леха.

– Доброхот какой, – не оборачиваясь, простуженным голосом ответила женщина.

Леха пропел:

*Помню, я еще молодухой была...*

И тут же, вроде невзначай, полюбил женщину.



– Но-о, рукастый! Обобью, калекой станешь. – Женщина повернулась, и матросы с удивлением признали в ней вчерашнего возчика, Дарью.

– Ты колдунья, что ль? – восторженно спросил Леха. – То де-дом, то молодухой обернешься.

– Топай, топай! – Дарья свела тонкие дуги бровей, и щеки ее зарделись.

– Ты всегда такая?

– Какая?

– Будто... плохо погладили тебя.

– Ты иди, а то я тебя поглажу вон черпаком. – Она кивнула на прислоненный к бочке обледеневший черпак с длинной ручкой. – Заигрывай, которые помоложе.

– А тебе сто лет? – Леха уже вертел ворот колодца и ощерялся. Зубам тесно было у него во рту, два белых блестящих клыка выпирали из верхнего ряда, и от этого улыбка получалась разбойной.

– Накинь еще десяток, – в сердцах говорила Дарья и никак не могла оттеснить Леху от колодца. – Выхолостить тебя, жеребчик, поменьше б взбрыкивал.

– Ого! – оторопел Леха. – Сказанула! Чего рычишь? С похмелья, что ль?

– А ты мне подносил? – Дарья зыркнула глазами.

– О-о, высветила фарами, как «студебеккер»!

Вася тоже обратил внимание, что глаза Дарьи пронзительной голубизны и ярко выделяются на смугловатом чернобровом лице.

– Ладно, давай закурим трубку мира, – переменял пластинку Леха. – «Кэмел».

– Чего? – не поняла Дарья.

– «Кэмел», говорю. Сигаретки – люкс. Для капитанов дальнего плавания и для водолазов, как мы. – Леха приосанился. – В Америке по заказу делают.

– Давай, – сменила гнев на милость Дарья. – Вчерашние, что ль?

– Ага.

Дарья затынулась, пустила дым через нос, помягче взглянула на парней.

— Нежная сигарета. А мы тут все махорку смолим. Выменяешь у солдат с поезда — и все. Папиросок взять негде.

— Да-а, — Леха оглядел бесприютный пейзаж. — Выбрал бог местечко уронить вас, до белого свету не досвищешься.

— Хаять-то вы все горазды.

Дарья насупилась и до самой конторы шла молча сбочь водовозки.

В конторе парни узнали, что подводные работы начнутся завтра, а пока надо было подготовиться к ним: проверить водолазное снаряжение, собрать помпу и промыть воздушные шланги, вырубить две майны на озере: одну для спуска водолазов, другую для поднятия бревен из воды.

Суптеля оглядел Леху с Васей и приказал:

— А ну, марш переодеваться! Вырядились, как на парад! Павлины!

Когда Вася и Леха вернулись, в конторе, кроме директора, который разговаривал по телефону, никого не было.

— У меня бревна лежат в лесу, а вывозить не на чем! — кричал он в трубку. — А? А так — не на чем! У меня всего две подводы, две клячи — им ноги переставлять надо. И возчики бабы. Алё! Алё, слышите! Грузчики, говорю, бабы. А дорогу перемело, так что гоните трактор.

Он еще долго ругался с кем-то по телефону, грозил сообщить в город какому-то Толоконникову, говорил, что если трактор не пришлют, то сорвут ему месячный план, и что он не может на бабах возить бревна из лесу, и не он оставил бревна в снегу.

— Я тут без году неделя директорствую! А до этого воевал да в госпитале лежал, а не как некоторые, которые на брони сидят!

Под конец директор выругался и бросил трубку. Разгневанно глянул на Васю с Лехой и срывающимся голосом сказал:

— На фронте бы такого интенданта... Сразу видать — тыловая крыса. Костылем бы ему по жирной шее, гаду!

Нервно вздрагивающими пальцами, просыпая табак, сворачивал сигарку, продолжая грозить кому-то:

— Ну, погоди! Я до тебя доберусь, ты у меня запляшешь! Я до самого верху дойду!

Несколько раз глубоко затянулся дымом, малость остыл, красные пятна на щеках схлынули, и уже спокойным, но все еще ломающимся от напряжения голосом сказал:

— На озере ваши, пойдете!

Мимо заводика вышли к озеру, где женщины под началом Суптели рубили майны.

Заснеженный лед цвел полушалками с кистями, пестрыми платками, плюшевыми жакетками, и в морозном воздухе слышался запах нафталина — посельчанки все как одна принарядились в обновки и береженое в сундуках.

Директор при виде такой картины только крикнул и многозначительно поглядел на Суптеля. Постоял молча, покачал головой и пошел обратно, хмурый, и еще сильнее припадая на раненую ногу.

Суптеля орудовал ломом за троих, намечая размеры прорубей. Лед под его ударами со звоном кололся крупными зеленовато-прозрачными кусками.

— Силушка-то играет, — задорно улыбнулась плотная деваха в плюшевом жакете и ярком, тонком, несмотря на мороз, платке. Разноцветные глаза ее — один голубой, другой серый — любовно окидывали налитую силой фигуру Суптели.

— А ничего! — поддакнул Суптеля. — Я, тетя, нигде не плошаю.

И так ахнул ломом, что отвалил целую глыбу.

— Себе бы племянничка такого, — продолжала играть тонкой улыбкой разноглазая.

— Бери. Я сирота.

— Знаем мы вас, сирот казанских. — Деваха что-то сказала своим подружкам, они прыснули, зажимая рты. Суптеля смущенно крикнул и стал усиленно колоть лед.

Но эта бойкая разноглазая деваха продолжала задиристо и весело наседать на старшину до тех пор, пока он позорно не отступил и не ушел на другую майну под предлогом подровнять ее края.

— Вы нас не забывайте, пишите письма, адресочек вам дам! — крикнула она вслед и опять что-то сказала подружкам. Они покатались со смеху.

– Перестань, Фрося, что ты разошлась, – остановила ее чернобровая статная молодлица.

– Эх, Клава, – задорно откликнулась разноглазая. – Хоть час, да вскачь!

– Смотри, опять с телеги упадешь, – предупредила Клава, и Вася почувствовал в этих словах тайный намек.

Водолазы уже приметили эту спокойную, красивую и молчаливую поселчанку, заметили, что молодухи, зубоскаля и перекидываясь недосказанными шутками с матросами, нет-нет да и взглянут в ее сторону, будто испрашивая у нее разрешения на дальнейшую словесную игру. В этой женщине было что-то такое, что заставляло обращать на нее внимание.

Рядом с Васей молча колот лед Андрей, изредка бросая испытующие взгляды на Клаву. Андрей был мал ростом, неказист лицом, длиннорук и молчалив до удивления, но силу имел необыкновенную: мог полное ведро нести одним мизинцем. Вася попробовал было поднять и чуть без пальца не остался. И сейчас, тюкая ломом, он страшно завидовал Андрею, который одним махом отваливал глыбы льда.

Леха больше трепался, чем работал, сыпал шутками-прибавками, отбиваясь от женщин за всех водолазов, посвистывал, бегал от одной майны к другой, пока Суптеля не прогнал его в сарай, где лежало водолазное снаряжение, приказав заклеить порванную водолазную рубаху.

Хотя рубить лед не очень легкая работа для женщин, но было видно, что она им в охотку и работают они играючи, с шутками, весело, будто знают кое-что и потяжелее, а это так просто, ба-ловство.

К полудню обе майны вырубил и очистил от крошек льда. Квадратные большие проруби чернели стылой тяжелой водой. Внезапно выглянуло солнышко, засверкал снег, ослепительно вспыхнул, переливаясь, колотый лед, и еще ярче заиграли бабьи наряды. Женщины от работы разогрелись, похорошели, поправляя сбившиеся платки и полушалки, бросали веселые взгляды на матросов, о чем-то переговаривались, приглушенно смеялись. Вася краснел. Он всегда краснел,

когда слышал девичий смех. Ему почему-то казалось, что смеются над ним.

Потом в сарае, что стоял на берегу озера и был отведен под водолазную станцию, Суптеля и Андрей собирали помпу, Вася делал новые пеньковые плетенки для водолазных галош, а Леха колдовал над шлангами. Женщины, зайдя погреться, с интересом наблюдали за матросами.

Леха подставил к одному концу шланга ведро и велел Фрозе — той самой, разноглазой, которая заигрывала со старшиной, — держать шланг над ведром, а сам начал кружкой наливать с другого конца спирт.

— Можно было бы и кипяточком промыть, а потом чуток спиртику капнуть, — как бы между прочим сказал Леха. — И дезинфекция — будь здоров.

— Ты эти штучки брось, — сразу же оборвал его Суптеля.

— Нет злее служак, чем хохлы, — шепнул Леха стоящему рядом Васе. — Жалко ему, что ли!

Вася тоже знал, что промыть шланги можно и одним кипятком, а потом пропустить немного спирту, и никакая комиссия не докажет, что шланги промыты не спиртом. Именно на это и намекал Леха, любитель выпить.

Когда Суптеля и Клава ушли в контору, Леха схватил ведро, в котором набралась горячая вода, смешанная со спиртом, и пропустил эту мутную смесь через марлю, откуда-то взявшуюся у него. Так он процедил несколько раз, и в ведре, наконец, осталась довольно чистая жидкость, резко пахнущая резиной и спиртом. Зачерпнув кружку, Леха подмигнул женщинам:

— Причастимся, бабоньки! Нет ли у кого закуси?

Нашлась корочка хлеба. Леха опрокинул кружку в рот, замотал головой, глубоко выдохнул горячей резиной и понюхал корочку. Андрей тоже выпил. Поднесли женщинам, они не стали ломаться, составили компанию.

Через некоторое время в сарае стало шумно. Женщины снимали шали и платки и все оказались молодыми и привлекательными. Глаза их блестели, языки развязались, они стали наперебой интересоваться: надолго ли прибыли морячки, по сколько

им лет, женаты ли? Леха разговаривал одновременно со всеми, а Вася молчал и, когда к нему обращались, вспыхивал. Андрей же, всегда молчаливый, теперь оживился и занялся своею соседкой Фросей. Вася никак не мог надивиться на ее разные глаза — голубой и серый. Такого он еще не видывал за свои семнадцать лет.

Андрей со значительным выражением лица говорил Фросе:

— От водочки развязка в нервной системе происходит. Человечек, он ведь царь зверей и вообще.

Фрося во все свои разноцветные глаза глядела на Андрея.

Вася не пил, он вообще еще ни разу не пробовал спиртного, даже когда уходил на войну. И теперь всю свою водолазную норму водки отдавал товарищам или выменивал у них же на сладкое.

Сейчас, среди общего веселья, он старался делать вид, что очень занят изготовлением новых плетеных для водолазных гагаш.

А женщины уже пели о том, как вставали они ранешенько и умывались белешенько и как цвела малинка-калинка в саду. Когда приняли еще по глотку, старательно заголосили «Шумел камыш, деревья гнулись...». Леха, закрыв глаза, самозабвенно дирижировал длинными ручищами и сам гнулся, как камыш под ветром.

Вернувшийся из конторы Суптеля остолбенел в дверях.

— Семен! — воскликнул Леха, будто не видел старшину сто лет, и поднес ему, расплескивая, полную кружку. — Кореш мой дорогой, хряпни! Народ тут, бабоньки эти, милашки мои — золото! Правду директор гутарил, куда мы без женского полу!..

Леху качнуло прямо на старшину. Суптеля поймал его, утвердил на ногах и сквозь зубы процедил:

— Ну, Сухаревский! Вернемся в Мурманск, сидеть тебе на «губе»!

Леха радостно кивал, соглашаясь, сидеть так сидеть.

Суптеля разогнал всех. Леху и Андрея отправил спать — оба лыка не вязали. Васю же старшина оставил чинить водолазную рубаху. Приказал еще проверить легководолазный скафандр, прихваченный с собою на всякий случай.

Вася остался один. Kleил рубаху, подкидывал чурочки в железную «буржуйку», стоящую посреди сарая для обогрева, и думал о том, как ему не повезло. Он так хотел воевать. Так стремился на фронт, мечтал стать танкистом, ходить в атаки, бить фашистов! Сколько раз со своими дружками-старшеклассниками обивал он порог горвоенкомата — не помогло: не хватало лет до призыва. Наконец упросил — именно он, один. Других не взяли. И вместо фронта попал в водолазную школу. Потихоньку плакал от обиды. Прослужил три месяца в водолазной школе и, когда поехал сюда, на Север, радовался, что наконец-то попадет в действующий флот. Но его, два дня продержав в Мурманске, загнали сюда, в эту дыру. Глухой, заброшенный поселок, в сотнях километров от фронта. Хорошо им! Суптеля уже воевал, имеет ранение. После госпиталя на фронт его не пустили, отправили сюда — водолаз он первоклассный. Поехал старшина с неохотой. И Андрей поплавал по морю, дважды тонул на подбитых кораблях. А Леха хотя и провел всю войну в прифронтовом Мурманске, но тоже хлебнул и бомбежек, и всего прочего. Контузию имеет. Один он, Вася, еще ни разу не слышал, как стреляет автомат. Домой писать не о чем, в класс, в школу — и подавно! Со стыда сгореть можно! Там все думают, что он воюет, а он вот сидит возле «буржуйки» в сарае и чинит водолазную рубаху: дамистик, тифтик, клей, шелковистая резина — хлоп! — заплатка готова. Посушили. Воюем, братцы, воюем!..

В сумерках, закончив работу, Вася шел по поселку домой.

— Эй, матросик! — вдруг услышал он из одного двора. — Зайди, помоги!

Вася увидел Фросю, стоявшую возле толстого чурбака, и рядом с ней девчонку, смуглую, голенастую, в растоптанных валенках. Она дичилась, опутив длинные ресницы. Фрося же, улыбаясь, протягивала ему топор.

— Помоги наколоть дров.

— Можно, — сказал Вася и не узнал своего голоса.

Он вошел во двор, взял топор и ахнул по еловому чурбаку. Топор отскочил, как от железа, и в руках отдалось, заныло. Вася сконфузился. Не глядя на девушек, подсобрал силенок и снова

ахнул по чурбаку. И опять топор резиново отскочил и чуть не задел по коленке. Вася готов был провалиться сквозь землю. Особенно неловко было перед этой вот молчаливой девчонкой в старых валенках. Стоит в сторонке, настороженно взглядывает на него исподлобья.

– Брось, – усмехнулась Фрося. – Мы сами.

– Чего звали тогда? – охрипшим от смущения голосом спросил Вася.

– А посмотреть на живого матросика. Вот она не видала еще, – кивнула Фрося на девчонку и долгим выразительным взглядом посмотрела на Васю, и Вася увидел, как в ее больших и дерзких глазах то суживаются, то расширяются черные зрачки. Как у кошки, когда она собирается прыгнуть на добычу.

– Топор тупой, – оправдывался Вася.

– Это не топор, это колун, – пояснила Фрося. – И колешь ты неправильно. Надо чуть наискосок ударять, чтоб колун по волокнам шел, а ты садишь изо всех сил прямо, вот и отскакивает. Сил-то, видать, много, да расходовать не знаешь куда.

Она погасила улыбку, а Васю кинуло в краску. Он уловил какой-то потаенный смысл этих слов.

– Ой-иньки! – всплеснула руками Фрося. – Жаром-то как полохнул, что красна девица.

Вася совсем растерялся и, не зная, как поддержать свое достоинство, полез в карман телогрейки за табаком, но, не найдя там ничего, сказал, что ему надо идти домой, что его ждут. Он поспешно распрощался с девушками (чернявая так и не подняла глаз) и быстро улетел со двора.

– А дорожку-то не забывай! – крикнула вслед Фрося. – Всегда будем рады.

И засмеялась так, что Васю подхлестнуло, и он прибавил шаг.

Дома он застал такую картину.

Четверо пацанов лет шести-семи сидели за столом уплетали за обе щеки хлеб с сахаром. Суптеля в одной тельняшке сидел, как добрый отец семейства, за столом и улыбался.





Умяв по куску белого хлеба, которого они, наверное, не видели всю войну и который был положен водолазам по норме питания, пацанята замерли, уставив глазенки на старшину. Суптеля выдал им по ложке сгущенного молока. Пацанята делали губы трубочкой и сосали молоко с ложечки осторожно, с интересом и недоумением. Жмурились от удовольствия и с чумазых мордашек не сходили удивленные и растерянные улыбки. Видать, они никогда не пробовали и не знали, что это такое – сгущенное молоко.

– Шкушно, – сказал востроглазый мальчонка в женской кофте с засученными рукавами. – Шкушнее меду.

Это был Митька, сын хозяйки, у которой водолазы снимали половину дома с отдельным ходом. У Митьки не хватало двух зубов впереди, и он сильно шепелявил.

– Как жидкое мороженое, – сказал Суптеля. – Ел мороженое?

– Е-ел, – протянул Митька, но по голосу чувствовалось, что врет, не ел он еще в своей шестилетней жизни мороженого.

– И я ел, – подал голос худенький мальчик с печальными темными глазами. – У меня папка живой был, он меня в город возил. У меня папка веселый был, гармонист...

Звонкий поначалу голосок под конец совсем осел, огромные глаза глядели вопрошающе и грустно, будто спрашивали, где его папка, веселый гармонист.

– М-м-м. – Суптеля отвел взгляд и нахмурился. Он знал, что такое сиротство и безотцовщина, он сам вырос в детдоме и теперь, став взрослым, очень любил и жалел ребятишек, особенно сирот.

Суптеля дал пацанам еще по ложечке сгущенки.

– Ну, наелись?

– Уплотнилишь, – ответил Митька и похлопал себя по животу. – Гудит.

– Гудит ли? – усомнился Суптеля. – Ты же половину спрятал.

Митька потупил голову и прошептал потерянно:

– Это я Нюшке.

– Сестренка, что ль?

Митька кивнул.

Старшина дал ему еще кусок хлеба и тут же увидел, как завистливо загорелись глаза у других.

– Что, тоже есть сестренки?

– Не-е, – ответил мальчик с печальными глазами, – братья-ники.

Суптеля вздохнул и отвалил каждому по ломтю хлеба и по куску сахара.

– Натё, отнесите. Только дорогой не слопайте.

– Не-е, не слопаем, – заверили ребятишки, и замурзанные мордочки их цвели.

– Шпашибо, дяденька.

– Спасибочка.

– Ну-ну, – смущенно побряхывал Суптеля. – Марш по домам, нам тут дел много.

Ребятишки послушно надели старые шапочки, телогрейки со взрослого плеча, с рукавами до полу, и веселой гурьбой, толкаясь, вывалили из дверей.

– Середочка сыта, и кончики заиграли, – сказал Суптеля, тепло и грустно глядя в окно на ребятишек. – Завтра ты дежуришь, навари супу побольше. Горяченьким хлопцев побаловать. Прибегут ведь.

Постепенно жизнь водолазов в поселке входила в привычную колею. Каждое утро, лютые январскими морозом, начиналось на озерном льду. Мела поземка, ветер пронизывал до костей, черная вода в майнах сизо дымилась. Ломило зубы от стылого воздуха, и дышать приходилось, спрятав лицо в воротник полушубка.

Васе, как самому молодому, всегда выпадало стоять на шланг-сигнале, потравливать или выбирать из воды мокрый, бесконечно длинный воздушный шланг и потемневший, набрякший водою пеньковый конец – сигнал. Пальцы коченели и не слушались. Всегда мокрые рукавицы не грели, а, наоборот, холодили, и руки ныли тягучей простудной болью.

Леха, постукивая мерзлыми сапогами нога об ногу и защищая лицо от жгучего ветра, ворчал:

– Хороший хозяин в такую погоду и собаку из дома не выгонит.

– А на фронте лучше! – обрывал его Суптеля.

Водолазы по очереди, кроме Васи (старшина пока еще не пу-скал его в воду), ходили под лед и тросом стропили бревна. Ле-бежку крутили женщины. Мокрые бревна медленно, под скрип шестерен, вылезали из-подо льда. Черные от долгого лежания в воде, они на ветру мгновенно покрывались ледяной коркой и ложились друг возле друга, затаенно молчаливые, будто заду-мавшие что-то недоброе. И так с утра до обеда.

В обед все шли в сарай отогреться. Там всегда жарко пы-лала «буржуйка», и бока ее раскаленно светились малиновым цветом.

– Погреем губы махорочкой – в животе полегчает, – говорил Леха и предлагал всем курящим свой бархатный кисет, на ко-тором было вышито далекой неизвестной девушкой: «Дорогому бойцу Красной Армии от Веры Архиповой».

Курили, сушили рукавицы, прикладывая их прямо к раска-ленным бокам печки так, что от рукавиц валил пар, и они стано-вились горячими и влажными. Сушили у печки портянки и об-мерзлые валенки. Оттаивали и сами люди.

Как ни трудно работалось водолазам подо льдом, все же гораздо тяжелее приходилось женщинам: на пронизывающем ветру качать водолазную помпу и особенно крутить лебедку. Работали они посменно: по два человека на помпе и по четыре сразу на лебедке. Пока бревно вытаскивали на лед, от телогре-ек на спинах шел пар, а в это время другая смена застывала на студеном ветру или бралась за ломы и катила вытасканные из-под воды бревна к берегу. Бревна складывали в штабель. Орудя ломами, надрывая животы и хрипя от натуги, каждую минуту рискуя быть раздавленными или покалеченными сорвавшимся бревном, женщины закатывали все же очередное бревно на вер-шину штабеля. И так бревно за бревном.

Руководила этими работами Клава, та самая немногослов-ная красивая женщина, которую водолазы приметили в первый день, когда рубили майны. Неторопливая и уверенная, она пода-вала команды, и ей беспрекословно подчинялись. Она же при-водила и новых работниц взамен простудившихся на ледяном

ветру. Стойко держались бойкие и дерзкие на язык сорвиголовы — Фрося и Дарья. Они не переставали задираť матросов, сыпать колкими шуточками. Но и они под конец дня изматывались, и шуток уже не было слышно. Запаленно дыша, как загнанные лошади, женщины перекачивали бревна по льду. Часто отдыхали. Качальщиц на помпе мотало так, что было непонятно, кто кого качает: они помпу или помпа их, измученных, некрасивых, одетых во что попало старух, — так резко менялся облик женщин к вечеру.

Васе было стыдно видеть, как надрываются женщины, а он, здоровый парень, стоит себе на шланг-сигнале. Вася знал, что старшине тоже не по себе от такого распределения труда, и в то же время понимал, что это необходимость. Водолазам по служебной инструкции запрещается производить тяжелые работы наверху, чтобы сберечь силы для работы под водой. Недаром они даже паек получают самый лучший на флоте. Ведь не пошлешь же этих женщин под воду.

Но одно дело — инструкция, а другое — совесть. И как тут ни крути, все равно было очень стыдно.

Домой водолазы приходили мокрые и уставшие не меньше женщин. Спина, руки, ноги — все ныло, все болело.

Пужинав горячим, Вася валился на кровать, и его охватывало блаженство от мысли, что до утра не надо идти на пронизывающий ветер и тянуть из воды мокрый, тяжелый шланг-сигнал, откручивать гайки на болтах шлема, к которым на морозе прикипают пальцы. (Вася не раз уже срывал кожу до крови.) Радовался, что не надо снимать с водолаза двухпудовые свинцовые груза, не надо развязывать мокрые, мгновенно схваченные морозом плетенки галош, не надо грузить тяжеленную помпу на сани, чтобы отвезти ее с озера в сарай, и вообще не надо ничего делать, а можно лежать в тепле, чувствуя, как горит нажженное ветром лицо, как выходит из тела озноб, лежать и сладко погреться в туманную теплую дрему...

Так и шла жизнь водолазов в поселке: работали, по очереди дежурили дома, варили обед, делали уборку, кололи дрова, стирали белье. Правда, вскоре Вася сделал открытие, что белье

стирает лишь он один. Остальные в субботу, после бани, уносили куда-то узелки, стараясь делать это незаметно друг от друга, а через два-три дня приносили свои бязевые отглаженные кальсоны, тельняшки и простыни.

Вечерами, после ужина, по одному исчезали. Брились, надраивали пуговицы и ушмыгивали, каждый раз заверяя, что вот-вот придут, но возвращался ночевать только Леха.

Если наступала кому-то очередь дежурить, то он уговаривал Васю подменить его.

— Будь другом, — шептал Леха. — Надо — вот так. — И резал себе ладонью горло. — Тут у меня сгущенка осталась — ешь. Я все равно ее не очень.

Все знали Васину слабость к сладкому. Андрей же просто молча ставил на стол банку сгущенного молока, одевался и уходил. Вася оставался пировать в одиночестве. Он доставал читанную-перечитанную книгу «Айвенго» и заново переживал подвиги и приключения рыцарей, по очереди бывая то самим Айвенго, то Ричардом Львиное Сердце, то Робинот Гудом. Ему не было скучно. Он топил печку, сидел перед открытой дверцей, глядел на огонь и мечтал. Иногда лазил в большой, тяжелый, окованный по углам железом сундук с продуктами и брал немного, ну совсем чуть-чуть, изюму и сушеных груш. И так коротал время.

Поздно вечером возвращался закоченевший Леха, лез мерзлыми руками в печку, похохатывал:

— Все девки пересобачились из-за меня, — напевал:

*Менял я женицин, как перчатки,  
Тирьям-тарьям, тирьям-тарьям, тирьям-тарьям...*

Однажды Суптеля сказал:

— Хватит вам облапошивать хлопца. Ты дежуришь сегодня?

— Я, — ответил Андрей, уже держа шинель в руках.

— Вот и дежурь, — приказал Суптеля. Повернулся к Васе. — А ты собирайся в клуб. Сегодня кино «Александр Невский».

В клубе Вася оказался рядом с той чернявой девчонкой, у которой так неудачно колол дрова. Они поздоровались, и девушка

опустила ресницы. Если бы не погасла вскоре лампочка, тускло освещавшая зал, то Вася просто не знал бы, что делать.

Кино гнали по частям, и когда часть кончалась, то свет не зажигали и все сидели в кромешной темноте. Вася слышал рядом осторожное дыхание соседки и чувствовал, что она отодвигается от него. Он тоже боялся нечаянно прикоснуться к ней и страшно завидовал Лехе, который сидел в первых рядах и что-то травил женщинам, и там слышались смешки. С другого бока у Васи сидел старшина и тихо переговаривался с какой-то женщиной.

В один из таких перерывов между частями к Васе пробрался по рядам Леха и шепнул на ухо:

— Не будь тухой, иди провожать соседку. — Больно ткнул в бок.

Когда кончился фильм, Леха мгновенно исчез, ушел и старшина. Вася остался один. Он все пропускал и пропускал народ в дверях, пока не оказался последним. Когда вышел на крыльцо, увидел, как в лунном свете по синим снегам расходится народ, растекается ручейком по переулкам. И он пошел домой.

Впереди медленно двигалась девичья фигура. Он сразу признал в ней голенастую соседку. Вася, не зная почему, прибавил шагу. Она услышала, оглянулась.

— Вы домой? — спросил Вася.

— Домой, — тихо ответила она.

— Нам по пути.

— По пути.

Дальше Вася совершенно не знал, о чем говорить, и потому стал закуривать, надеясь, что тем временем девушка сама начнет разговор. Но девушка молчала, и Вася, проклиная себя за нерешительность, назначал себе ориентиры. Вот дойдет до того дома и спросит: «Ну, как вы тут живете?» Но подходил к дому, и язык словно присыхал. Вася снова выбирал кошку, но проходил и ее и опять не раскрывал рта. Так и шли молча.

Около своего дома девушка поспешно сказала:

— До свидания.

— До свидания, — ответил Вася и почувствовал облегчение,

что вот и кончилось тягостное молчание, но в то же время ощутил и легкую грусть оттого, что девушка уходит. Ему вдруг захотелось идти с ней дальше.

Неожиданно для себя он спросил:

— А вы завтра на танцы пойдете?

Она кивнула и побежала к крыльцу.

— И я приду, — храбро сказал Вася, потому что чем дальше уходила девушка, тем смелее он чувствовал себя. — А как вас зовут?

— Тоня! — крикнула она и забарабанила в дверь.

— А меня Вася.

Домой шел гордый от сознания, что вот проводил девушку — и ничего, хоть бы хны! Все даже очень просто, и пусть Леха не хвастается. Леха говорит, что на прощание надо обязательно назначать свидание и целовать. Вот он и назначил. Не поцеловал, правда.

Вася шел, и снег поскрипывал под ногами, и от этого бодрого скрипа тоже было радостно и легко на душе. И вдруг как кипятком ошпарило: завтра его очередь дежурить! Его законная очередь!

Наутро Вася рубил дрова. Ставил тяжелый и промерзлый до звона чурбак на попа, укреплялся сам на ногах и, высоко подняв колун над головой, с силой опускал на чурбак. Старался бить так, как учила Фрося — чуть-чуть наискосок. Но все равно поначалу не ладилось. Колун отскакивал, оставляя на заиндевелем срезе чурбака тупой короткий след. Вася собирал силенки и снова наносил жестокий удар, от которого чурбак звенел и глубже уходил в снег. И так несколько раз: удар, звон, осадка. Удар, звон, осадка! Но мало-помалу дело пошло на лад: поперек среза поползла тонкая, после каждого удара расширяющаяся трещина, и наконец чурбак не выдержал и со спелым сочным звуком (как арбуз) развалился надвое, обнажив желтую, промерзшую насквозь сердцевину. Дальше пошло легче. Вася довольно ловко откалывал от половинки чурбака поленья. Со звоном порванной струны лопалось дерево, и полено отлетало в сугроб. Вася повеселел и рубил с силой, чтоб именно отлетало. И казалось ему,



что он уже не водолазик Вася, а Василий Буслаев, былинный герой, и в руках его не колун, а обоюдоострый меч булатный, и не дрова он рубит, а немецких рыцарей крошит в Ледовом побоище. Раз! — и выбит меч из рук тевтона. Раз! — и хрустнули латы. Раз! — и со звоном лопаются шлем крестоносца. Раз! Раз! — крошит поганых псов-рыцарей богатырь земли русской Васька Буслай!

Вася разогрелся, скинул телогрейку. Эх, видела бы Тоня! Позвала бы его сейчас дрова колоть, он бы показал, почему сотня гребешков! Раз! Раз! Еще раз! Она стояла бы и восхищенно смотрела на него, и говорила бы: «А мы и не знали, что ты такой сильный и так ловко умеешь рубить дрова!»

Вася напластал целую гору дров. Сам удивился — как много! Сложил поленницу, полюбовался на свою работу, представил, как приятно удивится старшина этой аккуратной сложенной высокой поленнице.

Пора было готовить обед. Натаскав дров к печке, Вася принялся за обед, а сам все время думал и думал, кого бы уговорить подежурить вечером. Андрея? Но он вчера дежурил и законно откажется. Леху? Леха пошлет к черту, бесполезно с ним и разговор начинать. Старшину? Об этом и думать нечего. Вася и сам никогда не заикнется старшине. И он снова и снова перебирал, кого же попросить?

За дверью послышалась возня, кто-то пытался открыть ее и слабо дергал за ручку. Вася стоял с веником в руках и ждал. Дверь медленно, со скрипом открылась, и в морозном пару у порога возникла фигура с вороньим гнездом на голове и в телогрейке со взрослого плеча, рукава которой свисали до самого полу. Воронье гнездо съехало на самый нос. По этой шапке Вася узнал востроглазого Митьку, сына тети Нюры, хозяйки дома. За Митькой в дверях возникла еще фигурка, закутанная в старую драную шаль. Существо держалось за Митькин рукав. Черные глазенки этого существа широко раскрылись и уставились на Васю. Вася не успел ничего сказать, как в дверь протиснулся еще пацан, за ним еще и еще. Они возникали в морозном пару, как привидения, один за другим. Через минуту толпа ребятишек мал мала меньше, сопела и шмыгала носами у дверей.

Вася оторопел.

– Сколько вас?

Ребятишки молчали, они не знали, сколько их, они не умели еще считать. Вася выглянул на улицу – больше никого не было. Прикрыл дверь. Пересчитал. Одиннадцать!

– Вы чего пришли?

Пацаны шмыгали носами и молча пялили глаза на Васю. Митьке сползала на нос шапка, он ее подымал, она опять сползала, он снова подымал.

– Вы к кому пришли?

– Дядя Шёма... – сказал Митька.

– Дядя Сема на работе, его нету.

И тут Вася заметил, что глаза ребят устремлены совсем не на него, а куда-то мимо, за его спину. Он оглянулся и увидел на столе горку сухих фруктов, из которых он собирался варить компот. Вася взял горсть сухофруктов и стал раздавать. К нему потянулись, возникая откуда-то из недр длинных рукавов, замурзанные холодные ручонки и цепко хватали черносливину или грушку. И все сразу исчезало во рту.

Вася помнил наказ старшины кормить всех ребят, какие придут, и поэтому, когда раздал свою норму, отпущенную на компот, кормил их еще саговой кашей. А когда подоспел суп, Вася кормил их и супом. Потом заставил пацанов делать уборку, и они старательно подметали пол, перекладывали дрова у печки, выносили мусор и очистки. Сестренка Митьки уснула под шумок за столом. Вася перенес ее на свою постель и уложил сверху, не раздевая.

Не заметил, как и день проскочил.

Водолазы вернулись с работы уже под вечер.

– Давай рубать! – еще с порога гаркнул Леха. – Кишка кишке рапортует.

Вася уже несколько раз подогревал обед, ожидая товарищей, и теперь кинулся было снова разжигать печку, но Суптеля сказал:

– Не надо, и так съедим. Промерзли до печенок.

– А чего так долго? – поинтересовался Вася, собирая на стол.

— Красоткам помогали, — откликнулся Леха, снимая намывшие гремевшие валенки. — Бревна в лесу, в штабелях, а дорогу замело. Сугробы разгребали. Трактор ждут, а его нету.

Водолазы отогревались, толпясь у печки, заглядывали в кастрюли. Нажженные ветром и морозом лица их задубели, пальцы не разгибались.

— Черпани со дна пожиже! — приказал Леха.

— И мне тоже, — улыбнулся Суптеля.

Водолазы с довольным кряканьем выпили положенные наркомом сто граммов и принялись за еду. Взяв кусище хлеба, Суптеля зачерпнул полную ложку и отправил ее в рот. Бровь его удивленно поползла вверх. Он помешал ложкой в тарелке и спросил:

— Ты чего сварил?

— Суп, — ответил Вася, — а что?

— С мясом?

— С мясом.

— А еще с чем?

— С рыбой, с рисом, — пояснил Вася.

— Так это что — суп или уха? Ты чего все в кучу свалил?

Вася искренне удивился. Разве нельзя?

Андрей сердито смотрел на Васю, а Леха хохотал.

— Вот дает! Ты бы еще туда сгущенки налил или повидла. Супец был бы королевский! Чрево Парижа!

Вася молчал, тайно прощаясь с мечтой пойти в клуб. Кто теперь согласится подменить его! Надо же было рыбе подвернуться под руку! Когда он скормил пацанятам суп, он решил его доварить, чтобы водолазам было с добавкой. Тут-то он и кинул треску в суп и долил водицы.

— Влюбился, что ли? — спросил Андрей.

Вася покраснел. Ничего он не влюбился, откуда взяли.

— Точно! Тут дело нечисто, — скалил зубы Леха. — Опять же пересолил.

— Недосол на столе, пересол на спине, — ворчал Андрей.

— Ладно, — прервал разговор Суптеля. — С кем не бывает. Только больше мясо и рыбу вместе не вари. Давай второе.

Водолазы наелись. Леха со словами:

– После сытного обеда по закону Архимеда треба отдохнуть, – завалился на кровать.

Андрей тоже. Суптеля стал чинить чьи-то ходики. Он был мастер на все руки, и женщины, прознав об этом, тащили ему будильники, швейные машинки, самовары и кастрюли. Леха смеялся: можно открывать лавочку утильсырья, но Суптеля, добродушно улыбаясь, чинил все, что ни приносили. Платы не брал. Просто ему доставляло удовольствие чинить домашнюю утварь и беседовать с хозяйками. От них водолазы знали все новости в поселке: кому пришла похоронка, у кого без вести пропавший, у кого лежит в госпитале. Сами женщины спрашивали, не видели ли ихних мужей или братьев. Нет, ни одного из этого поселка не встречали и не видели на фронте и на фронтовых дорогах ни Суптеля, ни Андрей, ни Леха, а о Васе и говорить нечего.

Вечером незаметно исчез Андрей. Унес куда-то отремонтированные ходики и Суптеля. Леха драил пуговицы на шинели и, улыбаясь своей работе, довольный, напевал песенку о том, как девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан.

Вася наконец набрался храбрости и спросил:

– Ты не подежуришь за меня?

Песенка оборвалась.

– Надо мне. – Вася смущенно переступил с ноги на ногу и провел ладонью по горлу, как всегда делал Леха.

Леха протяжно и выразительно свистнул.

– Уже пришвартовался? Хо-хо! Не промах. К этой чернявенькой?

– Да нет, – мялся Вася. – Танцы сегодня.

– Ах, танцы! Гляди-ка!

С Лехиной морды не сходила шалая ухмылка. Он по-новому, оценивающе и удивленно, глядел на Васю.

– Даешь! На абордаж ходил?

– Чего? – не понял Вася.

– Не прижимал, говорю?

У Васи вдруг пересохло во рту.

– Не-е. Мы до дому дошли.

– И все?  
– Все. А чего еще?  
– «Чего еще!» – передразнил его Леха. – Хоть договорился?  
– О чем?  
– Вот пень! – воскликнул Леха, воздев руки к потолку.  
– Мы вообще не говорили, – оправдывался Вася.  
– Как не говорили?! – опешил Леха. – Так всю дорогу и молчали?

– Ага.

Леха закатил глаза под лоб и покрутил пальцами у виска.

– Ты что, чокнутый?

Вася промолчал, он был уже не рад, что затеял этот разговор.

– У меня сигареты есть, американские, – выложил Вася последний козырь.

– Ты еще сгущенки предложи! – возмутился Леха. Вася совсем скис.

– Сказал бы вчера, я хоть людей предупредил, – почесал затылок Леха. – А то – на тебе! – подежурь за него. У меня три свидания сегодня.

– Я же дежурил за тебя, – заикнулся было Вася.

– Да не в этом дело, – перебил Леха. – Ладно, вот что. Сейчас я смотаюсь на полчаса, а ты покуда собирайся, лоск наводи, надраивайся как следует. А я сейчас, мигом, одна нога здесь, другая там. А сигареток дай, угощу кое-кого.

Леха хотя и говорил, что обернется мигом, но появился часа через два, когда Вася совсем уже решил, что его надули. Еще с порога запыхавшийся Леха крикнул:

– Валяй! В клубе дым коромыслом. Я им чечеточку сбавал. На «бис» повторял. Валяй, она там.

Довольный своим успехом, Леха разглаживал тонкие усики. Сильно стукнул Васю по плечу, приказал:

– Не хлопай ушами, на бордаж иди!

Вася бежал не чуя ног под собой и на полдороге налетел на Тоню.

– Здравствуйте! – выпалил он. – Вот и я.

– Здравствуйте, – растерянно, но, как показалось Васе, обрадованно протянула она. – А я думала, вы не придете.

— Я никак не мог, — искренне стал оправдываться Вася.

— А мне домой надо.

— Домой! — огорчился Вася. — А можно я вас провожу?

Тоня кивнула.

Стужа давила землю, вокруг луны горело три морозных кольца, а Вася был в бескозырке и ботиночках. Уши прихватывало, но он стеснялся потерять их или хотя бы поднять воротник шинели.

На этот раз Вася говорил, говорил и говорил. Он помнил наказ Лехи: ври больше, не давай опомниться. Про моря, про шторма. Скажи: на дне океана встречал спрута и победил и рыбу-меч поймал за хвост, а акулы мне, мол, — раз чихнуть! Она разинет рот, а ты в этот момент — на абордаж.

Вася, правда, не врал про моря, он сам их еще не видел. Он говорил... о помидорах. Почему именно о помидорах, он и сам не знал. Видимо, потому, что его мать на маленьком клочке земли против барака, где они жили, выращивала помидоры. Начал говорить о помидорах и уже не мог остановиться. Боялся, что как только остановится, так опять будет молчать всю дорогу.

— Сначала их дома растят, в бумажных кулечках с землей. На окошке.

— А у нас они совсем не растут, — сказала Тоня.

— Да? — почему-то обрадовался Вася. — А у нас растут. Сибирь, а растут! А потом, когда весна наступит, их в парники высаживают и рамами накрывают, чтоб тепло им было...

— А у вас дома была девушка? — тихо спросила Тоня.

— Девушка? Какая девушка? — не сразу понял Вася.

— Ну... с которой вы дружили?

— Я? — Вася остановился. — Я не дружил ни с кем.

— Совсем-совсем, никогда-никогда? — допытывалась Тоня.

— Никогда, — сказал Вася и покраснел.

Он соврал: он влюблялся по очереди во всех девчонок в классе, а в восьмом классе был влюблен сразу в двух. Правда, все это у него быстро проходило, но сейчас он все равно почувствовал себя обманщиком и поспешил перевести разговор опять на помидоры.

— А когда совсем тепло станет, их начинают пересаживать из парников в землю. А потом пасынкуют, лишние ветки обламывают...

- А вы с кем-нибудь переписываетесь?
- Я? – переспросил Вася. – А с кем?
- С девочкой?
- С какой девочкой? Я только маме пишу.

Они дошли до Тониного дома. Вася украдкой потирал уши, делая вид, что поправляет бескозырку, потирал и не чувствовал их. У Тони закуржавела шаль у рта и ресницы тоже были белыми.

Они стояли на крыльце и коченели.

Ярко, будто слюдяное, блестело снежное поле. Оно начиналось сразу у Тониного дома. Невдалеке обледенелый куст светился, как стеклянный, и вызванивал на ветру. Казалось, сам воздух звенит от стужи.

*Ты, залеточка родной,  
Проводи меня домой... –*

вдруг раздалось совсем рядом. Вася и Тоня увидели Фросю. Она замедлила шаг возле дома, будто ждала, что ее окликнут, но Тоня и Вася затихли. Снова заскрипели шаги, и Фрося пошла через снежное поле к полустанку. Она еще что-то пела, какую-то лихую зазывную частушку, но вот голос ее стих, только маленькая одинокая фигурка затерянно чернела посреди огромного холодного простора.

- Ребеночек у нее, – тихо сказала Тоня.
- У кого? – не понял Вася.
- У нее. У Фроси.

– Ребенок?! – искренне удивился Вася. Он никак не думал, что у этой девушки может быть ребенок. Она ему казалась совсем молодой, а дети, он считал, бывают только у пожилых.

– Ребеночек, – повторила Тоня и вдруг переменяла тему разговора: – А она все про вас говорит. – Вася уловил в ее голосе какое-то недовольство. – Как придет, так все говорит о вас.

- Обо мне? А чего обо мне?
- Красивый, говорит.

Вася покраснел и не знал, что сказать. Он посмотрел на мертвое поле, на одинокую фигурку, которая становилась все меньше и меньше, растворяясь в сизой морозной ночи, и ему стало жалко Фросю. Он подумал, как бесприютно и холодно идти ей по этому насквозь продуваемому полю.

Вася совсем замерзал, пальцев на ногах не чуял, а об ушах и думать боялся. Его трясло, он стучал зубами.

— Вы чего дрожите? — спросила Тоня.

— Так просто, — сипло выдохнул Вася.

— Кто там дрожит? — вдруг раздался голос за дверью. Васе он показался громовым. Тоня, приглушенно ойкнув, испуганно присела и толкнула Васю. Он не удержался и загремел с мерзло-гулкого крыльца. Открылась дверь, и на пороге появилась Тонина мать. Вася узнал в ней фельдшерицу поселковой амбулатории.

— А ну, марш по домам! — приказала она. — Задрожали! Знаем мы вас, сначала дрожите, а потом ищи ветра в поле.

Вася стоял на четвереньках и никак не мог подняться на непослушные ноги. Наконец он выпрямился и вежливо пролепетал:

— Здравствуйте.

— Здравсьте, скатертью дорожка! — насмешливо ответила Тонина мать. Самой Тони на крыльце уже не было.

Дома Леха оттирал снегом обмороженные Васины уши и ворчал:

— Олух царя небесного! Останешься без ушей, какая девка за тебя пойдет!

Вася ойкал от боли, морщился.

— Ты что, в сугробе сидел?

— Н-не-е, н-на крыльце с-стоял, — дрожал от озноба Вася.

— «Н-на крыльце!» — передразнил Леха. — Что за люди! Сколько вас учить! Иди сразу в дом, садись за стол: «Здравсьте, мамаша! Как хозяйство?» — и так далее.

— У н-нее м-мать з-злая.

— Вот выбрал! — воскликнул Леха, забыв, что именно сам посоветовал Васе проводить Тоню после кино. — Без матерей, что ли, нету! Салага ты, салага и есть.



– Т-ты н-не говори с-старшине, – попросил Вася, покорно выслушивая нотацию Лехи.

– «Н-не говори!» Что он, сам не увидит? У тебя завтра уши как у слона будут.

И вправду, наутро уши распухли и стали похожи на мясистые розовые лопахи. Суптеля иронически оглядел их и сказал:

– Хорошо еще – уши, а если бы ноги? В госпиталь отправлять?

– Он теперь на индийского слона похож, – ощерялся Леха. – Жарко станет – обмахиваться может. Слоны обмахиваются, сам видел. Будь другом, попробуй.

– Помолчи! – оборвал его недовольный старшина и строго посмотрел на Васю. – Шутки шутками, а из строя ты себя вывел. В воду с такими ушами нельзя, и не только в воду. Будешь дежурить, пока...

– ...уши не отвалятся, – снова встрял Леха. Суптеля хмуро покосился. Леха сделал невинный вид.

– ...пока не заживут, – закончил свою мысль Суптеля. – И подумай кое о чем.

Вася понимал, что из-за этих проклятых ушей подводную его нагрузку берут на себя товарищи. Еще два дня назад старшина сказал, что пора Васе приучаться ходить под воду, начинать работать. Тот краткосрочный из-за войны этап учебы в водолазной школе практически ничего Васе не дал. Водолаз становится водолазом при постоянной тренировке, при постоянных спусках под воду. В школе спусков на грунт было очень мало. И после прибытия на Север Вася еще ни разу не надевал скафандр. Да и Суптеля жалел его – успеет еще наработаться.

Притом сначала шла разведка: где и как лучше разбирать завалы топляков, и в воду ходили самые опытные – старшина и Андрей.

И вот история с этими ушами!

Но втайне Вася был рад своим обмороженным ушам. Сам себе не признаваясь, он страшился воды. И когда думал о том, что рано или поздно все равно придется идти под лед, у него холодело в груди, и мысленно он молил, чтобы этот день настал

как можно позднее. Пока все так и было, пока проносило. Теперь вот уши помогли.

Когда водолазы ушли на работу, Вася, чтобы загладить как-то свою вину перед ними, решил сварить на обед что-нибудь повкуснее. Сам он очень любил перловый суп, поэтому решил сварить именно его. Растопив печь и приготовив все для варева, он задумался о том, что же первым надо кидать в кипящую воду: перловку или сушеный картофель (на Север он поступал только в таком виде). Подумав-подумав, и так и не решив этого вопроса, и боясь повторить историю с супом из рыбы и мяса, Вася пошел за советом к тете Нюре, к своей хозяйке.

Еле открыв мерзлую разбухшую дверь в избу, Вася увидел тетю Нюру, сидящую за столом. Вася поздоровался, но тетя Нюра не ответила. Она сидела, обхватив голову тощими голыми по локоть руками, и, устремив глаза в бумажку на столе, так и осталась сидеть. Ее закаменелость, ее серое, будто в налете печной золы лицо, ее судорожно скрюченные пальцы на голове заставили Васю остановиться у двери. Он растерянно повел взглядом по неубранной избе и увидел забившегося в угол Митьку. Мальчонка не спускал с матери широко раскрытых глаз. А она сидела над какой-то бумажкой, и лицо ее пугало неподвижностью. Вася почувствовал, что случилось что-то страшное, непоправимое, но что именно, еще не понимал и не знал, что делать: стоять и ждать, когда тетя Нюра выйдет из оцепенения, или уходить. И когда за спиной бухнула дверь, он обрадовался.

Пришла Назариха, шустрая, везде поспевающая старушка, и прямо с порога, перекрестившись на передний пустой угол, запричитала неожиданно молодым и звонким голосом:

— Ой, горюшко, ой, горе какое! И что же такое на свете деется! И когда этот Итлер, трижды клятый, провалится в тартарары, супостат! Скоко жизнев, скоко мужиков!..

Теперь только Вася понял, что этот узенький маленький листок перед тетей Нюрой — похоронка.

— Нюра! Ты чегой-то? — тревожно спрашивала Назариха, заглядывая в лицо женщине. — Никак зашлась! А? Ты поплачь, сизокрылая, поплачь, с сердца камень упадет.

Тетя Нюра хранила страшное молчание, и Васе стало не по себе.

— Зашлась, ой зашлась! — хлопотливо и бестолково засуетилась возле хозяйки старушка. — Ей слезу надо пустить, — глянула она на Васю, — а то сердце лопнет, осиротит совсем ребятишек. Нюра, Нюра! Ах ты господи, что делать-то! Слезу надоть, слезу...

Снова открылась дверь, и в морозном пару возникла Клава.

— Ой, Клавдеюшка! — бросилась к ней Назариха. — Кабы худа не приключилось! Закаменела Нюра.

Клава, на ходу распутывая заиндевелую шаль, подошла к хозяйке.

— Нюра, — тихо, почти шепотом сказала она, — ты поплачь. Не сиди так. Слышишь?

Тетя Нюра не откликнулась, взгляд ее по-прежнему был устремлен на бумажку, синие губы намертво спаяны. Клава скинула с себя телогрейку, испытующе посмотрела в лицо хозяйки и вдруг, к великому изумлению Васи, ударила — сильно, наотмашь! — тетю Нюру по лицу. Пощечина гулко раздалась в пустой избе. Тетя Нюра качнулась, но качнулась отрешенно, закаменело, будто это и не ее ударили. А Клава ударила ее еще раз, другой, третий! Это было так неожиданно и странно, что Вася хотел было крикнуть: «Что вы делаете!», но тут же увидел, как вздрогнула всем телом тетя Нюра, повела тусклым незрячим взглядом по избе и прошептала:

— Нюся, Митька...

Клава сильно трясла тетю Нюру за плечи и настойчиво твердила, строго глядя ей в глаза:

— Поплачь, поплачь, слышишь! Плачь, Нюра!

В мутном взгляде тети Нюры проскользнула какая-то осознанная мысль. Будто просыпаясь от тяжелого сна, она посмотрела на Клаву, с трудом узнала ее, уронила ей голову на грудь и закричала дико, с нестерпимой болью. Васю продрало морозом по спине. Рыдания сотрясали худое тело тети Нюры.

— Плачь, плачь, — шептала Клава и, прижимая ее голову к своей груди, гладила ее по волосам, как ребенка, и все повторяла:

— Плачь, плачь.

— Слава те господи, слава те господи, — мелко крестилась Назариха. — Теперя отойдет. Слезой камень выйдет. А то ведь страсть какая — зашлась, закаменела.

Клава усадила тетю Нюру на кровать, застланную лоскутным разноцветным одеялом, и сказала Васе, столбом стоящему у дверей:

— У вас спирт есть, принеси полкружки. Скажешь Семену, что я просила.

Вася с готовностью выскочил в дверь. Когда вернулся, в избе было уже полно женщин. У печки стояла Тоня, прижимая к себе маленькую Нюську, закутанную в старую шаль. Они обе только что вошли с улицы. Девочка уткнулась в ее колени и замерла. Тоня, прикусив нижнюю губу, смотрела на Васю глазами, полными слез.

Женщины поселка одна за другой тянулись к осиротевшему дому. Входили тихо, кто оставался у двери, кто около печки, кто проходил к столу. И все молчали, скорбно глядя на тетю Нюру, ничком лежавшую на кровати. Они глядели на новую вдову. Многие из них сами были вдовами, другие могли в любой день стать ими.

Клава развела в эмалированной кружке спирт водой и подняла голову тете Нюре. Тетя Нюра отрицательно замотала головой, но Клава властно приказала:

— Пей! Все выпей!

— Выпей, выпей, — дружно поддержали женщины.

Стуча зубами о край кружки, тетя Нюра сделала глоток, поперхнулась, закашлялась, бессильно отводя рукой кружку. Но Клава настояла на своем:

— До дна, до дна!

Оглушенная спиртом, тетя Нюра сразу обмякла и повалилась на кровать, протяжным стоном вобрала в себя воздух и уснула. Но и во сне ее изношенное тело продолжало содрогаться от внутренних рыданий. Женщины сидели молча, не сводя сухих, давно заплаканных глаз с тети Нюры. Натруженные работой, худые и некрасивые руки строго и устало лежали на коленях.

Вася впервые остро и ясно ощутил общее горе женщин. Он вдруг почувствовал огромность страданий всего народа. Война, которая до этого являлась ему в образе подвигов, орденов и славы, вдруг открылась ему новой и страшной стороной. Он впервые видел женщину, получившую похоронку. Он знал, слышал, читал о них, но вот так, воочию, увидел впервые, и это ударило его в самое сердце.

Пришел директор, вслед за ним вошла его жена. Директор обвел всех долгим взглядом, посмотрел на пустую кружку на столе, потянул носом.

– Это верно, это первое дело, – одобрил он. И прямым, прихрамывая и стуча палкой, подошел к Митьке, который так и сидел, забившись в угол. Директор вытащил Митьку из угла, сел на лавку и посадил мальчонку себе на колени.

– Ну, Митрий, теперь ты за главного в доме.

– Парень сильный, – сказала Клава и грустно улыбнулась, – ни слезинки не выдал.

– В отца пошел, – поддержала Назариха. – Тимофей-то ногу под круглую пилу подвернул, два пальца оттяпало, а он и не ойкнул. И Митрий – кремень сердцем.

– Это по-гвардейски, – одобрил директор. – Теперь он хозяин в доме, две бабы на его плечах. Управляться надо, чего он нюни будет распускать. Верно? – Директор нагнулся к понурой голове пацана.

Митька согласно кивнул, и ясные крупные слезы хлынули из его глаз. Директор крякнул, что-то хотел сказать, но горло ему сдавило, и он замотал головой, будто оглушили его, и все никак не мог произнести слово, а сам все крепче прижимал к себе Митьку.

У Васи тоже сухая спазма перехватила горло, и глазам стало горячо от набежавшей влаги. Чувствуя, что сейчас заревет, он выскочил на мороз. За ним Тоня. Она оступилась с тропинки и вязла в сугробе возле крыльца. Вася помог ей выбраться. Она припала к его груди и все повторяла:

– Не надо, не надо было отдавать. Пускай бы не знала.

Вася стоял растерянный, боясь пошевелиться и оттого, что Тоня положила ему голову на грудь, и оттого, что совершенно

не знал, как помочь тете Нюре, и Митьке, и всем женщинам. Теснило грудь, и больно было дышать от жалости и сострадания к этим еще недавно чужим, а теперь родным и близким людям. Он хватал открытым ртом морозный воздух и не замечал его стылости.

Февраль в тот год закрутил такими метелями, каких давно уже не помнили старожилы. Заводик стал работать с перебоями: бревна, годные по нормам ОТК для изготовления автоматных и винтовочных прикладов, лежали в лесу, в штабелях. Каждое утро выходила бригада женщин на расчистку снега. По узкой траншее, пробитой среди сугробов, вывозили коротыши на двух подводах.

В середине февраля разыгралась пурга — целую неделю света белого не видно было. В воскресенье ранним-рано пришел к водолазам директор и сказал:

— Помогите, товарищи. Дорогу в лес совсем замело. Завод останавливается.

Он посмотрел на лежащих в постелях и нежившихся по случаю выходного дня водолазов, пригладил рыжеватый ежик на голове, вздохнул:

— Я понимаю, конечно, сегодня воскресенье. И работали всю неделю на совесть. Но надо! Воскресник, так сказать.

— Надо так надо, — сказал Суптеля, который уже встал и, растопив печку, кипятил чай. По воскресеньям он всегда дежурил сам.

— Ну вот, это по-нашему, по-гвардейски, — облегченно выдохнул директор и бодренько напялил шапку.

— А лопат хватит? — спросил Леха.

— Хватит, — успокоил его директор, а на лице Лехи появилась кислая мина. — На всех хватит. Ну ладно, пойду я женщин подымать. Клавдия уже ходит по дворам. Так я надеюсь. Сбор в конторе.

— Придем, — ответил Суптеля. — Чайку вот попьем.

Когда директор вышел, с постели подал голос Андрей:

— А между прочим, в правилах водолазной службы запрещается использовать водолазов на тяжелых работах наверху.

— Между прочим, идет война, — тихо сказал Суптеля и потемнел лицом.

— А кто завтра в воду пойдет? Директор?

— Нет, твоя очередь.

— Вот то-то и оно.

— Сегодня можешь не ходить. — Суптеля резко захлопнул дверцу печи, куда подкладывал дрова. — Воскресник — дело добровольное. А вы, хлопцы, подымайтесь, чай закипает.

Вася поднялся первым. Леха, видя, что разговор кончился в пользу старшины, начал нехотя одеваться. Андрей тоже молча скинул с себя одеяло.

Морозная вьюжная темь встретила водолазов за порогом. Кое-где слабо пробивался свет окошек, будто были они за тридевять земель. Северный ветер, словно подкарауливая, внезапно налетал из-за угла, яростно толкал то в бок, то в спину, стараясь сбить с ног, то бросал в лицо сухой колючий снег, то глухо ударял в стены домов. Вздохнуть полной грудью под этими мощными ударами было невозможно, и матросы, задыхаясь и защищая лица руками, наклонив головы, цепочкой потянулись к конторе. Поселок как вымер. Только снежная кутерьма ошале-ло металась по улицам.

Зябко вздрагивая после тепла и стараясь пересилить вьюгу, Андрей крикнул Васе, шагавшему за ним:

— Не очень-то бабы бегут в контору. Ни одной не видать.

Но контора была битком набита женщинами.

— Силов больше нету, — надрывным голосом говорила директору женщина с бледным измученным лицом. — В кои-то веки один выходной выпал, и тот отбираешь.

— Я не неволю. — Директор прикладывал к груди руки. — Я прошу, товарищи женщины. Пришел приказ — дать к концу месяца шестьсот пятьдесят заготовок сверх плана. Если сегодня коротыши не подвезем, сорвем военный заказ. Без дороги трактор не пойдет. Дорога нужна. А после обеда будет трактор.

— Силов нету, — стояла на своем женщина.

— Надо, Глаша, — сказала Клава. Даже в латаной телогрейке, в бумазейных шароварах, заправленных в подшитые валенки, и в старой шали она выделялась среди женщин опрятностью и спокойной уверенностью. — Кто ж, кроме нас, сделает.

– Да чего вы меня уговариваете! – в сердцах ответила женщина, – Что я, не понимаю – хуже других? Силов, говорю, нету. И дома как в сарае, ребятишки без призору, стирка накопилась.

– Передышки бы хоть денек! – звонко поддержала женщину Фрося.

– А когда ты рожала, тебе передышка была? – спросила Клава.

– Чего? – оторопела Фрося.

– При родах, говорю, отдыха нету. Чем больше поднатужишься, тем быстрее. Так и тут.

– Ну, ты скажешь! – смущенно отмахнулась Фрося и покосилась на водолазов, хотела что-то сказать, но ее перебил голос диктора по радио: «Говорит Москва! Говорит Москва! Приказ Верховного Главнокомандующего!»

Все повернули головы к стене, на которой висела черная бумажная тарелка репродуктора, и замерли. Диктор говорил о том, что семнадцатого февраля 2-й Украинский фронт ликвидировал окруженную Корсунь-Шевченковскую группировку противника и в результате ожесточенных боев немецко-фашистские войска потеряли пятьдесят пять тысяч убитыми. Восемнадцать тысяч взято в плен, и захвачены огромные трофеи.

Вася смотрел на женщин, жадно, строго и внимательно слушавших приказ Верховного Главнокомандующего, и понимал, что все они сейчас думают о своих мужьях, сыновьях, братьях и молят бога, чтоб остались живы они там, на фронте. А диктор победным голосом перечислял фамилии генералов, чьи войска особо отличились, и что этим войскам присваивается почетное звание «Корсунских», и что сегодня, восемнадцатого февраля сего года, в ознаменование этой победы, будет произведен салют в столице нашей Родины – Москве.

Когда смолкло радио, в глубокой тишине раздался хрипловатый от волнения голос директора:

– Теперь уж и граница близко. Поди, закончим летом войну, а?

Он обвел всех вопрошающим взглядом. Ему никто не ответил.

– Ну что ж, товарищи женщины! – весело сказал он. – Давайте на воскресник. Слыхали, как наши их? И мы тут тоже не подведем, по-гвардейски чтоб!



— Господи, хоть бы вернулся, — сказала та самая женщина, которая говорила, что «силов нету». — Хоть какой, без рук, без ног, лишь бы вернулся.

И столько было тоски и боли в ее голосе, что все невольно посмотрели на нее.

— Он где у тебя, на каком? — спросил директор.

— На 1-м Белорусском.

— Значит, это не он. Это — 2-й Украинский.

— Кузнец же вон — ничего, работает, а без ног, — продолжала, как бы сама с собой говоря, женщина. — У Марины муж в госпитале, без руки. Ну и что! Главное — живой!

— Вернутся, вернутся наши мужья, — сказала Клава. — Не всех убивают. А чтоб скорее вернулись, нам надо дорогу чистить и бревна вывозить, — твердо закончила она и первой пошла на выход. За ней жена директора и Дарья.

Надо было расчистить дорогу на открытом месте, где гулял на свободе ветер. Встали по два человека в ряд и начали. Забеленные снегом фигуры порою совсем скрывались в метели. Впереди пробивались Суптеля и Леха.

— Мы забойщики! — крикнул Леха. — Как в шахте. А вы отвальщики.

Пурга совсем озверела, рвала и метала со всех сторон. Половина работы шла впустую. Только расчищали участок дороги, как его начинало заносить. Но упорство людей было сильнее вьюги. Они шли как в атаку, как те, кто окружил Корсунь-Шевченковский котел. Вася был весь мокрый, но темпа не сбавлял, а даже, наоборот, все увереннее и ожесточеннее становились его движения. И все вокруг него работали как черти. Азарт работы захватил Васю, и он старался изо всех сил. Наши на фронте побеждают, неужели они здесь не могут? Когда Васе выпадало быть «забойщиком», он чувствовал себя солдатом, поднявшимся в атаку. Яростно и весело рубил он лопатой слежавшийся снег на куски, подхватывал их и бросал. Он не обращал внимания на снежную крупку, что била ему в лицо, попадала за шиворот распахнутого от жары полушубка.

Он работал в каком-то радостном и ожесточенно-веселом запале. От него валил пар. Ему уже несколько раз предлагали

смениться с «забойщиков», но он отказывался и до тех пор врубался в снежную стену, пока его не оттолкнули.

– Черт бешеный, загонишь себя! – крикнул с веселой озверелостью Леха.

Сердце от напряжения колотилось где-то в горле, ноги дрожали, но руки были легкими и сильными и просили работы. Вася стоял и улыбался. Он видел вокруг веселых и азартных людей. Ого, выше человеческого роста пробили они в этих сугробах траншею. А рассвет еще не наступил, еще было рано.

Пурга ослабла.

Ярко горел костер на расчищенной дороге. Столб пламени с гудением высоко поднимался в темное небо, и по синему снегу бежали розовые блики... У костра чернели фигуры, высвечивая красными лицами.

– Иди, погрейся! – крикнул кто-то, кажется, Фрося, и Вася пошел к костру, улыбаясь от переполнявших его чувств. «Как на фронте, – мелькнула мысль, – один за всех и все за одного».

Перекурив и отогрев пальцы, Вася снова кинулся как врукопашную, снова яростно и победно врубался в снег и удивился, когда дорога вошла в лес.

– Все, что ль? – недоуменно спросил он.

– Не наработался? – откликнулся Андрей. – Ломись вон на сопку.

В лесу было тихо, ветер сюда не доставал – прикрывала сопка. И только теперь Вася заметил, что наступает рассвет.

Необдутые снега лежали как синий сахар, в иголочном куржаке цепенели деревья, верхушки их слабо проступали на синем утреннем небе. Все кругом было сине, призрачно, заколдованно. Неясной, расплывчатой громадой чернела впереди глубина леса, а позади светились два-три поселочных огонька.

И тишина, как во сне.

Будто и не было пурги. Казалось, пошевелись, тронь эту тишину – и рассыплется, исчезнет синяя зимняя сказка.

Вася, стоя перед этой вдруг увиденной красотой холодного утра, почувствовал, как задрожало в нем что-то от восторга и любви ко всему, что окружало его сейчас: и к этому



заколдованному лесу, и к раннему небу, и к этим синим снегам, и к людям, что были рядом.

Чтобы добраться до штабелей, понадобился еще час. Наконец, разгребли дорогу к ним и пошли к костру ждать трактор. Но вместо него появился директор с двумя подводами.

— Родные мои, трактора не будет. — Он с трудом вылез из розвальней. — Звонили из района. Так что будем вывозить на лошадях. И грузить самим.

— От такой работы у мужика кила вылезет, не то что у нас, — заявила Фрося.

— Война кончится — всех в санаторий отправлю, на юг, там вправят, — пообещал директор. — А сейчас поднатужиться надо, бабоньки.

Жена директора первой пошла к ближайшему штабелю. Директор проводил ее взглядом.

— Подгоняйте, — махнул он возчиком. Дарья тронула своего овра, за ней тетя Нюра.

— Давай, давай, Даша! — уже кричала Фрося со штабеля. — Шевелись!

— Тетя Нюра, давай к нам! — горлопанил Леха с верхушки другого штабеля. — Мы твой воз по-стахановски, в момент нагрузим!

Странная была погода. Рано утром вьюга завывала, когда стало светать, утихла, а среди дня вдруг напозд откуда-то туман. Лес все больше и больше покрывался куржаком и как бы размазывался в белом облаке. Заиндевелые лошадки стояли будто призрачные, туманно вырисовываясь в молочной мгле. В пяти шагах уже ничего не было видно. Брови и ресницы заиндевели, одежда покрылась снежным бусом, и все стали похожи на сказочных лесных людей.

— Помогите! — раздался крик Дарьи.

Вася, который в это время с Лехой и Клавой сталкивал очередное бревно со штабеля, увидел, что воз Дарьи, уже нагруженный, опрокинулся и увяз в снегу. Лошадь лежала в сугробе на боку.

— Но-о, милая, но-о! — просила Дарья кобылу. — Ну, поднатужься, поднатужься! Хлебушка дам, как домой придем.

Суптеля, Андрей и женщины окружили воз и под команду старшины поставили его на полозья. Но сама лошадь никак не могла подняться.

– Ну-у, да ну же! – тянул ее за узду Андрей.

Лошаденка собирала последние силы, дрожала от напряжения, но оставалась на месте. Андрей вдруг ударил ее по храпу валенком.

– Вставай ты, скотина безрогая!

Лошадь сделала отчаянную попытку подняться, забила ногами, но только еще глубже ушла в рыхлый, перемолотый снег. Андрей занес было еще раз ногу, как к нему подскочила Фрося.

– Не смей бить животину, не смей! – с бешенством заорала она и толкнула Андрея в грудь. Он чуть не упал, отступил на два шага. – Тебя бы самого так! По морде! По красной! – наседала на него разъяренная Фрося.

Заметив, как глядит на эту сцену Клава, Вася почему-то подумал, что не только из-за лошади напала Фрося на Андрея.

– Привык руки распускать! – все еще не остыла она. – А ну вали отсюда!

Андрей растерянно отступил, проворчав:

– Лечиться надо, ненормальная.

Суптеля и Дарья распрягли лошадь и помогли ей встать. Она сапко дышала, тяжело опустив голову к дрожащим коленям. В груди у нее что-то kloкотало и хрипело. Пар валил из ноздрей, ресницы и волоски на храпе обледенели.

– Запрягай не запрягай – не потянет она. – Дарья погладила лошадь по морде.

Клава слезла со штабеля, подошла к возу и сказала:

– Давай скинем малость и сами повезем.

– Да ты что! – воскликнула Фрося. – Животы надорвем, рожать не будем.

– Ну ты-то с этим уже справилась, – сказала Клава и первой взялась за бревно.

Скинули половину.

– А ну, бабоньки, впрягайся! – сказала Клава.

Женщины, как муравьи, впились в оглобли и стали дергать вразнобой.

– Стойте! – заорал Леха. – Под команду надо. Андрей, ты самый сильный, давай за коренника, а мы пристяжными.

Андрей молча встал в оглобли. С одного бока взяли Суптеля и Леха, с другого – Дарья, Вася и Клава. Остальные тоже вцепились сзади и с боков воза.

– На полубаке, слушай мою команду! – заорал Леха – Раз-два, взяли!

Все поднатужились и сдвинули воз с места. Дальше дело пошло легче.

– Идет, идет, иде-ет! – не закрывал рта Леха. – Эх, мои дорогие – золотые, роденькие! Как работу кончим, берите меня, кто хочет. Терзайте. Не жалко. Меня много, на всех хватит.

Дарья глянула на него, и Леха прикусил язык. И что совсем уж было непохоже на него – извинительно улынулся.

За возом неверной походкой шла лошадь и тоскливо смотрела на людей.

Работали до темноты.

Домой Вася еле дошел. Не поужинав, уснул мертвым сном.

Во сне его били. Он пытался бежать, но ноги в свинцовых галошах не двигались, и его били смертным боем. Он все же вырвался от злодеев и побежал-полетел. Летел вверх, ударяясь о торчащие со всех сторон бревна, и знал, что сейчас ударится об лед иллюминатором – и тогда крышка, деревянный бушлат. Вася закричал и проснулся. Облегченно вздохнул, пошевелился и застонал. Мучительно ныла, мозжила каждая косточка тела. Боль, будто жилы вытягивают. Спину и шею ломило – не разогнуть.

– Ну как? – усмехнулся Суптеля. Старшина сидел на табуретке с бледным лицом, а Леха перебинтовывал ему ногу выше колена.

– Ничего, – ответил Вася и с трудом, стараясь не показывать вида, что больно, сел на кровати.

– Ну-ну, – понимающе кивнул Суптеля и поморщился. – А у меня рана открылась.

– Не надо было впрягаться, – проворчал Леха. – Без тебя бы управились.

– Это верно. Только как бы я тебе в глаза после этого смотрел. Боюсь, что негож я теперь для водолазной работы.

– Куда с такой раной, – сказал Леха, закончив перевязку. – Тебе к фельдшерице надо сходить, у нее там всякие примочки есть.

– Схожу.

Леха поднялся, охнул, схватился за спину.

– Ну науродовались мы вчера, будь здоровчик! Как это бабы терпят! Двужильные они, что ли?

– Трех, – сказал Суптеля.

– Точно, – согласился Леха.

– Сегодня станцию будем приводить в порядок, – объявил Суптеля, закуривая. – Помпу переберем, шланги промоем, потом в баню пойдем. Директор вчера сказал, что баня будет работать.

– Вот это добро! – обрадовался Леха. – Вчера наповал ухай-дакались, попариться надо.

После недельной вьюги стоял тихий безветренный день. Матовый снег озера, молчаливый лес, даль низкого горизонта сливались с белесым небом, поглощали звуки, и казалось, все было погружено в спячку, в белый зимний покой.

Это был один из тех теплых редких дней, какими природа вдруг одаривает среди зимы, напоминая о далекой еще весне.

С горки каталась на санках ватага поселковых ребятишек, довольных, что можно вдоволь набегаться и наиграться после вьюги, и даже лошадь, всю зиму проходившая опустив голову, сейчас шла, чутко прядая ушами и шумно раздувая ноздри, чужая в теплом воздухе с юга отдаленное напоминание о солнце, о весеннем раздолье и молодой зеленой траве. Сани легко скользили по волглому снегу. За санями шли Дарья с Клавой, позади женщин – Вася. Они везли из кузницы помпу, к которой безногий кузнец приклепал штуцер для соединения шланга с помпой и сварил кузнечной сваркой лопнувший на морозе маховик. Андрей, погрузив помпу на сани, сразу же поспешил зачем-то

в контору, а Вася, Дарья и догнавшая их по дороге Клава шли теперь за санями.

Вася оглядывал занесенные снегом избы, черную железную трубу заводика, заозерную даль и уже не испытывал того тягостного чувства, какое охватило его, когда он впервые увидел этот поселок. Все уже было знакомым, привычным для глаза и милым сердцу. Он знал жителей поселка, и его знали, со всеми здоровался, и с ним тоже. Знал, что Тоня, как и он, ждет наступления вечера, чтобы снова стоять у крыльца, и от этого на душе было радостно и тревожно.

— Гляди, Клава, русак, — вдруг услышал Вася веселый голос Дарьи и тотчас увидел возле высокого пня со снежной шапкой набекрень белого зайца. Раскос и безбоязненно поглядев на людей и пошевелив длинными стоячими ушами, русак неторопливо поскакал в лес, смешно вскидывая короткохвостый зад и проваливаясь в сугробы. И все они: Дарья, Клава и Вася — заулыбались.

Клава вздохнула вдруг и сказала:

— Мы с Алешей в последнюю зиму перед войной к свекрови ездили. Алеша ружье взял. И вот едем в санях по лесу, вдруг такой же русак на дорогу выскочил и сел. Алеша с одного раза попал. Последний раз тогда поохотился. А из шкурки сшил мне рукавички. Так и лежат теперь, зарок дала — не надевать, покуда не вернется...

Долго шли молча, слышно было только, как негромко шуршали полозья по неукатанной дороге.

— Ты прости меня, Клава, — нарушила затянувшееся молчанье Дарья. — Я все спросить хочу: как у тебя с Семеном?

— Сама не знаю, — вздохнула Клава и, помолчав, сказала:

— Боюсь я этого, а сердцу не прикажешь. Тянет — и все.

— Ну и дай-то бог, Клава. Человек он серьезный, надежный.

— Не знаю, что и делать, — доверительно созналась Клава. — Ума не приложу. Ты лучше скажи, как у тебя?

— Вот посоветоваться хочу, — задумчиво ответила Дарья.

— Чего ж тебе советовать. Коль полюбила, люби. Ждать тебе некого, а о том хлюсте чего тебе думать.



– Я и не думаю, но ведь Юрка у меня.

– Коль полюбит, то ребенок не помеха. Парень он хороший, на вид только пустой.

– Хороший, – протяжно согласилась Дарья, и Вася, к удивлению своему, обнаружил, что голос у Дарьи певуч и мягок, исчезла постоянная хрипотца заядлого курильщика, да и не курит вроде бы она в последнее время.

– Забывать Алешу стала, – вдруг сказала Клава. – Как сквозь туман вижу. Силюсь, силюсь вспомнить – и никак. А родинку помню. Родинка у него на плече. Махонькая такая...

– Чего уж теперь, – сказала Дарья.

– Так... помню...

Женщины замолчали. Въехали в поселок.

– Ну, пошла я, – грустно сказала Клава и свернула в контору.

Вася с Дарьей привезли помпу в сарай. Водолазы сгрузили ее с саней и затащили в тепло. Суптеля, осмотрев помпу, остался доволен кузнечной работой, похвалил, а Вася вспомнил молодого еще, но уже с бородой кузнеца, вспомнил, как кузнец, сидя на высоком сиденье, цепкими и сильными руками поднимал кувалду и опускал ее на раскаленный в горне кусок железа и как плющился этот кусок на наковальне. Вспомнил мальчишку, подручного кузнеца, с маленьким молоточком в руках, и как дружно и складно шла у них работа, и как подмигивал кузнец Дарье и кидал шутки, и как Дарья отвечала ему, и было видно, что они добрые знакомые и уважают друг друга.

К вечеру снова заметелило. Вася и Андрей шли по узкой, занесенной снегом тропинке, поминутно проваливаясь в сугробы. Когда вышли на открытое место, к озеру, в лицо свирепо ударил гуляющий на свободе ветер. Согнувшись в три погибели, проклиная погоду, торопились быстрее дойти до сарая, где раскаленная железная печка.

Внезапно Андрей остановился, Вася налетел на него сзади. Андрей внимательно глядел на открытый пустырь, туда, где были майны на озере.

– Что это там? – недоуменно спросил он.

Вася тоже увидел, что возле майны чернеет какая-то маленькая фигурка. Ни Суптеля, ни Леха там быть не могли — делать нечего. Они чинили в сарае водолазные рубахи и перебирали помпу.

— Пойдем посмотрим. — Андрей направился к майнам. Вася за ним.

Они остолбенели, когда увидели, что это Митька, сын тети Нюры.

— Ты чего тут делаешь? — спросил Андрей.

Митька сопел, прятал лицо в большой материнский платок, поверх которого была напялена шапка, и молчал.

И тут матросы увидели, что в майну опущены два самодельных удилища.

— Ты что, рыбачишь? — спросил Вася.

Митька кивнул, еще больше съеживаясь в материнской телогрейке.

— И ловится?

— Не-е, — разочарованно протянул Митька.

Андрей и Вася поглядели на лески. Одна была из черной обледенелой нитки и плавала на поверхности, другая — из бечевки.

— На что рыбачишь? — спросил Андрей.

— Кушать.

— Я не про то. На что ловишь — на хлеб, на муху?

Митька молчал. Видно было, что этот вопрос для него темный лес.

Андрей выдернул первую удочку. На нитке болтался большой самодельный крючок из толстой проволоки, без наживки и слабо загнутый. Вася выдернул вторую леску. На бечевке совсем не было никакого крючка.

Матросы смотрели на посиневшего мальчишку, на его худую одежку, на эти самодельные рыболовные снасти, и вдруг Андрей, распахнув свой полушубок, схватил Митьку в беремя, прижал к себе и рысью побежал к сараю.

Через несколько минут Митька сидел перед раскрытой дверцей жарко пылающей «буржуйки» в полушубке старшины и прихлебывал из кружки кипятка. Суптеля, присев на корточки,

растирал ему спиртом пальцы на ногах и руках. Леха стоял рядом и говорил:

– Тебе, кореш, вовнутрь принять надо, граммов так двадцать пять. Это было бы дело. А то дядя Сема кипяточком тебя потчует – не тот коленкор.

– Погоди ты, – отмахнулся Суптеля от Лехи. – Как же это ты, хлопец? Ты ж замерзнуть мог, если бы не дядя Андрей. Ты чего хотел поймать?

– Трешку.

– Трёшку! – округлил глаза Леха. – Какую трёшку в майне?

– Треску, а не трёшку, – сказал Вася. – Он же букву «с» не выговаривает.

– Да она же здесь не ловится, Митька, – сказал Леха. – Тут никакой рыбы нету – озеро гнилое. И на удочку треску не поймашь, а без крючка и подавно.

– А дядя Шема говорил – ловитшня, – стоял на своем Митька и глядел на старшину.

– Чудак-человек! – улыбнулся Суптеля. – Я тебе про Баренцево море говорил, там треску на кораблях ловят, сетями. Корабли большие, больше этого сарая. А ты на пустую нитку хочешь поймать.

– Соображать, Митька, надо, – сказал Леха. – Ты уже большой. Вон, ноги какие отросли. Вырастешь – сорок шестой растоптанный носить будешь. Пришел бы к нам, сказал бы, так и так, мол, рыба нужна. Мы бы тебе отвалили целую, у нас еще есть в запасе, а дома сказал бы – поймал.

– Учи, учи врать, – недовольно буркнул Андрей. – Пацан же за правду все принимает. Замерз бы – вот была бы треска.

Вася подумал, что ведь Митька отправился на рыбалку после того, как на днях Суптеля рассказал о том, как до войны ловил в Баренцевом море треску, когда работал в траловом флоте, и какие были уловы, какие рыбины попадались – целую артель одной накормить можно. Засело Митьке это в голове, и отправился он на озеро промышлять, чтобы накормить семью и на зиму запастись.

– Ну, шабашим, – сказал Суптеля, – в баню надо успеть.

– Валяйте, я сейчас, – сказал Леха. – Вот доклею рубаху.

Все уже сидели за столом и только хотели приняться за еду, как ввалился Леха и с порога заорал:

– Эй-ей, без меня!

Он бросил обледенелый и начисто исхлестанный веник под порог, быстренько стал раздеваться.

– Неужто сам весь измочалил? – удивился Суптеля, зная, что в баню Леха позаимствовал у тети Ньюры совершенно свеженький веник.

– Ну а кто ж! – самодовольно ответил Леха, румяный, распаренный, с заиндевельными ресницами и усами – молодец, любо поглядеть.

– А может, бабочки вернулись, помогли, – намекнул директор. – Весь поселок гудит.

– Весь?! – радостно удивился Леха.

– А ты думал! – усмехнулся директор. – Сарафанная почта – она быстрее полковой рации.

– Пускай, – беззаботно сказал Леха, подходя к столу и потирая руки. На столе лежала фляжка со спиртом. – Зато я какие картинки видел! – Леха расцвел. – Тонька – тонюсенькая такая, просвечивает аж вся! – а туте вот сыроежки-грузочки пробиваются. Прикрылась, как взрослая, крест-накрест руками и глазки на меня выставила, будто я ее съем.

Леха кинул взгляд на Васю, так просто кинул, а Вася покраснел до самых корней волос, а чего покраснел, и сам не знал.

– А у Фроськи!.. – Леха закатил глаза от восторга. – Как булки сладные. Розовые. И вообще формы! Что тут, что тут!

Леха показал, где именно.

– Это они тебя веником? – подковырнул хмурый Андрей, как только Леха начал расписывать Фросю.

– Нет, Дарья. Налетела, как фашист, из парилки выскочила.

А случилось с ним вот что.

Остался он доклеивать свою водолазную рубаху в сарае, а Суптеля, Вася, Андрей и Митька пошли домой. По дороге им сказали, что готова баня. На весь поселок она была одна. Сначала мылась мужская часть населения, самая



немногочисленная, а без матросов вообще — раз-два и обчелся, а потом женская.

Когда Леха пришел домой, он понял, что все ушли в баню. Он побежал туда, не ведая, что уже опоздал. По разбросанной одежде в холодном предбаннике трудно было определить, кто моется. На лавках лежали телогрейки, стеганные ватные штаны, шапки, кирзовые сапоги и валенки. Все это носили в войну и мужчины и женщины. Поеживаясь от холода и радостно вздрагивая от предчувствия блаженного тепла парилки, с новым веничком под мышкой Леха вломился в мойку. Радостно игогокнув от охватившего тепла и пара, он на полусогнутых проехал по скользкому полу в самую середину моющихся. Поначалу он не понял, что к чему, и только истощный девичий визг заставил его оторопеть. И тут будто пелена спала — ему в глаза брызнуло бело-розовым молодым телом, и у Лехи аж сердце зашло от восторга. Обалдевший, стоял он в самой гуще молодых и, прикрываясь веничком, озирался. Сколько бы это продолжалось, неизвестно. Но когда Фрося отчаянно-смело пошла на него крепкой грудью (на которую Леха было засмотрелся) и окатила его полным ушатом ледяной воды, Леха начал планомерное отступление на прежние позиции. Но надо отдать справедливость, отступал он с достоинством, не спеша. И лишь только когда на шум из парилки выскочила Дарья и начала крестить его горячим веником, Лехе пришлось увеличить темп отступления, и вылетел он из мойки, как снаряд из пушки. Вслед ему неся хохот и шутейный бабий крик. Но Леха не был бы Лехой, если бы и сам не хохотал и если бы еще раз не попытался взглянуть хоть впологлазика на это женское великолепие. Он снова сунулся в мойку и тут же получил увесистый удар веником по физиономии — пришлось ретироваться окончательно. Но, несмотря на поспешность отступления, Леха все же смекнул, что Дарья, пожалуй, не так уж бы яростно обивала об него веник, не стой рядом с ним во всей красе бедовая Фроська. Когда Леха это понял, то самодовольная улыбка появилась на его лице. Продолжая ухмыляться, Леха натянул на себя одежду и выскочил на улицу.

Вот почему и мылся он в тот день самым последним, когда женщины уже покинули баню, вот почему он только что вернулся к ужину, но вернулся, надо сказать, вовремя. Как раз к ста наркомовским граммам, положенным водолазам каждый день.

Рассказывая о банном происшествии, Леха улыбался до самых ушей и привирал безбожно. Дошел было до описания Клары, но тут Суптеля резко его оборвал.

По голосу старшины Леха понял, что пора кончать банные картинки и разговор лучше перенести на другое время, когда не будет старшины и можно будет поярче расписать местных молодух.

Выпили, со вкусом крякнули, по-молодому заработали челюстями. Вася тоже не отставал, хоть свои сто граммов, как всегда, отдал в общий котел. После второй закурили, и начался застольный разговор: воспоминания, анекдоты, быль и небыль. Но, как и всякий разговор захмелевших мужчин, он разбился на три этапа. Сначала, как водится, поговорили о мелочах жизни и работе, потом о политике и войне и, наконец, о женщинах.

После третьей все говорили о них, кроме Васи, потрясенного сообщением Лехи, что у Тони на положенном месте пробиваются «сыроежки-груздочки».

— А ведь не за горами Восьмое марта, — сказал вдруг директор. — Отметить бы надо. Заслужили. — Посерьезнел лицом, докуривая сигарку и, прищуря глаз от дыма, обвел взглядом водолазов, с горечью сказал:

— Везут как лошади, сами видите. Лошадь не выдерживает, а они терпят. Всю Россию на плечах везут. Им после войны в Москве, на Красной площади памятник поставить надо, самый главный памятник в России. Вот какие бабы!

— Да уж бабы... — усмехнулся Андрей.

— Знаю, — нахмурился директор. — Знаю, что ты хочешь сказать. Есть, конечно, слабость по этому вопросу, а вы пользуетесь. Ты вот что, старшина, — строго обратился к Суптеле директор. — Ты своих жеребчиков зануздай. А то вон у тебя даже самый малый и тот на любовном фронте уши обморозил.

Вася вспыхнул, а Леха заржал. Директор хмуро посмотрел на него.

— Ну а ты бугай. Это я сразу раскусил.

— Никакой он не бугай, — насмешливо сказал Андрей. — Телок он вроде Васьки, от Дарьиной юбки ни на шаг.

— Может быть, — почему-то сразу согласился директор и переключился на Андрея:

— А вот тебя я никак понять не могу. И молчишь все.

— А чего зря языком трепать.

— Это верно, конечно. Зря трепать не след. В общем, такая установка. Баловства я не допущу. Вы приехали — уехали, а мне оставаться. Я заместо пастуха здесь. А главное, — голос его стал глух и тяжел, — главное, там, на фронте, мужики им верят. А на фронте важно знать, что тыл твой не подведет. Я про вдов не говорю, если все честь по чести. А вот солдаток не трогать! Мужик воюет, а ему нож в спину!

Директор глубоко затянулся и почему-то внимательно посмотрел на старшину.

— А баба, что ж, она баба и есть. Существо слабое, ласку любит, ее приголубь — она и растает. В этом вопросе все дело в мужике. Если он человек, то и баба возле него человек, не позволит лишнего. А если он скотина, то и она...

Суптеля слушал с серьезным видом. Васе почему-то казалось, что между директором и старшиной идет сейчас скрытый разговор, хотя и говорил один директор, и что оба они отлично понимают, о чем идет речь.

— Ну ладно. — Директор встал. — Спасибо за хлеб, за соль. Идти надо, а то жена кинется искать. — Усмехнулся. — Еще подумает — завалился к какой. Завтра, значит, переходим на новое место, так, Семен Григорьевич?

— Да, Иван Игнатьевич, — ответил Суптеля. — С утра майны рубим, а с обеда начнем таскать бревна.

Вася читал, что есть меч-рыба, которая может пронзить насквозь длинным острым носом; есть пила-рыба, у которой нос как отлично отточенная ножовка, есть акулы, коварные, кровожадные, нападающие на человека. Он знал, что здесь, в этом озере, их нет, они обитатели тропических морей. Но кто знает доподлинно, что здесь они не водятся? А вдруг! Пусть даже их



нет, но ведь есть еще неизвестные и неисследованные морские чудовища, змеи там всякие, спруты гигантские и прочая чертовщина.

Надевая толстый шерстяной свитер, теплые ватные штаны, шубники — чулки из овчины мехом внутрь, Вася думал, что вот даже на Рябиновом озере, дома, на Алтае, была щука такая огромная, такая старая, что обросла мхом и таскала утят, а у одной женщины, говорят, стащила младенца с берега, пока та полоскала белье. Уж если щуки такие есть, то чего говорить о спрутах, например.

Почему именно спруты больше всего волновали Васю, он и сам толком не знал. Может быть, потому, что он хорошо запомнил картинку из книги Жюль Верна «Восемьдесят тысяч километров под водой» про капитана Немо. На той картинке спрут запустил свои гигантские щупальца в подводную лодку и весь экипаж отбивается, а один человек уже поднят и задыхается в смертельных объятиях чудовища...

Все это проносилось в голове Васи, а между тем его одевали в водолазный скафандр. Под веселую команду Лехи: «Раз, два, три!» — четверо (сам Леха, Фрося, Суптеля и Дарья) дружно растянули с четырех сторон резиновый ворот водолазной рубахи и надернули ее Васе по самое горло. Смешанный запах резины, клея, сырого нутра рубахи, не успевшей просохнуть, и спирта, которым протерт фланец, ударил Васе в нос. Вдыхая этот знакомый и ненавистный запах, Вася продолжал думать о том, что ждет его под водой. А ноги его обували уже в водолазные галоши со свинцовой подошвой — по шестнадцать килограммов каждая — и затягивали их плетенками. Надели на плечи металлическую манишку. Потом Леха и Суптеля подняли двухпудовые груза и прикрепили их к манишке — и на плечи сразу надавила тяжесть. Васю стало гнуть к земле.

Пока обряжали в подводные доспехи, Васю била нервная дрожь, и он никак не мог ее скрыть. Суптеля тихо, чтобы никто не слышал, сказал:

— Не дрейфь, ничего страшного нету. Я тоже поначалу вот так же. Потом прошло.

И Вася был благодарен старшине за сочувствие. Леха залестнул на поясе пеньковый конец сигнала (так называют его водолазы), подмигнул:

— Это чтоб ты не убежал. — И крикнул в дверь сарая: — Даша, подгоняй рысака, выводим их благородие, знаменитого водолаза, покорителя океанских глубин, Василия свет батьковича!

Дарья возила на розвальнях от сарая, где одевали водолазов, к майне и обратно и самого водолаза в скафандре, и водолазную помпу со шлангом.

Вася, еле отрывая от пола ноги, закованные в свинцовые галоши, направился к саням. Он лег на них, прислонившись к помпе спиной. Смотрел на серое, казавшееся сегодня особенно низким и хмурым небо, на черненький гребень леса, на облысевшую сопку, на огромный, уходящий к низкому горизонту пустырь, куда везли его, как на плаху, и на душе у него было так муторно, что он задохнулся от жалости к себе.

У майны, перед тем как надеть на него круглый металлический шлем, Суптеля еще раз шепнул:

— Ничего страшного, на фронте хуже. А ты же на фронт собираешься. Возьми себя в руки. Я на телефон сяду.

Это было очень хорошо, что сам старшина сядет на телефон. Когда на телефоне опытный специалист, он по интонации голоса, по дыханию водолаза может определить, что там, под водой, происходит с человеком, и вовремя оказать помощь.

Леха нахлобучил на Васю холодный металлический шлем, проворно затянул ключом гайки и, заглянув в передний иллюминатор, пропел подмигивая:

*Не плачь, Маруся, будешь ты моя,  
Я к тебе вернусь, возьму за себя...*

И заорал на помпу:

— Воздух!

В распределительный щиток шлема толчками пошел холодный воздух, будто кто большой задышал в затылок. Еще сильнее

запахло резиной и спиртом (шланг вчера промыли, чтобы в нем не возникало ледяных пробок на морозе).

— Как воздух? — спросил Леха, снова заглядывая в шлем.

— Хорош.

— Ну, все. Дыши глубже, не чихай.

Леха ловко закрутил передний иллюминатор, и Вася сразу почувствовал, как начало закладываться уши от давления воздуха, как стал раздуваться скафандр. Потравливая воздух через золотник (клапан в шлеме), Вася шагнул к черной майне, дымящейся морозным сизым паром, и остановился на самом ее краю. Трапа здесь не было, это не учебный отряд и не корабль, надо было прыгать «солдатиком». Леха шлепнул по шлему, что означало: «Пошел на грунт».

— Прыгай! — услышал Вася приказ старшины по телефону.

Вася замешкался: он никак не мог преодолеть страха перед глубиной, перед толщей воды, которая скроет его сейчас там, подо льдом, отделит от всего живого и привычного. Но надо было прыгать.

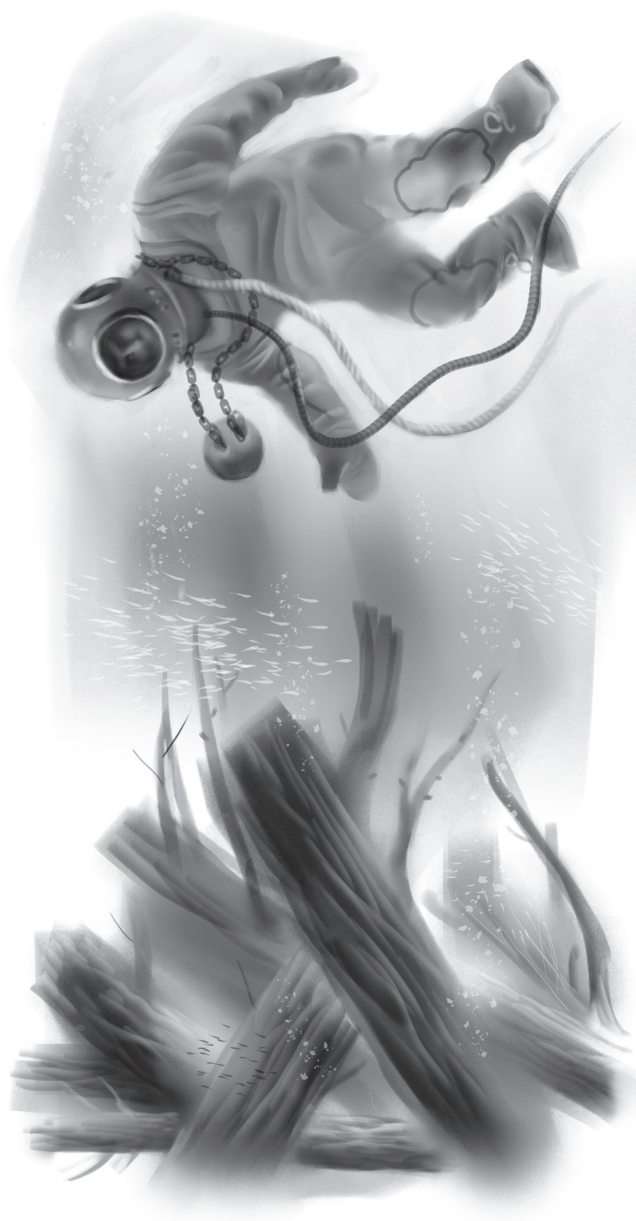
И Вася прыгнул.

Сразу же с головой ушел под воду, но раздутый скафандр, как плавак, выбросил его на поверхность. Вася забарахтался, стараясь, как учил его старшина, поджать под себя ноги, чтобы воздух не попал в нижнюю часть скафандра и чтобы не перевернуло вверх ногами — «сушить лапти».

— Трави, трави воздух! — услышал Вася приказание старшины.

Вася налег головой на золотник и жал его до тех пор, пока полностью не погрузился в зеленовато-коричневую воду.

Вася не первый раз шел под воду. На Байкале, в водолазной школе, ему все же дали определенный навык спусков. Но опыт был настолько мал, что начальник школы, провожая своих питомцев по флотам, честно сказал им: «Некогда было вас учить по-настоящему, время не то. Опыт будете приобретать по месту прохождения службы». Вот теперь здесь для Васи и было то самое «место прохождения службы», о котором говорил начальник водолазной школы. Но одно дело учебные спуски, когда под воду идешь по трапу, когда знаешь, что рядом с тобой



спускается тоже новичок и так же боится, как и ты, а наверху за тобой пристально следят, и вода, в которую спускаешься, самая прозрачная в мире — а именно такая вода в Байкале, — и совсем другое дело тут, когда спускаешься один, и вода — это не вода, а темно-коричневая мгла, и становится она все темнее и гуще, все таинственнее и страшнее. Вася уже не понимал, спускается он или, наоборот, поднимается, — такая крошечная мгла окружала его. Но все же чувствовал, что держится вертикально, а это пока для него самое главное.

— Все нормально, — услышал он голос старшины и обрадовался, что Суптеля следит за ним по манометру помпы, и по дышанию, и по пузырям, что выходят в майне.

Вася почувствовал легкий удар ногами и понял, что опустился на дно или встал на бревно. Теперь надо было осмотреться в этой коричневой темноте, перевести дух и собраться с мыслями.

— Чариков, чего молчишь? — спросил старшина. — На грунте?

— На грунте.

— Доложи, как следует! — приказал старшина, и Вася уловил в голосе Суптели жесткие командирские нотки. — Доложи ясно и четко!

— Есть! Нахожусь на грунте, самочувствие нормальное, видимость плохая.

— С места не двигайся, — сказал старшина, — глаза сейчас привыкнут. И первом делом посмотри над собой — не висит ничего?

— Есть осмотреться!

И оттого что он слышал спокойный голос старшины и так четко отвечал на его приказания, у Васи начал пропадать страх. На душе стало легче и даже радостно от мысли, что вот он, как настоящий водолаз, стоит себе на грунте и разговаривает как ни в чем не бывало.

Вася завертел головой, глядя то в левый, то в правый иллюминатор. Глаза действительно стали привыкать, и не такой уж эта темнота была черной, как показалось сначала. В этой темноте выделялась еще большей своей чернотой гора бревен, рядом с которой он, оказывается, стоял. Вася посмотрел вверх. Нет, над ним ничего не нависло. Козырек бревен под водой — самое

опасное. Вверху Вася видел мутный коричневато-зеленый свет майн, словно два окна в темной стене льда. Рассеянный свет из них слабо освещал черную гору бревен справа, густую темноту слева и еще что-то совершенно непонятное по очертаниям впереди. К окнам во льду летели пузырьки воздуха из золотника, улетали шустрой стайкой мелких серебристых рыбок, устремившихся наперегонки. И от этого Васе стало еще легче, и он усмехнулся своим недавним страхам.

– Чариков, осмотрелся? – спросил Суптеля.

– Осмотрелся! – бодро ответил Вася.

– Спускаем трос. Гляди.

Вася поднял глаза и увидел, как в левом окне возникла тень и стала удлиняться, пока не превратилась в черную змею, спускающуюся прямо на Васю. Цепь колыхалась и от этого еще больше походила на живую змею. Этой цепью Вася должен стропить бревна. Она прикреплена к тросу, а трос к барабану лебедки. Цепь беззвучно опустилась к ногам и покорно свернулась черным клубком, как прирученная факиром змея. Легкий дымок ила поднялся кверху, и Вася близко, за иллюминатором, разглядел всплывающие разлохмаченные волокна коры и еще какие-то хлопья.

Глаза Васи привыкли к темноте и довольно хорошо различали предметы вокруг, как будто все увеличивалось и увеличивалось освещение. Хаос, переплетение бревен, торчащих в разные стороны, как стволы пушек, производили мрачное впечатление. Все в черноте, в безмолвии и затаенной угрозе. И в сущности, ничего сейчас не связывает его с верхом. Нельзя же всерьез принимать пеньковый сигнал или шланг, ведь это просто два ненадежных нерва, которые очень легко оборвать. Вот появится что-нибудь такое (Вася не мог представить толком, что именно) из-за бревен – щелк зубами! – и все! С одного маху перекусит эти ниточки.

– Внимательно осмотришь, – раздался голос старшины. – Застрепливой только те, что сверху лежат.

Еще наверху старшина пояснил, что стропить бревна как попало нельзя, могут сорваться при подъеме. Дергать из кучи тоже нельзя – может произойти обвал, и тогда...

Вася взял цепь и стал обводить ею два бревна, лежащих на самом верху. Надо было просунуть цепь между бревнами, и для этого пришлось лечь плашмя. Вася уже совсем было охлестнул бревно, когда сделал неловкое движение, и воздух, который он держал в скафандре до пояса, мгновенно проник в ноги. Не успел Вася осознать до конца, что произошло, почему вдруг его ноги стали задирааться вверх, как уже висел вниз головой. Шланг зацепился за одно из бревен. Поначалу Васе показалось, что он летит вверх, и он со сжавшимся сердцем ждал удара об лед. Где-то в сознании мелькнула мысль: «Только бы не иллюминатором!» Стекло от удара могло лопнуть или вылететь из зажимов. И он ужаснулся этой мысли.

– Что там у тебя? – спросил старшина. – Чего задышал?

– Перевернуло.

– Зацепился?

– Ага.

– Подожди ноги, стравливай воздух! Падай на бревна и отцепляй шланг.

– Ага.

– Не «ага», а «есть»! – строго сказал Суптеля.

– Есть!

Вася висел в толще воды, как поплавок, вверх ногами, и кровь прилиwała к голове. Он напрягался, пробовал поджимать ноги под себя, но скафандр, раздутый воздухом, не подчинялся.

– Ну что? – тревожился наверху Суптеля.

– Не могу. Сил не хватает.

Наверху секундное молчание, и снова голос старшины:

– Слушай меня внимательно. Сейчас перестанем качать воздух, а ты стравливай свой до конца. Когда упадешь на грунт, цепляйся за какое-нибудь бревно. И сразу скажешь, что на грунте. Мы дадим воздух. Это всего минуту – ерунда. Не дрейфь. Все! Перестаем качать.

Шипение воздуха в шлеме стало тише, потом совсем прекратилось, будто тот, кто так шумно дышал все время в затылок, теперь выпустил дух. Гробовая тишина наступила в скафандре. Это самое страшное, когда под водой перестает поступать

воздух — жизнь. И Васю охватил ужас. Он отчаянным усилием вцепился в шланг и стал подтягиваться книзу, одновременно поджимая ноги и стравливая головой остаток воздуха через золотник в шлеме. Почувствовал, как начал падать.

— Падаю! — в страхе заорал он. Ему казалось, что он падает куда-то в бездну.

— Добро, добро, — спокойно сказал старшина, как будто речь шла о чем-то совершенно незначительном. — Как упадешь совсем, так скажешь.

Этот невозмутимый голос на миг принес успокоение. Но в золотник стала поступать вода. Бульканье и нехватка воздуха снова перепугали Васю. Не успел он крикнуть, как ударился обо что-то твердое. Перехватило дыхание.

— Воздуху! — заорал он осевшим от страха голосом.

— Даю. Держись, — все так же спокойно сказал старшина. — Крепче держись.

Не успел Вася сообразить, что значит «держись», как зашипело в шлеме и, обтекая горячие мокрые щеки, живительный воздух стал наполнять скафандр. О-о, никогда еще так не радовался Вася воздуху, простому воздуху, к которому все привыкли наверху и которого не замечают! Вася жадно, ненасытно хватал ртом пахнущую резиной и спиртом смесь и боялся нажать на золотник, чтобы стравить лишнее давление в скафандре. Здесь-то он и прозевал тот предел объема воздуха, который допустим в скафандре. Вспомнил об этом только тогда, когда его уже оторвало от грунта, и он полетел вверх, как пробка из бутылки шампанского. Вася яростно нажал головой на золотник, но было уже поздно. Он летел все стремительнее и стремительнее, чувствуя, как все больше и больше раздувается скафандр.

Удар об лед пришелся спиной, грузами. В ушах зазвенело, в глазах пошли круги, и Вася почувствовал, как с силой его тащит подо льдом к майне, светящейся неподалеку.

Его вытащили на лед оглушенного, перепуганного, обалдевшего. Когда Леха открыл передний иллюминатор, из скафандра ударил воздух и водолазная рубаха из непомерно раздутой стала выпотрошенным мешком.



— Чего не травил воздух? — орал Леха. — Рубашка лопнула бы! С Васи сняли шлем.

— Ну, нет, хлопец. — Суптеля внимательно глядел на Васю. — Больше ты под воду не пойдешь. Отвечать за тебя! Дежурь да кашу вари.

— Хорошо не иллюминатором об лед, — сказал Леха. — Крышка бы, деревянный бушлат.

Вася не отвечал, он даже плохо слышал, что говорили ему (в ушах еще звенело от удара). Он думал о том, что никогда, ни за что не пойдет в воду. Хоть в штрафной батальон — не пойдет!

Восьмого марта в клубе был вечер. Женщины пришли наряженные и от этого похорошевшие.

Фрося с голубыми серьгами в ушах и в желтом платье, встряхивая белобрысыми кудряшками и посмеиваясь, говорила что-то Дарье и стреляла разноцветными глазами на матросов. Дарья, одетая в белую кофточку и черную прямую юбку, слушала молча, и с губ ее не сходила задумчивая улыбка. Васе казалось, что улыбается она совсем не словам подружки, а какой-то своей заветной думке, оттого и горят жаром ее щеки и удивительной синевой светятся глаза под темными дугами бровей. Поправляя каштановые волосы, гладко зачесанные назад и собранные в тугой тяжелый узел, она поглядела на Леху тягучим ожидающим взглядом, и Леха вдруг расцвел и подмигнул, но подмигнул не так, как всем подмигивал, а как-то особенно, и Дарья в ответ посветлела лицом.

Вася оглядывал клуб, полный поселчанок, искал Тоню, но ее почему-то не было. Вот уже директор с орденом Красной Звезды и медалями на гимнастерке открыл торжественное собрание, вот уже избран президиум, куда вошли Клава, Суптеля и тетя Нюра, вот уже директор начал свой доклад, а Тони все не было и не было.

Вася устроился на скамье между Лехой и Андреем. Впереди него сидела Фрося, которая все оборачивалась и шепталась с Дарьей, сидящей рядом с Лехой.

— Ты с кем Юрку-то оставила?

— К бабке Назарихе отнесла, — ответила Дарья. — А ты?  
— Деду Матвею сунула, — махнула рукой Фрося. — Он ее внучкой зовет.  
— У Дарьи знаешь какой пацан, — громко шепнул Леха Васе. — Хо-хо! Бандит. Два года, а бандит.  
— Ну, уж скажешь, — перебила его Дарья, но в голосе ее не было упрека.  
— А чего, парень что надо! Меня за палец тяпнул, — с восторгом продолжал Леха. — Я таких люблю.  
Дарья улыбалась горделиво и смущенно.  
— Глянь, глянь, Даша, — снова повернулась Фрося. — Парочка. Ей-бо, парочка! Сели, как под венец.

В президиуме, за столом, покрытым красной тканью, у всех на виду, будто напоказ, сидели рядом Клава и Суптеля. На них было любо-дорого посмотреть. Старшина плотный, с крупной головой и сильным разворотом плеч. Смуглое, с природным загаром, широкобровое решительное лицо и черные, еще не совсем отросшие после госпиталя волосы. Он был потомком запорожских казаков, и во всей фигуре, в южной красоте лица проступала отвага и сила его предков. Под стать ему была и Клава. Тоже темноволосая (чуть посветлее старшины), тоже чернобровая (будто по линейке проведены), с высокой стройной шеей, тяжелые волосы заплетены в толстую девичью косу. Она была из тех русских женщин, красота которых с годами не блекнет, а, наоборот, крепнет, набирает силу — они и в сорок и в пятьдесят выглядят тридцатилетними, выделяясь красотой, статью и сильным, ровным характером.

Закончив доклад о победах на фронте и в тылу, директор прочитал поздравительную телеграмму из города и свой приказ о премировании лучших работниц завода головными платками, отрезами ситца и фланели. Дарье вручили валенки, Фросе шаль. Многие получили флаконы тройного одеколona и пудру. Женщины радовались подаркам, как девчонки, на время забыв, что идет война, что дома ждут голодные ребятишки и что, может быть, сейчас где-то там, на фронте, умирает муж или брат. В клубе к запаху свежeweмытых и непросохших половиц примешался радостный довоенный запах счастливых вечеров.

Директор объявил, что будет выступать художественная самодеятельность. Фрося вскочила со скамейки и, одергивая платье, сказала Дарье:

– Ушивала в боках. Надела, а оно свободно. Похудела.

– Не приbedняйся, – ухмыльнулся Леха. – Есть за что взяться.

Фрося шутейно стукнула его по плечу и захохотала, стрелнув глазами на Васю.

Президиум освободил сцену и занял место на скамейках в зале. Суптеля сел рядом с Клавой, и это сразу было отмечено женщинами, и они зашептались со значением. Леха умчался за кулисы. Он был активным участником самодеятельности, больше всех суетился, организовывал что-то, о чем-то беспокоился.

Первой играла Дарья соло на трехрядке. Играла хорошо. Ей долго аплодировали, а она смущенно стояла, не зная, что делать – кланяться или нет. Потом под аккомпанемент Дарьи Фрося исполнила «Синенький скромный платочек» и «Темную ночь». Ей тоже горячо хлопали и кричали «бис!». И она запела веселую песенку «Вася-Василек». Пела, а сама смотрела на Васю, и все оглядывались на него и улыбались, а он готов был от смущения провалиться сквозь землю и очень обрадовался, когда Фросю сменил Леха. Под звуки трехрядки Леха плавно и важно выплыл на сцену – ни дать ни взять коломенская верста – и, пройдясь перед зрителями и бросая неотразимые улыбки в зал, вдруг рванул чечеточку. Он выкручивал такие фортели, откалывал такие коленца, что зал только восторженно ахал.

Его заставили повторить.

– Вот, черт, выкаблучивает! – восхищался директор. – Это по-нашему, по-гвардейски.

Леха разошелся, будто выплясывал себе невесту.

Потом завели граммофон, и зазвучало сентиментальное танго. Леха с Фросей исполнили показательный танец. Они плавно скользили по сцене. Леха то отодвигал на всю длину своих рук партнершу и томно смотрел ей в глаза, да так смотрел, что в зале замирали и ждали, что вот-вот Леха скажет любовные слова, то вдруг прижимал Фросю к себе в страстном порыве и делал стремительный поворот, и глаза его горели. Женщины в зале млели



от чувств и втайне завидовали Фросе, которая с видом бывалой актрисы подыгрывала Лехе.

Потом девушки, одетые в матросскую форму, под руководством Лехи станцевали «Яблочко», чем привели всех в неописуемый восторг.

Когда выступление самодеятельности закончилось, Клава пригласила дорогих гостей в другую комнату к столу. Там директор со стаканом в руке опять произнес речь:

– Дорогие товарищи женщины! Наша славная Красная Армия наносит гвардейские удары по врагу на фронте. А вы здесь, в героическом трудовом тылу, помогаете ей ковать победу над проклятым Гитлером. А врага бьют, сами знаете, и пулей и штыком. А еще и прикладом. А вы-то как раз и делаете заготовки для этих прикладов. А какая винтовка без приклада? Никакая, отвечаю. Значит, без вас бойцам на фронте не обойтись. Это, товарищи женщины, государственный вопрос...

Директор продолжал говорить, но Вася уже не слушал его, потому что сидящая против него за столом Фрося зашептала громко:

– Дашь, глянь, как она его стережет. Так и зыркает по сторонам.

Фрося показала глазами на жену директора, которая сидела с ним рядом, во главе стола, и настороженно оглядывала женщин, будто ждала нападения из-за угла.

– Все равно не углядела, – тихонько хохотнула Дарья.

– О-о, Глашка оторвала подметки на ходу! Неужто и впрямь не знает? Притворяется, поди. Весь поселок знает.

– Может, и не знает, – пожала плечами Дарья.

– Ну-у! – с сомнением протянула Фрося. – Наши бабы да не донесут. Не успеешь чихнуть, а уж говорят «будь здорова!». А тут такое дело!

Фрося наклонилась к Дарье и что-то зашептала ей на ухо.

– Пря-ям, – протянула Дарья и усмехнулась.

– О-о, – Фрося откинулась на стуле. – Нимало. Так я тебе и поверила.

– Да брось ты!

– Строишь из себя. Я ведь вижу – всерьез дело пошло. Глянь на себя – цветешь вся.

Дарья в этот вечер была неузнаваемо хороша. Сдерживаемая радость светилась в ее глазах. Даже голос ее изменился, напевным стал, пропала хрипотца. Таким становится человек, внезапно обретающий счастье.

Фрося стрельнула глазом на Васю и опять зашептала на ухо Дарье. Он почувствовал, что говорят о нем, и сидел как на иголках.

– ...За вас, дорогие товарищи женщины! – закончил свою речь директор и поднял стакан. – За победу!

Все чокнулись кружками и стаканами, и Вася тоже. Он впервые в жизни выпил стакан бражки. Она была вкусна и совсем не горька, а как крепкий холодный квас. Фрося и Дарья настояли, чтобы он выпил. Их поддержал Леха, а старшина был на другом конце стола с Клавой. И Вася постеснялся отказаться.

После второго стакана все вокруг стали хорошие и родные, и Вася всех их любил. Сначала было немножко грустно, что нет Тони, но потом он забыл о ней. А когда Дарья голосом звонким и высоким завела о том, как выходила на берег Катюша и как она берегла любовь, и когда женщины стройно и ладно подхватили песню, восторженное и радостное чувство наполнило сердце Васи и его прямо-таки стало приподымать со стула, чтобы сделать всем этим прекрасным людям что-нибудь доброе и хорошее. Кругом уже все пели, смеялись и громко переговаривались через стол.

– Глянь, – сказала Фрося Дарье и показала глазами на Андрея. – Уже к Люське примазывается. Надо шепнуть, а то он задурит девке голову.

Андрей весь вечер не отходил от рыженькой симпатичной девушки и, видать, говорил ей что-то очень приятное, потому что она все время улыбалась.

– Ты слыхала, как Люба поперла его?

– Нет, – Дарья приготовилась слушать.

– Сама рассказывала. Прилип провожать после клуба. Позвольте проводить, ах, вы мне нравитесь, ах, я такой одинокий –

начал «заливать Америку». Довел до крыльца, в дом просится, погреться. Впустила она его, чаю попили. Ну и начал он издалека, как бес туману напускает, и все про одиночество нажимает. Разжалобить чтоб, бабье сердце растопить. А потом пристал как с ножом к горлу. Глядит Люба — дело серьезный оборот принимает, в доме она одна, а он сильный, руки железные. Вырвалась кое-как, со стены карточку Гришину сдернула и, как иконой, отрещивается от него и такие слова говорит: «Вот гляди, это муж мой, Гриша. А ежели это ты был бы, и к твоей жене вот так бы приставали? Сладко бы тебе было?» Он и скис. А Люба ему говорит, иди, мол, к вдовам, им уже некому изменять, а меня не трожь. Я своего нареченного подожду, он у меня живой еще и крепкую надежду на меня имеет...

Завели граммофон, снова зазвучало танго, и Фрося потащила Васю танцевать.

— Держи, — шепнула она и сжала Васину руку.

— Держу, — мужественно сказал Вася.

— Смотри, — Фрося жарко сошлась с его грудью, — уронишь — не встану.

Вася улавливал какой-то потаенный смысл ее слов, и его бросало в жар, и в то же время у него распирало грудь от сознания, что с ним разговаривают как со взрослым.

— Даша, — попросила Клава, — заведи-ка нашу.

Дарья, тихо улыбаясь, взяла трехрядку и пробежала пальцами по перламутровым пуговицам ладов, и щемящая сердце музыка наполнила душу, а Клава сильным голосом запела о том, что «позарастали стежки-дорожки, где проходили милого ножки». Женщины подхватили, лица их погрустнели, глаза задумчиво глядели куда-то вдаль, в свою юность, в пору любви.

*Позарастали мохом-травой,  
Где мы гуляли, милый, с тобою...*

Директор, поглядывая на повлажневшие глаза женщин, забеспокоился. Он хотел, чтобы в этот день его работницы забыли, что они вдовы и одиноки, и чтоб хоть немного повеселились

и оттаяли душой, потому как завтра снова непосильная работа и тяжелая жизнь.

Директор вскочил, крикнул Дарье, чтоб она играла «Барыню», и топнул ногой, но тут же сел от боли. Но порыв его уже подхватила Клава и плавно пошла по кругу, поводя плечами в накинута платочке, все набирая частоту перебора ногами. Рослая, статная, с полуприкрытыми хмельными глазами, она приковывала внимание плавностью и силой раздольной русской пляски.

Директор улыбался и глядел на нее, как смотрят на свою любовь. Его толкнула в бок жена, и он хмуро отвел глаза. Жена директора срезала Клаву злым взглядом, а Клава победно повела бровью в ответ и с плясовой игривостью поглядела на Суптеля, вызывая его на круг. Старшина отказался, ссылаясь на свою раненую ногу, и вместе него лихо отплясал Леха.

Вася выпил еще стакан и танцевал с Дарьей, а потом с Фросей и еще с какой-то девушкой, крепко державшей его за плечо, и уже не знал, которая из них шептала, чтобы он проводил ее домой. Потом он выпил еще, и ему было очень весело, и все хотелось кого-то обнять. Остальное он помнил смутно: вроде бы пел Суптеля украинскую песню, вроде бы снова плясал Леха и вроде бы его, Васю, кто-то целовал...

Отрезвел он на морозе и обнаружил, что идет под руку с Фросей, и идут они уже через снежное поле.

— Иди, иди, миленький, иди, хорошенький, — говорила она ласково и вела его, поддерживая.

И он шел, плохо соображая, что с ним и куда его ведут.

— Ну, вот мы и пришли. Вот мой дворец.

Вася трезвел с каждой минутой, и ему было стыдно, что он так напился и, наверное, вел себя нехорошо. Он стал торопливо прощаться.

— Что ты, что ты. — Фрося держала его за рукав. — Зайди, погрейся, а то не добежишь обратно.

— Нет, я пойду.

— Зайди, зайди, а то опять уши обморозишь, — тихонько засмеялась Фрося.

Она уже сняла замок и открыла дверь в сенки.





— Заходи, — почему-то шепотом сказала Фрося. — И стой тут, а то ведро опрокинешь. Я закроюсь.

Она задвинула засов, нашарила Васину руку и сжала ее. Открыла дверь в избу.

— Входи, — тихо выдохнула она, и у Васи от этого шепота тревожно екнуло в груди. — Не споткнись, порожек высокий.

С бьющимся сердцем Вася шагнул в теплую тьму. Пахнуло угаром и вымытым полом. Фрося захлопнула дверь.

— Вот мы и дома. — Она потянула носом. — Печку рано закрыла. Но ничего. Я сейчас огонь вздую. Ты где?

Она наткнулась на него.

— Ой, вот ты где! Сейчас я... А может, не надо огня? Фрося подождала ответа и торопливо заговорила:

— Ты раздевайся, раздевайся, а то озяб, поди. Вон мороз-то какой! Как кипятком шпарит.

В замерзшее окно просачивался лунный свет, и Вася уже различал предметы. Фрося легко и бесшумно ходила по комнате, скинув шубейку и шаль, тряхнула волосами. Подошла к печке и, греясь, приложила к ней ладони, прислонилась всем телом и на какой-то миг замерла.

— Чего стоишь-то, раздевайся.

Фрося подошла к Васе и стала расстегивать шинель, руки их встретились.

— У-у, какие руки у тебя холодные. — Она погладила их. — Поди, сердце горячее?

Фрося вдруг схватила голову Васи ладонями и впилась в его рот сильными губами. Вася задохнулся и так стоял, боясь сдвинуться с места. Он ощутил горячую ее дрожь и вдруг начал дрожать сам. Почувствовал, как она обмякла и стала заваливаться на спину. Он схватил ее, боясь, что она упадет. Какое-то время Фрося продолжала прижимать его к себе, но неожиданно оттолкнула и с досадой сказала:

— Господи, телок какой!

— Я не телок, — хрипло сказал Вася и не узнал своего голоса.

— А чего же ты... — Вася почувствовал, как она напряглась, насторожилась. — Да ты, поди, еще... Погоди, сколько тебе лет?

– Семнадцать, – не посмел соврать Вася.

– Семнадцать! – поражено протянула Фрося. – Господи! Я думала, старше. Ой, а я-то... совсем угорела. Вот подлая, вот подлая!..

Она отошла к печке и прислонилась к ней щекою, ладошками, грудью. Вася стоял в полурасстегнутой шинели и не знал, что делать. И вдруг он услышал какие-то странные звуки: Фрося не то смеялась, не то плакала.

– Вы плачете? – робко спросил Вася. – Я вас обидел?

– Нет, Вася, – вздохнула Фрося. – Это я тебя чуть не обидела.

– Нет, что вы! – стал уверять он ее. – Вы меня не обидели.

Вася очень обрадовался, что вот она совсем и не обиделась на него. Фрося провела руками по своему лицу, вздохнула глубоко, будто вынырнула из омута, и сказала:

– Век бы себе не простила. Это бражка в голову ударила. Как угорела все равно. Ты скинь шинель-то, не бойся.

– Я пойду.

– Погрей хоть руки, вот печка.

Вася подошел к печке и прислонил ладони к теплой стенке. Фрося стояла рядом, тоже приложив руки к печке, и говорила ровным, уже спокойным голосом:

– Я ведь баба. Намного старше тебя, мне двадцать три. Я иной раз сама себя пугаюсь. Ты не осуждай.

– Нет, что вы, что вы! – искренне уверял Вася. – Вы хорошая.

– Хорошая, – усмехнулась Фрося. – Спасибо на слове.

– Ну, я пойду, – попросился Вася.

– Иди, Василек, иди. Да не говори никому, что у меня был.

Она заботливо повязала ему тесемки под подбородком.

– Лицо-то прикрывай, а то в поле ветер режет. Ты не сердчай на меня, ладно?

– Я не сердчаю, нет, вы не думайте.

– Ну, вот и хорошо. – Она легко поцеловала его в щеку. – Ох ты, господи, вот доля наша бабья. И когда эта война кончится! – вдруг вырвалось у нее с мучительным надрывом. – Ну, ступай, ступай!

Вася шел по полю и не замечал мороза. Впервые по-взрослому он осознал, как трудно женщинам одним, постиг, что война страшна и здесь в такие вот ночи.

Дома он застал старшину и директора, сидящих за столом. Оба встретили его внимательным взглядом.

– Жив? – спросил старшина.

– Жив, – смущенно ответил Вася.

– Тебе, парень, молоко пить покуда, – сказал директор. – Не привыкай к этому зелью. – Он кивнул на кружку. – И здоровью вред, и уму-разуму.

– Ложись спать, – приказал Суптеля, хмуро поглядывая на Васю.

– Ложусь, – покорно согласился Вася, понимая, что сейчас самое лучшее лечь спать: и старшина ругать не будет, и, наверное, он помешал им вести какой-то свой разговор.

Вася быстро разделся и юркнул в постель, отвернулся лицом к стене.

Думал, что как только ляжет, так уснет, но уснуть не мог. Перед глазами стояла темная комната, слышался прерывистый шепот Фроси, руки все еще чувствовали, помнили ее горячее тело, его тяжесть. И никак не проходило ощущение какой-то вины перед нею, а в чем вина, объяснить не мог.

Он слышал, как старшина и директор молча чокнулись алюминиевыми кружками, выпили и сочно закусили головкой лука.

– Умаялся, – с усмешкой в голосе сказал директор.

– Спит, – согласился Суптеля. – Салажонок еще совсем.

– Юнец-юнец, а к Фроське поперся.

– Она сама его повела.

– Сама не сама, а пошел, – стоял на своем директор. – Наш брат всегда так, это уж в крови. Вроде бы весь резон к одной идти, а идешь к другой. Ему вон к Тоньке надо было – уши морозить, а он к Фроське – в тепло.

Они помолчали, и в этом молчании Вася уловил, что думают они сейчас совсем не о нем.

– Понимаешь, комиссар она у меня, – вздохнул директор – я командир, а она комиссар. Когда надо баб поднять, она подымает. Вот тогда, на воскресник, она по домам ходила, по-бабьи, по-своему с ними поговорила – и пришли. Дай прикурю.

Вася услышал, как директор, шумно чмокая губами, прикуривает и глубоко затягивается махорочным дымом.

— Вот, — снова сказал он. — Первое — это комиссар. А теперь второе. Почему комиссар? Она беспартийная. Отвечаю. Потому что святая она. Да! Не таращь глаза. Святая. На нее бабы, как на божничку, молятся. Они из-за ее чистоты сами чистые ходят. Это понимать надо. Ежели она сейчас оплошает, коллектив весь рассыплется. А это на фронте отразится. Это дело государственной важности. Вот какая диспозиция. — Директор помолчал, слышно было, как он курит. — В женском деле она кремень. Я знаю. Но ведь, как говорится, и на старуху бывает проруха. А она, какая старуха, ей двадцать шесть. Опять же баба. Женщина-женщина, а все баба. Живая. И вдова. Ждать некого, изменять некому. Похоронку еще в сорок первом получила. И за все эти годы — ни ни. Кремень. — Директор вздохнул. — А тут вижу, сдает позиции. И я ее понимаю, жалею, и опять же — позиции сдавать нельзя. Вот какой коленкор. Тут как в обороне, знаешь, один дрогнул, побежал, и другой кинулся за ним. Понимаешь?

Суптеля не отвечал.

— И третье. Такие женщины, как она, позарез народу нужны. Это вопрос государственной важности. Я тут гляжу не только на нее, а на весь наш поселок, на весь народ. Ты чего молчишь? Не согласен?

— Согласен, — глухо сказал Суптеля. — Скажи, а ты случайно не влюблен в нее?

Директор крикнул, молча чокнулся кружкой, выпил и сказал:

— В яблочко угадал. Всю жизнь. С парней еще.

— Так я и подумал. А чего ж не женился, если с парней еще?

— Насильно мил не будешь. Слыхал такую поговорку?

— Слыхал.

Помолчали. Директор опять заговорил:

— Вышла она за моего дружка закадычного. Парень был орел! Под Ленинградом погиб. С той поры заледенела она, а тут вижу, оттаивает. И радостно за нее, и страшно. Вот боюсь, как отец, боюсь. Понимаешь?

— Понимаю.

– Ни черта ты не понимаешь! – зло сказал директор.

– Это почему? – удивился Суптеля.

– А потому, что я на твоём месте взял бы да и женился на ней.

Вася услышал, как старшина встал из-за стола и полез в сундук, где хранился спирт в бутылки.

– Вру я, – вдруг сказал директор. – Вру, что, как отец, беспокоюсь. Люблю я ее. До сих пор люблю. Понимаешь? И жена об этом знает, и она, Клава, да и весь поселок знает. Я ведь с горя женился, когда она замуж за дружка моего вышла. Пил, буянил, по бабам ходил. Все думал – вытравлю из сердца! Ну, с женой на этой почве разлад семейный. Тоже, если подумать, изломал я ей жизнь. И так кинешь, и эдак – все клин. А она детей любит.

– Клава?

– Нет, жена. Детей у нас нету. Говорят, от нелюбимой не рожаются.

– Рожаются.

– А у нас вот нету.

Вася вспомнил, что не один раз видел жену директора у тети Нюры, то оладушек принесет, то сахарку. Видел, как она на улице вытирала Митьке нос, приговаривая: «Сиротиночка ты моя, несмышленьш». Подвязала ему тесемки у шапки и, помахав рукой, ушла.

Старшина налил в кружки, чокнулись, выпили.

– Мысль какую-то я потерял, – сказал директор. – О чем я говорил?

– О жене.

– Нет, это я помню. Я о Клаве что-то важное хотел сказать. Да, вспомнил. Если бы ты на ней женился, я бы сплясал на вашей свадьбе, самый веселый человек бы был. Ей-бо! Потому как знаю, что любит она тебя. А раз уж полюбила, то навек. – Голос его окреп. – А шутки шутковать не позволю. Даже против ее воли. Понял?

Суптеля не ответил.

– Ну, что-то я совсем отрезвел, – сказал директор. – И пить уж хватит.

А Вася вдруг вспомнил, как с неделю назад послал его старшина в контору и как, открывая дверь, он услышал слова Клавы:

«А ты мне не указчик, Иван, не указчик. Ты по работе начальник, а в бабьем деле я сама разберусь, сама себе хозяйка».

— Ну, говорил ты целый вечер, — услышал Вася слова Суптеля. — Теперь меня послушай...

Но что должен был послушать директор, Вася так и не узнал. Он больше не мог бороться со сном и с блаженной расслабленностью провалился в темную теплую яму.

В тот день Вася, как всегда, стоял на шланг-сигнале. Суптеля сидел на телефоне, а Андрей был под водой.

Мела поземка, ветер порывами налетал с пустыря, но теперь это был уже не пронизывающий до костей северный ветер, а южный, теплый. Где-то за горами, за лесами шла весна, и ее первое дыхание долетало сюда. Хотя небо еще низко, хмуро, сплошь забито тяжелыми сырыми облаками и горизонт покрыт оловянной мглой, все равно чувствовалось, что идет, надвигается, вот-вот нагрянет весна.

В полдень снег сырел, прилипал к сапогам, и в воздухе появилось что-то такое, от чего Васе хотелось петь. И все время подмывало сделать что-нибудь озорное и веселое. Стоя на шланг-сигнале, Вася глядел в серую низкую даль и беспричинно улыбался.

Женщины катали бревна в штабель, темная громада которого с каждым днем все увеличивалась.

...Вася не видел, как Клава поскользнулась, и как бревно ползло на нее и придавило ногу. Не видел он и того, как Фрося, подставив лом, всеми силами пыталась удержать сползающее со штабеля бревно, и как этот лом выбило из ее рук. Он услышал испуганный вскрик, обернулся и мгновенно понял, что произошло. И кинулся на помощь.

— Чариков! — крикнул ему Суптеля. — Назад!

— Там Клаву!.. — Вася обернулся на бегу.

— Назад, приказываю! — повысил голос старшина. Вася остановился.

— Клаву же, видишь!..

— Встать на шланг-сигнал! — оборвал его старшина. — Быстро!

Вася недоуменно смотрел на старшину.

– Быстро, быстро! – голос старшины зазвенел. Вася подчинился, взял в руки шланг-сигнал.

Фрося и подскочившие на помощь женщины высвободили Клаву. Прикусив губу, без кровинки в лице, она лежала с закрытыми глазами.

– Ой, Клава! – горестно простонала Фрося. – Неужто сломала?

Она потянула валенок, Клава вскрикнула и открыла глаза.

– Потерпи, потерпи, милая, – уговаривала ее Фрося, – снять надо.

Протяжный, мучительный стон вырвался у Клавы. Фрося осторожно стянула валенок, спустила черный штопаный чулок и обнажила ногу. Перелома как будто не было, но встать Клава не могла. Женщины сочувственно вздыхали.

– Я сейчас, за фельдшером! – крикнула Фрося. Обернувшись, она увидела старшину, подскочила к нему:

– Ты, бревно!.. – и такое загнула, что Вася оторопел, а Суптеля сжал челюсти, вспухшие желваки закаменели на скулах. Сдвинув брови, он глядел в снег.

– У-у! – не нашла больше слов Фрося и, погрозив ему кулаком, побежала в поселок.

Суптеля глухо, изменившимся голосом приказал:

– Подымай!

Вася потянул мокрый шланг-сигнал.

Хрипло, почти не разжимая зубов, Суптеля ронял каменные слова:

– Ты не имеешь права никогда, ни при каких обстоятельствах бросать шланг-сигнал. Понятно?

– Клаву же придавило.

Вася все еще ничего не понимал. Суптеля обжег его взглядом.

– А если бы с водолазом что случилось в этот момент? Тогда как? Кто стал бы его вытаскивать? – чеканил слова старшина. – От тебя зависит жизнь водолаза. Ты стоишь на посту и не имеешь права ни при каких обстоятельствах покидать этот пост. Запомни это.

– Но ведь Клаву же могло...



– Молчать! Без тебя знаю, что могло... Три наряда вне очереди! А в следующий раз на «губу». И с водолазов выгоним с треском! Водолаз – это дисциплина в первую очередь! Запомни!

– Хорошо.

– Не «хорошо», а «есть»! – зло сказал Суптеля.

– Есть! – покорно повторил Вася.

Прибежала фельдшерица – Тонина мать, вслед за ней приехала Дарья на санях.

Фельдшерица осмотрела и ощупала ногу, сказала, что перелома нет, но может быть трещина в кости. Нужен рентген, а где его взять?

Клаву уложили на розвальни, и Дарья повезла ее в маленький домик с огромной, еще довоенной вывеской: «Амбулатория».

Фельдшерица осталась перевязать Фросе сорванный до крови палец. Она перевязывала, а сама с любопытством поглядывала на Андрея в скафандре, который только что вышел из воды, – ни разу еще не видела водолаза в полном подводном снаряжении. И Вася пожалел, что сейчас не он одет в скафандр, пусть бы посмотрела Тонина мать – он тоже водолаз и каждую минуту там, под водой, на волосок от опасности.

Уходя, фельдшерица спросила старшину:

– Почему вы не приходите на перевязку?

– Сегодня приду, – пообещал Суптеля, снимая с Андрея свинцовые груза, металлическую манишку, сигнал. Вася помог ему, а сам никак не мог осмыслить до конца: что же это получается! Он должен стоять на шланг-сигнале, а в это время пусть задавит человека! Ведь он, Вася, не просто бросил шланг-сигнал, а побежал спасать Клаву. И в то же время он чувствовал, что в словах старшины есть суровая правда, железный водолазный закон. Под водой был человек, и надо было охранять его жизнь.

Директор пришел, когда водолазы обедали.

– Хлеб да соль, – улыбнулся он, снимая шапку.

– Едим, да свой, – в тон ему ответил Суптеля. – Садитесь с нами.

– Спасибо, я сыт. – Директор присел на табуретку, нахлобучил шайку на колено. – Я к вам по делу. Кланяться пришел.

– Кланяйтесь, – разулыбался Леха. – Еще никто мне не кланялся.

– Надо ребятишек премировать, – посерьезнел директор. – Квартал кончаем хорошо, с перевыполнением плана. Надо премировать. А чем? – Директор развел руками, вздохнул. – Вот и вспомнил я, что есть у вас сгущенное молоко. Одолжите без отдачи. Сладеньким пацанов побаловать. А?

– О чем речь, конечно, дадим, – сказал Суптеля, переставая есть.

– Вот и ладно, – обрадовался директор, – вот спасибо. А то, думаю, женщинам Восьмое марта справили. Шибко довольны они этим. Теперь ребятишек надо повеселить. Хорошо работают. Ударно. Заслужили.

Суптеля вылез из-за стола, открыл сундук с продуктами.

– Сколько надо?

– Да восемь человек их.

– Вот бери девять. Больше нету.

Суптеля выставил на стол банки с яркими наклейками. Молоко было американское.

– Ну спасибо, ну спасибо, – растроганно говорил директор, сгребая банки со стола, – вот выручили так выручили! Что еще хочу попросить, братцы, – придите на торжественную часть. Ты, старшина, слово им скажи от имени Вооруженных Сил. Чтоб все было торжественно, чтоб запомнили они этот день. А? Так, чтоб поняли они, какое дело делают. А?

– Добро. – Суптеля кивнул. – Когда?

– Да вот сейчас прямо. Я им отдых даю после обеда.

Через час водолазы, одетые в парадную форму, надраенные и торжественные прибыли в контору, где вдоль стены стояли женщины, среди них тетьа Нюра и Дарья с гармонью.

Семеро мальчишек, лет по двенадцати-тринадцати, и девочка сидели за столом. Перед каждым из них красовалась банка сгущенного молока. Сидели они тихо, сконфуженные вниманием взрослых, в чистых рубашках, с приглаженными вихрами, смущенно зажав руки в коленях, и замороженно глядели на банки с яркими красивыми этикетками.

Директор в наглаженной гимнастерке, с орденом и медалями на груди, зачитывал торжественный приказ по заводу:

«...За доблестный гвардейский труд на трудовом фронте при-  
казываю: первое — премировать вышеназванных товарищей  
по банке сгущенного молока американского происхождения,  
а Самсонову Аню — двумя банками, учитывая, что она девочка;  
второе — дать внеочередной выходной день в ближайшее время,  
как только разгрузимся с работой, а пока разрешить отдыхать  
после обеда сегодня; третье — организовать катанье на санках  
с горки и вечером прокрутить кино «Волга-Волга».

— Кино уже привезли, — уточнил директор и кивнул Дарье.

Дарья сыграла торжественный марш.

— Теперь, дорогие ребята, — объявил директор, когда Дарья закончила играть марш, — от имени Красной Армии выступит командир водолазов товарищ Суптеля Семен Григорьевич.

Старшина откашлялся, взглянул на своих водолазов, и они подтянулись, встали по стойке «смирно».

— Хлопцы, от имени Северного флота и Красной Армии объявляю вам благодарность за ваш труд для фронта и для победы...

Вася смотрел на ребят. Из них он знал только девочку. Она часто приходила к тете Нюре, доводилась ей какой-то родственницей. Когда тетя Нюра слегла после похоронки, девочка мыла полы и готовила еду. Мальчишек же этих он почти не знал, хотя поселок был маленький и каждый человек на виду. Он их видел только в цехе за токарными станками, на которых обтачиваются болванки для ружейных прикладов. А вот тот, самый маленький, с оттопыренными ушами и стриженный «под барана», который сейчас сидит с краю стола и сонно клюет носом, в цехе стоит у станка на ящике — без подставки не достаёт до суппорта. Мальчишки выстаивают у станков по целому дню, и после работы им уж не до беганья по улице...

Дарья заиграла марш на гармошке — Суптеля закончил речь.

Директор откашлялся и весело сказал:

— Ну а теперь, ребятки... — и осекся, глядя на край стола. Там, положив голову на руки, спал маленький мальчишка,

подстриженный «под барана». Директор растерянно кашлянул, взглянул на водолазов, и грустная улыбка тронула его губы.

Все смотрели на уснувшего, а он, не ведая ничего, сладко спал сном человека, предельно уставшего и счастливого тем, что наконец-то может уснуть. Рот его был приоткрыт, и легкая улыбка тенью бродила по конопатому лицу — праздник мальчишки продолжался во сне, а может быть, он видел лето, солнышко, зеленую лужайку и как он, босоногий, играет в догоняшки, а может быть, пригрезилось и самое заветное — отец вернулся с войны и привез гостинцы.

— Пашка, Пашка! — толкал его мальчишка постарше, извинительно поглядывая на взрослых.

— Пушай спит, — сказал директор. — А вы, ребята мои золотые, ступайте по домам, своих младших гостинцем порадауйте, да ежели силы будут, в кино приходите. На санках-то уж не получится катания.

Ребята повылазили из-за стола, натянули выдавшие виды пальтишки и телогрейки и гурьбой вывалили из конторы. А Пашка спал.

Тетя Ньюра, вздыхая, расстелила его пальтишко на лавке, и директор перенес спящего и уложил.

— Беда с ними, — сказал директор Суптеле. — Силенок нету, к концу смены носом клюют. Того и гляди в станок попадут.

Директор закурил и, поглядывая на спящего мальчишку, сказал:

— А то игру затеют на работе. Прихожу раз в цех, а там бой идет. Тыркают друг в дружку из самодельных автоматов, за станки прячутся по всем правилам военного искусства. А этот вот, Пашка, ревет слезами: «Не убили, не убили меня! Я просто ранетый! Я буду воевать! У меня тятя три раза ранетый, а воюет!» После смены, вечером, собрал я производственное собрание, держу речь о трудовой дисциплине, а их в сон кинуло — четверо уснули. Вот работнички какие. — Директор вздохнул, глубоко затянулся дымом. — А у каждого из них дома орава голодных пацанов мал мала меньше, а они старшие. Им еще в прятки играть да в куклы, а они уж... — Голос директора накалился ненавистью. — Вот она, война! Я бы этого Гитлера!..

Приближалась поздняя северная весна.

Мартовские дни были солнечны, в затишке, на солнцепеке пригревало. По ночам еще держал морозец, заковывал подтаявший за день зернистый снег в крепкую ледяную корку, но к обедам распускало — работать на льду стало легче.

Как-то в воскресенье Суптеля заставил чинить водолазные рубахи, перебирать помпу и делать новые плетенки для галош. Леха был очень недоволен таким оборотом дела в свободный день и дулся. Андрей вообще был неговорлив, Вася же мечтал о Тоне, с которой два дня назад, вечером, опять стоял до посинения у крыльца. И потому все работали молча.

Суптеля поглядывал на товарищей и понимающе усмехался. Вдруг предложил:

— Давайте пирогов напечем.

— Идея, — коротко одобрил Андрей.

— Дрожжи бы надо раздобыть, — сказал старшина. — Или закваску какую. Дрожжи теперь днем с огнем не найдешь.

— Я могу, — подал голос Леха и отложил в сторону водолазную рубашку, которую клеил. — Через полчаса будут как штык.

Суптеля понял его маневр. Кто-кто, а старшина знал, что Леха рад любому случаю сачкануть.

— Шустрый.

— Я тоже могу, — сказал Андрей, выжидательно глядя на старшину.

— А ты? — спросил Суптеля Васю.

— Я? — удивился Вася. — Не знаю. — И, почему-то покраснев, добавил:

— Могу, наверное.

— Скажи, пожалуйста, — усмехнулся Суптеля. — Все могут. Ну и ну.

Он иронически осмотрел товарищей и сказал Васе:

— Вот ты и иди. Только быстро. Одна нога здесь, другая там.

Вася выскочил из сарая и на миг зажмурился, ослепленный солнцем, снегом и голубовато светящейся далью. Мартовский день был ярок, свеж, тени от домов лежали голубые и сочные. Даже темные бревна сарая, исхлестанные непогодой, приобрели

светлую окраску, а новый сруб неподалеку празднично желтел. Над трубами поселка вставали светлые дымы, и казалось, что эта редкая для Севера чистая голубизна неба лежит на розовых столбах. Даже всегда хмурый и темный ельник голубел снегами. Остро пахло хвоей близкого леса.

Вася чуть не заорал от восторга, как в детстве, когда такими же вот предвесенними днями катался с ребятами на санках.

По тропинке Вася припустил к поселку.

Изгороди занесло снегом по самый верх, из сугробов торчали только верхушки кольев, и от этого тоже было весело, что вот бежит он поверх заборов, и хрустит снег под ногами, и солнце светит, и небо голубеет.

Они встретились на улице, на виду у всего поселка.

Стояли и улыбались друг другу.

– А я к тебе шла, – сказала Тоня, сияя глазами.

И только теперь Вася разглядел, что глаза ее вовсе не черные, а светло-карие, с золотинкой, и на них падает тень от длинных черных ресниц. А на носу и под глазами веснушки. Веснушки, весна!

– Думаю, пойду, и все, – светилась от собственной решимости Тоня.

– И я! – расцвел Вася. – Я тоже к тебе шел.

– Пойдем, – сказала она.

– Куда?

– Ну... – Тоня повела счастливым взглядом вокруг. – В лес!

– Пойдем, – охотно согласился он, сразу забыв о дрожжах. Они взяли за руки и побежали.

Лес стоял по грудь в сугробах. Он был увешан клоками искрящегося снега, как под Новый год, когда украшают елки, посыпая вату блестками. На ветвях елей лежали пышные пласты, и темно-зеленые лапы высывались, будто из-под белых толстых рукавов халата. Каждая ветка, каждый кустик были покрыты инеем, будто засахарены. Верхушки деревьев четко вырисовывались на предвесенней голубизне неба. Пни, покрытые большими снежными шапками, походили на огромные белые грибы. Возле них цепочка следов: не то птица

ходила, не то зверек пробежал. А вот перья и окрашенный кровью снег. Здесь произошла трагедия — какая-то птица не сумела увернуться от хищника. А вот заячьи следы. А тут мышиные.

Над головой отчаянно стрекотала сорока и оглашенно металась по ветвям, осыпая снежную пыль.

— Кыш ты! — погнал ее Вася.

Сорока еще громче закричала и полетела оповещать всех жителей леса, что появились люди.

Вася и Тоня выбрались на полянку и замерли. Под солнцем блестели, сверкали, переливались сугробы. Блестки — с булавочную головку — отсвечивали оранжевыми, красными, фиолетовыми, желтыми, зелеными, синими и даже черными огоньками. Будто разноцветные стеклышки мельчайших размеров. Вася впервые увидел такое и был поражен. Видел, конечно, и раньше, что снег блестит — ну блестит и блестит! — а оказывается, самыми разными цветами. Это белый-то снег!

И вдруг на засахаренной ветке в кустарнике увидел Вася розовые яблоки. И оторопел. Яблоки здесь, на Севере! Не успел образовать, что же это такое, как одно яблоко упало, а остальные вспорхнули стайкой и перелетели на другое дерево и опять сели рядом. И тут только Вася понял.

— Снегири, снегири! — закричал он. — Гляди, снегири!

— Ой, как красиво! — Тоня прижала руку к груди.

А снегири отлетали все дальше и дальше, пропадая розовыми огоньками в снежной чаще леса.

Тоня сорвала ледышку с ветки. Вася сделал то же самое. Они хрумкали лед, как леденцы, и не было ничего слаще этих сосулков.

Вася взял холодные, неожиданно большие и шершавые Тонины руки в свои и стал их греть. Смотрел ей в глаза и видел отраженное в них солнце и высокую ель, под которой они стояли. Сам не замечая того, Вася потянулся к Тоне губами. Она вырвалась и побежала, а сама смеялась, и в смехе слышался призыв.

Тоня бежала в огромных подшитых валенках, и ноги ее болтались в широких голенищах. Вася погнался за ней, и снег

хорошо хрустел под ногами. Они бежали по розовым от полуденного солнца сугробам, по голубым сочным теням от деревьев, и не было сейчас людей счастливее их.

Тоня провалилась в сугроб. Вася с налету упал на нее, и они забарахтались, смеясь и не давая друг другу выбраться из снега.

Они не заметили, как коснулись губ друг друга.

– Ты что сделал? – спросила Тоня.

– Не знаю, – ответил Вася.

Он и вправду не знал, что могло означать это случайное прикосновение губ.

– Ты поцеловал меня? – спросила Тоня, изумленно и восторженно раскрыв глаза. И утвердительно, благодарно и нежно протянула: – Ты поцеловал меня.

– Хочешь, я еще поцелую? – с самоотверженной готовностью предложил Вася и потянулся к ней.

Тоня вскочила. Вася тоже поднялся и увидел, как близки ее глаза и как удивленно и испуганно вздрагивают ресницы. И он поцеловал эти глаза.

– А мама! Ой, если бы она видела! – Тоня в испуганном восторге округлила сияющие глаза.

– А почему она меня не любит? – спросил Вася, вспомнив хмурое лицо Тониной матери.

– Она говорит, что моряки обманщики! – сказала Тоня и тихонько стукнула Васю в грудь. – Обманщики, обманщики, обманщики!

– Я не обманщик! – горячо заверил Вася, и у него даже сердце громче застучало от мысли, какой он хороший и не обманщик.

– Обманщик, – твердо сказала Тоня. – Ты зачем к Фросе ходил? Васю кинуло в жар.

– Я не ходил, она сама меня водила, – пролепетал он.

– А зачем? – Тоня внимательно смотрела ему в глаза.

– Не знаю, – сказал он. – Но все равно я не обманщик.

– Не-ет, не обманщик, – как эхо, преданно и тихо повторила Тоня. – Ты не обманщик.

Она притянула его за уши к себе и поцеловала в нос. Ее обветренные, шершавые губы пахли хвоей, были свежи и солоноваты.



Вася задохнулся от радости, вскочил и отплясал дикий танец, крича что-то несурзное и восторженное. Вдруг Тоня замерла и восхищенно прошептала:

— Гляди, олень!

Вася увидел молодого стройного гордого оленя на краю обрыва. Взметнув в голубое небо покрытые инеем рога, олень распластался в прыжке, в стремительном и легком полете. Спина его была в снегу и перламутрово искрилась. Ноги тоже. Задние. Передних не было. До чего же это дерево походило на оленя! Тоня и Вася подошли поближе. Когда-то дерево было согнуто или надломлено и стало расти перпендикулярно нижней части ствола. Но природа-мать подняла его ветви-рога снова вверх. И теперь, занесенное снегом, оно превратилось в дерево-олень. Сказочный олень с белыми от инея рогами!

Вася потряс дерево, с веток упали снежные пластинки, рассыпаясь в невесомую пудру, и засеяли им лицо, голову, плечи искрящимися блестками. Вася и Тоня смеялись, играли в снежки, гонялись друг за другом и, обессилев от смеха и счастья, падали в снег и целовались.

Они отрезвели, когда закатное солнце, пробираясь сквозь сетку ветвей и дробясь на тонкие лучики, бросило последний оранжевый блеск на сугробы, когда загустели не голубые уже, а сиреневые тени, когда лес стал набирать сумерки.

— Неужели день прошел? — восторженно и испуганно спросила Тоня.

— Пропали пироги, — опомнился Вася.

— Какие пироги?

— Ну, будет мне!

— А что будет? — расширила она глаза.

— Будет! А тебе попадет от матери?

— Я ничего не боюсь, — храбро сказала она и просветленно посмотрела на Васю. — А ты?

— Я тоже, — неуверенно ответил Вася. — А дрожжи у вас есть?

— Дрожжи? Зачем они тебе?

— Старшина велел. На пироги...

— Дрожжей нету. Есть закваска.

– Дай мне.

– Пойдем.

Они крадучись пробрались по поселку, который уже погрузился в сумерки. На их счастье, Тониной матери дома не оказалось, и Тоня вынесла в кружке закуску.

Домой Вася бежал сломя голову, и сердце его ёкало.

Его встретили молчанием. Он поставил на стол кружку закуску.

– Вот, принес.

– Тебя за смертью посылать, – сказал Леха, пришивая пуговицу к шинели.

Вася виновато переминался у порога. Сдернул шапку, пар так и валил от мокрой головы.

– Где тебя носило?

Суптеля внимательно разглядывал Васину одежду, всю в снегу, его румяное, счастливое и обалделое лицо.

– За дрожжами ходил, – тихо ответил Вася, старательно отдирая от шапки ледышки и не смея поднять глаза на старшину.

– Ты что, в сугробе их искал?

Вася шмыгнул носом.

– Вот вкачу тебе три наряда вне очереди, тогда будешь знать, – недовольно пригрозил Суптеля.

– Есть три наряда вне очереди! – по-петушиному звонко выкрикнул Вася.

Леха вздрогнул и оборвал нитку.

– Чтоб тебя!.. Обрадовался, дурак, будто ему медаль привезли.

– Одним махом девкой завладал, – подал голос Андрей. – Как в очко выиграл.

Суптеля коротко взглянул на Леху и Андрея и перевел глаза на счастливое и пылающего румянцем Васю, задержал взгляд на его вспухших и ярких губах.

А Вася тщетно пытался изобразить на лице раскаяние и виноватость – неподвластная, щедрая и глупая улыбка распирала ему рот. И чтобы как-то отвлечь внимание товарищей, он с преувеличенной старательностью обметал у порога сапоги.

– Ну-ну, – Суптеля усмехнулся и полез в карман за куревом.

Вечером, когда Леха и Андрей ушли, Суптеля сказал:

– Пойдем, попилим дров Клаве.

– Пойдемте, – охотно согласился Вася, чтобы загладить свою вину перед старшиной.

Темное небо с редкими звездами, влажный ветер с юга, запах сырого снега и дыма, неяркие огни поселка и густая синь встретили Васю и старшину за порогом. Где-то на другом конце поселка выводили девичьи голоса:

*Все, что было загадано, все исполнится в срок,*

*Не погаснет без времени золотой огонек...*

Васе показалось, что он различает и голос Тони. Эта песня, полная обещания верности и любви, будоражила, тревожила, радостное и в то же время грустное волнение закрадывалось в сердце.

Навстречу из переулка появились Леха и Дарья. Они шли с озер. Дарья несла полный таз мокрого белья, покрытого ледяной коркой. Леха нес на коромысле два ведра воды. Он страшно смутился, когда лоб в лоб столкнулся со старшиной и Васей. Выручила Дарья.

– Ведра полные, счастье вам будет, – певуче сказала она, и Вася еще раз удивился перемене ее голоса в последнее время.

– Куда вы? – спросил Леха, а сам смущенно топтался на месте, расплескивая воду.

Суптеля взглянул на него, усмехнулся.

– К Клаве дрова рубить.

– Ей уже лучше, – сказала им вслед Дарья. – Ходит. Синяк только большой, во всю ногу.

Клаву они застали сметающей снег с крыльца.

– Мы дрова пилить пришли, – сказал Суптеля.

– Дрова? – Клава подняла брови и стояла с веником в руке, растерянно глядя на старшину. – Ну, спасибо. Дрова и вправду кончаются.

– Где пила и топор?

Старшина говорил грубовато и не глядел на Клаву. Она вынесла из сеней пилу и топор.

– Тупые, – извиняясь, сказала Клава. – Все никак не соберусь кузнецу отнести.

– Ничего, сойдет.

– Колите, а я самовар поставлю.

Они напилили и накололи целую поленницу дров. Старшина присел на чурбак, погладил ногу, поморщился.

– Болит у меня рана, с каждым днем все сильнее. К перемене погоды, что ли?

– Кость задета, – с видом знатока сказал Вася. Он слышал, что ранение в мякоть быстро заживает, а вот кость...

Вася знал, старшину ранило на полуострове Рыбачьем, самом северном участке фронта, где наши не отступили ни на шаг за всю войну. Старшина был в морском батальоне. Имеет медаль «За отвагу».

– Вы чего курите на дворе? Идите в дом, чай готов, – позвала Клава.

Вася осматривал комнату, чистую, опрятную и бедную. На стене увидел ходики, узнал их – старшина чинил. Бойко тикают, и глаза кошки, нарисованной сверху, вертятся справа налево и обратно.

– Курите здесь. Все живым будет пахнуть. У нас теперь женщины почти все курят. До войны папиросного дыма не терпели, а теперь махорку смолят. Омужичиваемся: бревна ворочаем, курим, ребят не рожаем, – говорила Клава, неторопливо и в то же время проворно собирая на стол.

– Были бы мужья – рожали, – улыбнулся Суптеля.

– Я о том и говорю. – Клава светло взглянула на старшину. – И курить бы бросили.

– Дарья вон бросила, – сказал Суптеля.

– Так опять же – мужик появился, – улыбнулась Клава. – При мужике чего курить? А вон бабка Назариха курящих женщин нарочно к себе зазывает, чтобы дыму ей напустили. Говорит, вроде сыночки накурили, будто тут они, только вышли на улицу. Покрепче налить или как?

– Главное, погорячее. – Улыбка коснулась губ старшины. Клава ответно улыбнулась, налила чаю, пододвинула баночки с сушеной ягодой.

– Черника, а это брусника, попробуйте. Ягоды много было, урожайный год. Насобирали, теперь вот спасаемся от цинги. Больше всех бабка Назариха насобирала. «Куда столько? – спрашиваем. – Одной-то?» «Может, живы, – говорит, – вернутся. Так я их чаем с сушеной ягодой угощу».

Клава смолкла, задумчиво помешивала ложечкой в чашке. А Вася вспомнил, что и тетя Нюра его зазывала к себе и велела курить, «чтоб мужиком в доме пахло».

– Бабка Назариха шестерых ждет, – тихо сказала Клава и побледнела, взглянув на старшину. – Неужто я одного не подожду? Кто же я тогда буду!

И снова, будто убеждая себя в чем-то, сказала:

– У них там каждую минуту... а нам ведь только ждать, нам-то легче.

– Но ведь похоронка, – глухо сказал Суптеля.

– Ну и что, – как эхо отозвалась она.

– Три года прошло.

– Война же не кончилась.

– Железная ты.

– Нет, – вздохнула Клава. – Была бы железная – с тобой бы разговоров не водила. Налить еще?

– Нет, спасибо. Я покурю.

– А тебе, Василек?

Вася тоже отказался.

– Это почему же – не разговаривала бы? – спросил Суптеля, свертывая сигарку вздрагивающими пальцами.

Клава ответила не сразу.

– Что ж скрывать. – Она взглянула старшине прямо в глаза. – Сам видишь. Но только не могу я, понимаешь? Любила я его без памяти. – Она нахмурилась. – Ой, чего это я как о мертвом заговорила. Живой он, живой! И сейчас люблю его. Ждать буду! Ждать! – с настойчивой непреклонностью повторила она.

Старшина отошел к окну и смотрел в густую синеву ночи, глубоко затягиваясь сигаркой. Тягостное молчание подчеркивал слабый стук ходиков на стене. Вася подумал, что ему надо

встать и уйти, оставить их вдвоем, но боялся пошевелиться, боялся нарушить эту напряженную тишину и сидел, уставив глаза в старенькую скатерку на столе.

— Ну, спасибо за хлеб-соль, — сказал придушенно Суптеля. — Если что надо — скажи. Придем, сделаем.

Старшина говорил спокойно, и только глаза выдавали его.

Они отшагали половину дороги, когда Суптеля спохватился:

— Кисет забыл.

Они встретились глазами. Суптеля понял спрашивающий взгляд Васи, нахмурился.

— Не в службу, а в дружбу, сбегай.

Вася повернулся и зашагал неторопливо, ожидая, что старшина окликнет его и пойдет сам, но Суптеля с раздражением крикнул вдогонку:

— Можешь поживей, нет?

Клаву Вася застал плачущей.

— Я за кисетом, старшина забыл, — смущенно сказал он.

Клава быстро вытерла глаза.

— Возьми. На столе.

Вася взял кисет, потоптался, ожидая, что Клава что-нибудь скажет еще, но она молчала, стоя к нему спиной, и глядела в темное окно.

Вася потихоньку вышел, осторожно прикрыв дверь. Он догнал старшину и молча подал ему кисет. Всю дорогу не проронили ни слова. Возле дома Суптеля сказал:

— Замечаю, жирком стали обрастать. Мысли всякие появились.

Вася удивился: ничего себе — жирком! Работают с темна до темна, еле ноги притаскивают.

— Я не о том, — будто прочитал его мысли старшина. — Я не о теле, я о душе. Душа жирком покрывается. Братва воюет, а мы тут с бабами. Здесь от одной тишины оглохнешь.

Вася вдруг вспомнил Мурманск, тот день, когда они отъезжали сюда. Товарняк стоял на запасных путях. Пока Леха и Андрей курили, Вася смотрел на разбитый и сожженный город, террасами взбегающий на сопки. Сквозили скелеты домов, торчали на пустырях высокие черные трубы. Станция тоже была разбита,

и сгоревшее здание вокзала заменял деревянный, наспех сколоченный барак. Туда и ушел старшина за какими-то документами. Вася засмотрелся на льдисто-серый залив, зажатый меж крутых заснеженных сопок, на торпедный катер, вспарывающий спокойную гладь воды, и не заметил, откуда вывернулись немецкие бомбардировщики. Свист идущих в пике самолетов, тяжелые взрывы, захлебывающийся лай зениток оглушили Васю. Казалось, что все бомбы и пули летят в него. Широко раскрыв глаза, он оцепенел.

Его больно ткнули в плечо, в сознание ворвался высокий крик Суптели:

– Грузись! Грузись быстрее!

Сам старшина уже кидал в теплушку мешки с хлебом. Сноровисто и ловко помогали ему Леха и Андрей. А Вася при каждом взрыве приседал, вжимая голову в плечи, и со страхом глядел на небо, где черными коршунами вились самолеты между белыми пухлыми разрывами зенитных снарядов.

– Ты туда не гляди! Ты сюда гляди! – кричал старшина. – Помогай!

Вчетвером они с маху подняли тяжеленную помпу и завалили ее в теплушку.

А к ним уже бежал вдоль состава железнодорожник и кричал сорвавшимся голосом:

– Кончай погрузку! Отправляем! – Слова его потонули в грохоте взрыва, взмахнув руками, как крыльями, исчез и сам железнодорожник. У Васи потемнело в глазах...

Опомнился он уже в вагоне, когда поезд оставил позади горящий город.

Суптеля сидел на сундуке с продуктами и, болезненно морщась, гладил ногу. Поймав вопросительный взгляд Васи, сказал:

– Рано из госпиталя удрал. Думал – на фронт, а тут возись с вами... – Недовольно отвернулся. А у Васи тряслась каждая жилка, и он все еще не мог окончательно прийти в себя, не мог поверить, что вырвались целыми и невредимыми из ужасающего хаоса взрывов и наводящего оторопь свиста идущего в пике самолета.





Леха вздрагивающим от пережитого голосом спросил Васю:  
– У тебя в животе бурчит, когда бомбят? – На недоумевающий взгляд Васи с притворно-горестным видом сказал: – А у меня бурчит. Как бомбежка, так начинает. Даже еще до бомбежки. Как барометр. Небо чистое, а в брюхе музыка – так и знай: прилетят. Сегодня с утра гудело.

– Перестань молоть! – сердито оборвал его Суптеля.

– Смолот бы, да нечего, с утра голодный, – не унимался Леха.

– Сейчас дадут нам дрозда! – прервал их Андрей и, побледнев, злобно прищурился на небо.

Вася выглянул в дверь теплушки, и волосы зашевелились на голове: самолеты настигали поезд.

– Без паники! – твердо сказал Суптеля. – Они над Мурманском разгрузились.

– Точно, – подтвердил Леха, приложив руку к своему животу, делая вид, что прислушивается, – молчит.

Самолет с ревом пронесся над товарняком, пулеметная очередь прошла крышу теплушки ровной строчкой. Вася зажмурился изо всех сил. Эшелон резко затормозил, и все полетели на пол. Вася упал рядом с сундуком и больно ушиб руку.

Первым вскочил Леха, выглянул в дверь, сунул проскочившему самолету вслед фигу и заорал:

– А это видал? Во! Видал?

Второй самолет на бреющем полете прострочил гулкой очередью, и вдоль заснеженного полотна дороги брызнули фонтанчики. Леха испуганно присел, так и держа фигу перед собой. Поезд рванулся вперед, и опять всех бросило на пол. Когда самолеты улетели, Вася увидел, как совсем рядом из расщепленного деревянного сундука сыплется струйка пшена. По спине продрало морозом.

Леха, перехватив его взгляд, уверенно пообещал:

– Не дрейфь, все еще впереди, как сказала одна бабка, прожив девяносто девять лет. А это – так, раз плюнуть.

Вася долго еще вздрагивал и холодел от мысли, что если бы очередь прошла чуть-чуть левее сундука...

Позднее он подивился бесшабашности Лехи и хладнокровию Суптеля. Своего страха стыдился. И совершенно не запомнил, как вел себя тогда Андрей. Выпал он из памяти...

— Боюсь, комиссия меня забракует, — прервал его воспоминания Суптеля. — Свищ открылся, а это труба, это надолго. Как закончим здесь работу, сразу в госпиталь лягу, пусть снова режут.

Суптеля остановился у крыльца, закурил, задумчиво молчал.

Было тихо и тепло — весна не за горами. И впереди был еще целый год войны...

Каждый вечер Вася бежал на свидание с Тоней. А когда наступала его очередь дежурить, он, краснея и заикаясь, просил кого-нибудь остаться за него. К его удивлению, все охотно соглашались.

— Смотри, влипнешь, — предупреждал Андрей. — Бабы, они такие: мягко стелют, да жестко спят. Не успеешь моргнуть, как опутают.

Леха же подмигивал и беззаботно говорил:

— Валяй! Только в сугробе не сиди. Уши-то вон еще шелушатся.

Суптеля же сам сказал на третий раз:

— Иди, вечер сегодня теплый.

Вася не заставил себя упрашивать, накинув шинель, выскок из дома.

Вечер и вправду был тих и тепел. Мягкий сумрак заполнил синью поселок, и весело блестели в нем редкие огоньки. С юга широкой полосой шел влажный теплый ветер, и сердце Васи забилось в предчувствии весны.

Этот вечер они стояли в глухом безлюдном переулке, у плетня дома бабки Назарихи, и целовались. Похолодевший нос Тони тыкался Васе в щеку, теплое дыхание щекотало подбородок. Тоня положила голову Васе на грудь и замерла. Вася запахнул ее полами шинели, осторожно прижал к себе и стоял в счастливом оцепенении.

— Как стучит у тебя сердце, — тихо сказала Тоня.

— Стучит? — удивился Вася.

— Да. Быстро-быстро. Тук-тук-тук!



Тоня высвободила руку, стряхнула варежку и теплым пальцем провела по Васиному подбородку, по губам. Он поцеловал этот шершавый палец. Тоня тихо и счастливо засмеялась. А Вася стал целовать прямую и жесткую прядь волос, выбившуюся из-под старой шали. Он где-то читал, что целуют не только губы, но и глаза и волосы. Почувствовав в темноте, что Тоня подняла лицо, он тут же нашел ее послушные заолодевшие губы, и они задохнулись в поцелуе. Тоня застучала ему в грудь кулачком и, когда он отпустил ее, рассмеялась:

– Ой, чуть не задохнулась! У меня уж губы болят.

Так и стояли они, то целуясь до головокружения, то замирая и слушая стук сердец.

Вася рассказывал Тоне о себе: как жил с матерью в далекой отсюда Сибири, как учился в школе, как ушел добровольцем на фронт, а попал в водолазную школу. После школы сразу к ним, и, когда ехал сюда, очень горевал, что едет в тыл, а не на фронт. А Тоня счастливо смеялась и прижималась щекой к его груди. Она тоже рассказывала, как они здесь жили до них, как скучно было в поселке, а вот приехали они, и все переменялось.

У них оказалось много общего в жизни: у обоих не было отцов, оба до недавнего времени учились в школе, оба любили читать, и даже одни и те же книги нравились им, оба любили стихи.

Если кто-нибудь проходил по улице, они замирали, ожидая, свернет человек в их переулок или нет. Человек проходил дальше, и они, очень довольные, заговорщически фыркали в кулак и опять целовались.

– У меня ноги застыли, – пожаловалась Тоня. Она прикрыла руками колени и стала их греть.

Вася тоже озяб, но молчал. Он готов был стоять с Тоней всю ночь.

– Пойдем к бабке Назарихе, погреемся, – предложила Тоня.

– К бабке?

– Да. Она добрая, никому не скажет. Мы погреемся, и все.

Вася согласился.

Они прохрустели снегом по узенькой тропиночке во двор и, найдя талый кусочек в стекле, заглянули в тускло освещенное

оконце. Бабка Назариха сидела за столом в свете чадающей лампы и пила чай.

— Пойдем, — шепнула Тоня и первой шагнула на крыльцо.

Дверь в сени оказалась незапертой. Из сеней они тихо вошли в пустую кухню. Подталкивая друг дружку и давясь от смеха, который вдруг овладел ими, они заглянули в горницу, где сидела Назариха. Только хотели было поздороваться с бабкой, как услышали, что она с кем-то разговаривает. Они удивленно переглянулись — горница была пуста. Назариха сидела к ребятам спиной. Перед ней на столе были расставлены чайные чашки и высился медный начищенный самовар с чайником на макушке. Она пила чай одна-одинешенька и говорила:

— Ты, Ванюшка, почему не пишешь-то? Ты чего думаешь — легко матери ждать! Напиши два слова: жив-здоров, и ничего боле. Много ли матери надоть! А то сердце-то болит, изнылось. Спать лягу — глаз не сомкну, все думаю, где вы там. А сердце-то жмет-жмет, будто его кто в кулак затиснул.

Тоня и Вася затаили дыхание, боялись пошевелиться, чтобы не спугнуть Назариху.

— У нее все сыновья на фронте погибли, пятеро. А шестой пропал без вести, — едва слышно шепнула Тоня и сильно сжала Васину руку.

Назариха прихлебнула из блюдечка и снова размеренно и приглушенно заговорила:

— А ты, Митрий, не беспокойся, семья у тебя ладная. Марья молодцом держится. Карахтерная женщина. Старшой твой, Вовка, воюет. Уж год, как воюет, вместе с Ванюшкой нашим ушел. Слава богу, жив-здоров. Пишет. Ему эту... медаль дали. В тебя отчаюга. Ты смолоду такой же был. Вместе, говорю, с Ванюшкой ушли... Ты вот как старший брат пожури Ванюшку-то, чего он не пишет. Вовка твой пишет, а он нет. Вот-вот, покори, покори его, ишь каку моду взял — родной матери лень весточку послать. А Вовка-то твой живой, не волнуйся. А Люся учится, семилетку кончат. Шибко ее учителька хвалит, говорит, дальше заниматься надо. Марья приезжала, говорила, что на работу пойдет, как семилетку кончит. Под Новый год-то приезжала ко мне Марья,

уважила. Убивается, знамо дело, но держится. Карахтерная женщина. Мне вот, Митрий, шибко Ванюшку жалко. Ты хоть пожил, детей народил, а он совсем зелененький росток, последний мой. Ты его покори, Митрий, покори, чтоб письмецо прислал. На него похоронки-то не было, Митрий.

Старуха замолчала, глубоко и горестно вздохнула. Пригорюнилась, подперев сухим кулачком щеку. Мертвенно-тихо было в избе, только тоненько пел самовар.

— Ну а ты, Семен, чего думаешь? — вдруг строго спросила Назариха. — Как думаешь со Светланкой улаживать? Обабил девку, ославил и фю-ить — улетел голубок! Родила ить она. Дочка-то хорошая, крупная, по нонешним временам. Ждет тебя Светланка, в бумажку-то не верит. На Кузьму вон Телегина тоже приходила похоронка, а он жив оказался. Его уж оплакали тут, а он в госпитале без памяти лежал. Ты вино-то все попиваешь ай нет? Иль там, на войне, не дают разгуляться? Командёры-то строгие. Так ить вас в ежовых рукавицах держать надоть. А то ишь ухари какие — кажинный день гулянка. Долг твой отдала я. Приходили за тридцаткой. Я прям обмерла вся. Экие деньги? Хоть бы шепнул, когда на войну уходил. А то как обухом по голове. Тридцать рублей — шутка! А все водочка твоя, все через нее. Ты чай-то пей, пей. Остыл, поди, уж. Не вороти нос-то, не вороти, слухай, чего мать говорит. С женой ты везучий, Семен. Шибко хорошая сноха будет, Светланка-то. А жена — она всему дому голова. Возьми вон Николая, какая у них жисть с Ларисой? Разве это жисть? Ты уж, Коля, на меня обиду не держи, — сказала Назариха и повернула голову на другую сторону стола. — Скажу я тебе прямо, как мать. Как была твоя вертихвостка, так и осталась. Погуливает вовсю, скрывать не стану. И говорила я тебе, и отец говорил, упреждали. Чуяла я — перекати-поле, а не жена. Выказала себя. И похоронки на тебя еще не было, а она уж подолом закрутила. Ох, говорила я тебе, ох, говорила! Не послушал родительского слова. Вы же теперь, молодые-то, ухари все. А вот хоть и грамотный, и институт закончил, а вот не разглядел.

Старуха замолчала и долго сидела, опустив плечи. Потом будто опомнилась и громко сказала: — Закурили бы, что ли,

а то прям нежилым в избе пахнет. — Назариха посмотрела на стул справа от себя. — А чего это у нас отец молчит? Ты слово-то оброни, старик. Дети они тебе ай нет? Всю жисть молчал и теперь молчишь. — Назариха вздохнула и тихо, жалостливо сказала: — На могилку-то к тебе не могла пройтить, ты уж прости. Сугробы по пазушку. Посоветоваться хотела. Об полушубке. Продать хочу. Хорошо дают. Да и то сказать — полушубок-то новый. Не нашивал ты его. На Октябрьску и надевал-то раз только аль два.

Старуха опять замолчала, потом взглянула в край стола и с улыбкой в голосе сказала:

— Ну а вы, двойнятки мои, так тихонько и сидите, как при жизни. Вам по ранешным-то временам в монахи идтить. И в кого уродились, как птенчики беззащитны. Письмо то вашего командёра получила я. Он все описал в подробности, как вы в одночасье смертушку приняли. Одно и утешение для мово сердца, что вместях вы были. Легше помирать, когда родная кровь рядом. Ох, легше, — простонала Назариха. — А я вот совсем одна. Некому будет глаза закрыть. На покой уж скоро, к тебе, старый. Ноги совсем отказывают. И сердце как закатится — все, думаю, преставилась. А потом отойду помаленьку, оттаю. И уж жалею, что вернулась с того свету. Вот собрала я вас, посидеть со мной, разговоры поговорить, посоветоваться, а то помру скоро. Шесть десятков мне сегодня стукнуло. Помните ай нет, скоко годов-то вашей матери? Забыли, поди. Собрала вот и радуюсь, что говорю с вами, голоса ваши слышу...

Плечи ее затряслись, и вдруг дикий надсадный вой смертельно раненного существа вырвался из груди Назарихи.

— Сыночки вы мои, кровинушки мои золоты, да не увижу я вас, светлы головушки, не дождуся!..

У Васи перехватило горло, и волосы зашевелились на голове, такая боль была в старушечьем голосе. Назариха пластом упала на стол и зарыдала.

Вася и Тоня отпятились назад. Понимая, что не время сейчас мешать старухе, что надо дать выплакаться ее великому горю,

они потихоньку выскользнули на улицу. На крыльце Тоня спрятала у Васи на груди голову, и плечи ее затряслись...

Водолазные шубники — чулки из овчины шерстью внутрь-обычно на работу носил Леха. Он верил приметам. Когда приносил, работы не было. Или мороз давил такой, что промерзал шланг, или отказывала старенькая лебедка.

А на этот раз Леха шубники не взял, будучи совершенно уверен, что лебедка еще не собрана и будут они в теплом сарае травить баланду. Но лебедка стояла готовая, и спускаться под воду была очередь как раз Лехи. Вот и не верь после этого приметам!

За шубниками послали, конечно, Васю, как самого молодого. Он побежал с удовольствием, надеясь по пути увидеть Тоню. Сделал порядочный крюк к ее дому и только замедлил было шаг возле двора, как на крыльцо вышла Тонина мать. Вася постарался побыстрее прошмыгнуть мимо, пролепетав: «Здрасьте!» Мать Тони буркнула в ответ что-то очень похожее на «ходит тут, околачивается...».

...У майны, очищенной от ледяной крошки и снега, накрытый уже шлемом Леха послал женщинам воздушный поцелуй.

Вася закрутил ему иллюминатор и шлепнул по шлему:  
— Пошел на грунт!

Леха грузно шагнул к краю майны и плюхнулся в густую черную воду. Брызги выплеснулись на лед, на Васины сапоги и застыли стеклянкой корочкой. Леха скрылся под водой. Вася потравливал шланг-сигнал, на телефоне сидел старшина и морщился — болела рана. Андрей стоял у другой майны и командовал вместо Клавы женщинами, которые крутили лебедку.

Лехе спустили трос для застропки бревен. Через некоторое время старшина приказал поднять Леху наверх. Вася выбрал шланг-сигнал, и Леха всплыл в майне. Он ухмылялся в иллюминатор и что-то беззвучно говорил.

— Вира лебедку! — крикнул старшина Андрею.

Из воды медленно пополз трос, потом показалась сигара из трех бревен. Мог работать Леха, когда хотел! Но больше двух старшина запретил стропить. И сейчас он погрозил Лехе кулаком. Леха осклабился в иллюминатор. Старшина недаром гро-



зил: бревна под водой надо разбирать очень осторожно, не ровен час, и обвал может случиться.

Бревна выползали на заснеженный лед и распластывались, как живые, молчаливо-мстительные существа. В их неподвижности было что-то враждебное.

Андрей быстро освободил трос и бросил его в майну. Леха помахал рукой, забурлил пузырями из золотника и сгинул под водой.

Белесая мгла низко накрывала пустынный, охлестанный ветром лед. Задувала поземка, перегоняя сухо шелестящий крупитчатый снег. Вася дышал на ошпаренные водой и ветром красные руки и топтался на месте, стараясь согреться. Сейчас под водой было гораздо теплее, чем здесь, на ветру. Старшина что-то говорил по телефону Лехе.

– Вира помалу трос! – приказал старшина Андрею, а Васе сказал:

– Подбирай шланг-сигнал.

Вася подобрал и вдруг почувствовал подводный рывок.

– Стоп лебедку! – тут же закричал Суптеля, и Вася увидел, как в соседней майне кругами заходила вода, и трос задрожал от напряжения. Лебедку остановили.

– Сухаревский! – позвал старшина в телефон. – Что там у тебя? Сухаревский, слышишь?

От помпы тревожно крикнула Фрося:

– Прокрутить не можем, Семен!

Вася увидел, как четверо женщин, тревожно переговариваясь, стараются сдвинуть с мертвой точки маховики помпы и не могут.

– Выбери шланг-сигнал, чего стоишь! – крикнул Суптеля.

– Не идет! – ответил Вася, слыша, как задрожали от страшного предчувствия ноги.

– Сухаревский, Сухаревский! – надрывался в телефон побелевший старшина.

Леха не отзывался. Из майны перестали вырываться и пузыри.

Дарья с ужасом смотрела на старшину. Было ясно, что под водой Лехе передавило шланг-сигнал, и воздух не может

пробиться к нему в скафандр. Видимо, порвало и телефонный кабель, иначе Леха подал бы голос. А может, совсем...

– Андрей! – крикнул Суптеля. – Надевай легководолазный! Вася, помоги! Проверьте баллоны!

– Насморк у меня, старшина. Не могу идти, – хрипло ответил изменившимся голосом Андрей.

Старшина пронзил его взглядом.

– Насморк?!

– Чихаю, видишь. – Кровь отлила с лица Андрея. – Перепонки лопнут.

– Вижу! – тяжело выдохнул Суптеля. – Чариков, одевайся. Ах, черт, сам не могу!

Морщась от боли, старшина встал, но тут же, глухо охнул сел на скамеечку.

– Давай, Василек! – крикнул он. – Быстро!

– Есть, – сказал Вася и не услышал своего голоса.

Васю спешно одевали в легководолазный костюм, торопливо проверяли кислород в баллонах. Он взял в рот холодный резиновый загубник и натянул на голову шлем. Прикрепили на пояс свинцовые груза, и Вася прыгнул в воду, чувствуя, как крепко держит его на пеньковом конце Андрей. Вася дернул два раза: «Потрави!». Сигнал ослаб, и Вася полетел на дно, в коричневую тьму. Упал на что-то твердое и на миг задохнулся от боли. Держась за Лехин шланг-сигнал, пошел вдоль него. Скоро глаза привыкли к темноте. Огляделся. Леху, вернее, его ноги, увидел под обвалившимся козырьком бревен. Лехин шланг был крепко зажат упавшим бревном.

Вася схватился за бревно и попытался сдвинуть его. Бревно не поддавалось. Можно было, конечно, всплыть и попросить трос, застопорить и оттащить бревно. Но дорога каждая секунда. Напрягая силы, Вася все же столкнул бревно и увидел, как шланг зашевелился, подвсплыл – первый признак, что по нему пошел воздух. Если Леха жив, то теперь не задохнется. Вася дернул его за ногу. Леха не подавал признаков жизни. «Неужели!» – обожгла мысль, и Вася схватился за верхнее бревно. Оно довольно легко подалось, плавно развернулось и стремительно, как торпеда,



исчезло в коричневой тьме. Вася столкнул второе бревно, третье... «Быстрее! Быстрее!» Наконец осталось последнее бревно, оно лежало поперек Лехи. Вася столкнул его и дернул за Лехин сигнал три раза: «Выбирай наверх!» Шланг-сигнал натянулся, и Леху потащили вверх. Потянули и Васю. Он поднимался, поддерживая товарища, помогая вытаскивать его из воды. И вдруг краем глаза заметил, что в нависающем козырьке бревен что-то изменилось, произошла какая-то подвижка, и, еще не осознав, что это такое и чем грозит, увидел, как навстречу ему хищно, как живое, кинулось бревно. Вася отшатнулся и тут же понял, что под удар попадет Леха. Бревно шло на уровне его шлема. Сейчас оно ударит в иллюминатор, и Лехе конец! Вася рванулся и отчаянным движением потянул Леху, чтобы уйти из-под удара, но бревно надвигалось беззвучно, как в немом кино, и в следующее мгновение Вася потерял сознание от нестерпимой боли в левом плече...

Очнулся Вася от холода. Ему плеснули водой в лицо. Он жадно хватил воздуху, захлебнулся и окончательно пришел в себя. И тотчас почувствовал тянущую боль в руке. Над ним склонилась Фрося и, плача, вытирала ему лицо своим головным платком. Она что-то говорила безголосо, одними губами — Вася не слышал из-за тяжелого звона в голове. Он повел глазами и увидел лежащего на санях Леху. Возле него хлопотала Дарья, а рядом валялась разрезанная от ворота до ног водолазная рубаха.

— Жив, жив, — торопливо сказала Фрося, поняв его тревожный взгляд. Теперь Вася услышал ее. — И он жив, и ты.

Фрося приподняла ему голову, положила чью-то свернутую телогрейку и улыбнулась сквозь слезы. Она что-то приговаривала ласково, а он опять не слышал ее. Он увидел, как по санной дороге к озеру бегут Тоня и ее мать. Тонина мать бежала с медицинской сумкой в руках. Ее обогнала в расстегнутом пальтишке Тоня. Она спотыкалась, проваливалась в сугробы, волосы ее выбились из-под наспех накинутаго платка.

Тоня с размаху упала на колени перед Васей, вобрав его всего расширенными глазами, и шептала, как полоумная, белыми губами:

– Вася, Васенька...

– Жив он, жив, не бойся, – сказала Фрося и сильно тряхнула ее за плечо. – Жив, говорят тебе!

Подбежала, запыхавшись, Тонина мать, приглушенно и коротко бросила дочери:

– Отойди, бесстыжая!

Фельдшерица взяла Васю за руку, он почувствовал резкую боль и, теряя сознание, увидел, как наплывают огромные глаза Тониной матери...

Очнулся он в белой комнате, в амбулатории. На соседней койке лежал Леха, и фельдшерица делала ему укол. У Васи тупой болью ныло туго перебинтованное плечо.

Позднее Вася узнал, что, когда на Леху обрушилась гора леса, он по счастливой случайности попал как бы в пещеру из бревен. Одно из них придавило ему спину, но это было не страшно, в скафандре был воздух, и он служил подушкой. Страшно Лехе стало, когда он почувствовал, что зажало шланг, и воздух в скафандр перестал поступать. Он закричал по телефону, но ответа не было. И тогда Леха понял, что телефонный кабель оборван и жить ему осталось самое большое десять минут.

Именно десять минут можно прожить с оставшимся в скафандре воздухом.

Когда Вася вытащил Леху из-под бревна, Леха был уже без сознания от удушья, и наверх его подняли полуживым. Мгновенно вспороли водолазную рубашку, и старшина сделал Лехе искусственное дыхание.

Васе бревно вышибло руку из плеча. Сустав на место вставила Тонина мать, и теперь они с Лехой лежали в амбулатории. И вот именно здесь, уже в безопасности, Васю охватил запоздалый страх. Он содрогнулся от мысли, что с ним могло бы произойти под водой. И, проклиная свою судьбу, сделавшую его водолазом, проклиная эту подводную работу, он заплакал. Молча глотал слезы, чтобы Леха не услышал, и никак не мог остановиться. Но Леха услышал, приподнялся на постели:

– Ты чего? Живы остались, чего реветь?

– Я так, – шмыгнул носом Вася. – В глаз что-то попало.

– Спасибо тебе, – тихо и серьезно сказал Леха. – Я этого не забуду. Я тебя до гробовой доски водкой поить должен. Хочешь, свои сто граммов отдавать буду? Крышка бы мне, деревянный бушлат, если б не ты.

Вася взглянул на Леху, увидел его серьезные и строгие глаза. Таким он своего товарища еще не видел и понял, что Лехе сейчас не до шуток. И у Васи опять сжало горло, теперь уже из-за страха за Леху, что мог погибнуть такой парень.

Вечером в палату пришли старшина и директор.

– Ну как, орлы? – спросил директор.

Бодро стуча палкой, он прошел на середину палаты и сел на табуретку.

– Ничего, – откликнулся Леха. – Живы будем – не помрем.

– Это верно. Это по-нашему, по-гвардейски, – подтвердил директор и, улыбаясь, повернулся к старшине. – Надежные у тебя ребята, я бы с такими в разведку пошел. Меня вот такой, – он кивнул на Васю, – в сорок втором с нейтральной полосы вытащил. С поиска возвращались, ну и накрыли нас минами. Меня в бок, два ребра долой. Не он бы – хана. Болит?

– Нет, ничего, – ответил Вася, скрывая боль.

– Чего там «ничего»! Подлечить надо. Мы тут лекарства прихватили от всех болезней. – Директор заговорщически подмигнул, покосился на дверь. – Пока начальства нет, по маленькой.

Суптеля вынул из кармана полушубка бутылку с разведенным спиртом. Леха довольно крякнул, и глаза его заблестели. Внезапно открылась дверь, и Суптеля еле успел спрятать бутылку за спину. Тонина мать взяла грелку с тумбочки и, проходя мимо старшины, подозрительно взглянула на него, а старшина отвел глаза. Фельдшерница вышла, и директор торопливо зашептал:

– Чуть не влипли. Давайте по-быстрому.

Выпили украдкой. Васе было интересно и весело. Он впервые участвовал в таком вот тайном мужском сабантуе. Он был теперь наравне со всеми, как взрослый мужчина, и это очень льстило ему. Вася выпил немножко, задохнулся от крепости, и на глазах у него выступили слезы. Быстро опьянел.

— Это хорошо, — сказал директор. — Уснешь крепче, наутро здоровше станешь. Спирт — штука первейшая. Мы, бывало, с разведки вернемся — синие, обмороженные, — стакан спиртахватишь и спишь сутки. Встанешь, встряхнешься и опять готов выполнять боевое задание. Грешным делом, смотрел поначалу на вас и думал: лафа парням, начальство далеко, фронт еще дальше, живи себе — не горюй. А служба ваша, оказывается, опасная, как в разведке. Там пошел — не вернулся, и тут нырнул — не вынырнул...

Директор говорил еще что-то, а Вася, чувствуя блаженное сонное состояние, начал проваливаться куда-то в яму. Голос директора глух, размазывался. Вася усилием воли встряхивал себя, заставлял слушать.

— Я вот как раздумаюсь — война кончится, коммунизм надо будет строить. А с кем? Мужиков перебьют, перекалечат. Сейчас надо, чтобы бабы в десять раз больше рожали, а у нас в поселке за всю войну ни одной свадьбы не было. И дитёв только двух родили. Одного Дарья принесла, а другого Фроська на станции нагуляла. Всего один раз послали девку с подводой, и привезла. Солдат-ловкач в эшелоне проезжал. Не иначе как разведчик.

Леха хмыкнул, а директор нахмурился.

— Это не хахоньки. Тут дело житейское, тут только у кого мозги куриные, тот может подумать, что, мол, распутство. Не-ет! Это горе наше, это вот война и есть, ее образина, — сквозь зубы сказал он. — С другой стороны, я тут за весь поселок в ответе и должен пресекать. Вернутся, кто живой, мужики, с меня спросят, куда власть глядела. Не-ет, это дело государственной важности...

Вася снова начал проваливаться куда-то, его блаженно закачало, в ушах был шум, сквозь который пробивались голоса и тихий звон кружек. Вася еще раз заставил себя очнуться и услышал:

— Приезжал тут один. Инспектор ОТК. На броне сидел. Обманул ее — и поминай, как звали. Я б таких к стенке ставил, не то, что в штрафбат. С тех пор Дарья угрюмой стала. А тут, гляжу, ваш приезд всех на ноги поставил...

Вася перестал вести мучительную борьбу с дремотой и уснул. Утром Леха засобирался.

– Переночевали, и хватит, – сказал он. – А ты давай поправляйся, я заскочу сегодня.

*Не плачь, Маруся, будешь ты моя,  
Я к тебе вернуся, возьму за себя...*

Подмигнул, помахал рукой. Вася слышал, как в соседней комнате он спорил с фельдшерницей. Потом хлопнула входная дверь, и все стихло.

Вася бесцельно водил взглядом по потолку, по стенам и вдруг испуганно вздрогнул. У дверей молча стояли два пацана. Как они проникли в палату, Вася не слышал. В одном из них он узнал Митьку. Пацаны сопели и во все глаза, как на чудо, смотрели на него.

– Вы чего? – спросил Вася.

Митька подошел и положил на тумбочку маленький кусочек сахара.

– Не надо мне, – сказал Вася. – Возьми, сам съешь.

Митька отрицательно покачал головой.

– Бери, бери.

– Не-е, – отказался Митька и отвел глаза в сторону.

Вася поглядел на маленький, грязный, в каких-то крошках кусочек сахара и увидел, что он мокрый. Наверное, пока шли сюда, по очереди лизали его. Вася не успел ни о чем спросить мальчишек, как в палату вошла Тонина мать и удивленно подняла брови.

– А вы как здесь оказались? А ну марш отсюда!

Подталкивая в спину, выпроводила мальчишек. Вася опять остался один. Он прислушался к голосам в соседней комнате, к стуку входной двери – ждал Тоню, но ее почему-то не было.

Подремывая и радуясь, что боль в плече утихает, он стал думать о доме, о своем городе, где вырос и учился, о своей матери. Решил не писать ей о том, что случилось. У нее больное сердце. С тех пор как убили отца под Халхин-Голом, у нее были приступы. Как она там? Маленькая, высохшая, юркая, бежит раным-рано в швейную мастерскую шить солдатские гимнастерки и стеганые штаны. Жили они с матерью в маленькой комнатке в бараке,



на окраине города. Васе было особенно мило вспоминать те длинные зимние вечера, когда мать строчила какое-нибудь платьишко соседской девчонке, а он поджаривал ломтики картошки на раскаленной плите. За окном завывала вьюга, промерзли сырые углы барака, а возле печки было тепло, и он похрустывал жареным картофелем и с упоением перечитывал «Трех мушкетеров». Мерный стрекот швейной машинки был привычен и мил, знакомо падала у матери на лоб прядь волос, она сдувала ее и строчила, сдувала и строчила. Трудно было матери сводить концы с концами, особенно как началась война. Вася не один раз хотел идти работать, но мать не пускала, говорила, что отец велел его выучить. И все равно не доучился. В прошлом, сорок третьем, году ушел добровольцем. Думал на фронт, а попал в водолазную школу на Байкале.

Боль в плече утихла, и Вася задремал.

Очнулся он внезапно, как будто кто его толкнул. Он открыл глаза и прямо перед собой увидел фельдшерицу. Она внимательно и серьезно глядела на него.

– Проснулся?

– Проснулся.

– Тоню ждешь?

– Жду, – сознался Вася и почувствовал, как начали гореть уши.

– Не придет она.

– Почему?

– Заперла я ее.

– Как... заперли? – не понял Вася.

– А так. На замок.

Вася открыл рот, соображая.

– Зачем?

– Чтоб сюда не бегала, чтоб людям глаза не мозолила, чтоб не смеялись потом над ней.

Голос фельдшерицы набирал высоту, черные глаза строго глядели из-под темных красивых бровей.

– А почему будут смеяться? – спросил Вася, совершенно не понимая, чем вызвал гнев этой женщины.

Тонина мать вздохнула, и взгляд ее оттаял.

– Господи, какие вы еще дети!

– Мы не дети, – не совсем уверенно сказал Вася.

– Дети, – утвердительно произнесла Тонина мать. И, снова приняв свой обычный суровый вид, сказала деловито:

– Давай посмотрим, что у тебя с рукой.

Она разбинтовала и прощупала плечо сильными пальцами. Вася морщился от боли, но терпел, втайне робея перед этой не улыбочивой женщиной.

– Ничего, – сказала она. – Все в порядке. До свадьбы заживет.

Едва успела она уйти, как в палату вошел Андрей и поставил на тумбочку банку сгущенки.

– Завалаялась. Сегодня нашел. А насчет вчерашнего... не думайте, что я такой, – сказал он хмуро.

– Я не думаю, – ответил Вася.

– Старшина вон косится. А я что, виноват, что ли? У меня насморк. Сам же знаешь, что с насморком нельзя под воду, это всем известно.

Это верно, с насморком водолазу нельзя спускаться под воду. Острая боль, будто иголки вонзаются, возникает в ушах при перемене давления, могут даже лопнуть перепонки. Вася знал это прекрасно. А Андрей все говорил и говорил. Сегодня он был необычно разговорчив.

В соседней комнате послышался звон разбитого стекла.

– К счастью. – В холодных светлых глазах Андрея появилась усмешка. Он кивнул на дверь. – А теща-то у тебя сама еще хоть куда.

Вася покраснел.

– Ну ладно, пошел я. Ты давай поправляйся. Скоро вообще уточки сматываем, кончается вольная жизнь. Ну, будь здоров!

Вася опять остался один. Лежал и думал, что вот скоро закончат они работу и уедут. Тоскливо заныло сердце. Скоро уедут, а Тоня сидит под замком. Сейчас, как только войдет ее мать, так он скажет, что нельзя свою дочь под замком держать. Как только войдет, так он ей и выскажет.

Но вместо фельдшерицы шумно ввалился Леха, а за ним тихо и скромно вошла Дарья.

— Поздравь нас! — с порога гаркнул Леха. — Мы с Дарьей женимся. Я так решил.

— Ой, тише ты! — смущенно сказала Дарья и зарделась. — Больной ведь лежит.

— Ничего! Ему самому жениться надо. Ты жениться не думаешь?

Вася опешил от такого вопроса.

— Ну что ты говоришь, Леша, — с упреком сказала Дарья, а сама радостно светилась и с обожанием глядела на своего суженого.

— А чего! Старшина бы вон на Клавье женился, а ты — на Тоньке! Вот бы свадьбу сгροхали, земля б дрожала! Я бы вам чечечку сбацал.

Леха залихватски прошелся вокруг Дарьи. Она улыбалась и качала головой, будто просила простить ее непутевого милого.

— Ну как, одобряешь наше решение? — Леха положил руку на плечо непривычно тихой и покорной сегодня Дарьи.

— Одобряю, — сказал Вася.

— Ну, то-то, — строго сказал Леха.

— Поздравь.

— Поздравляю.

— Ну, теперь все в порядке, — успокоился Леха, как будто все только и зависело от поздравления Васи. — Значит, мы так решили: расписываемся в поселковом Совете, она моей законной женой становится, а Юрка — сыном. Мы уезжаем — она ждет. После войны я сразу за ней сюда. Забираем шмотки и в Донбасс катим. У нас там вишни растут. Я на шахту пойду, денюжат подзаработаю, оденемся, дом поставим, детей разведем.

Дарья внимательно слушала и смущенно улыбалась.

— А чего! Я могу! — сказал Леха, поймав ее взгляд. — А вы, значит, со старшиной к нам в гости битте-дритте. Садик у нас будет, а в садике стол, а на столе — это самое дело.

Он выразительно щелкнул себя по горлу и подмигнул.

— А чего! — снова воскликнул Леха, будто кто с ним спорил. — Комната для гостей будет, или сеновал отдадим.

Леха еще долго и самозабвенно трепался о послевоенной жизни, рисуя яркие картинки, а Дарья тянула его за рукав.

– Ну, пойдем, пойдем, хватит. Больной же человек. – И улыбалась извинительно Васе.

Когда они ушли, Вася долго лежал и думал о том, сколько событий произошло сразу. А Тоня сидит под замком.

Вошла Тонина мать, принесла какую-то противную микстуру. Вася выпил и решительно заявил:

– Вы должны отпустить Тоню. Нет такого закона.

Фельдшерица вдруг заплакала. Вася растерялся.

– Господи! – сказала женщина, вытирая слезы. – Война кругом всесветная, а вы любовь затеяли. Горе одно.

– Я женюсь на Тоне, – ляпнул Вася и сам удивился тому, что сказал.

– Же-енишься, – насмешливо протянула Тонина мать. – Тебе сколько лет?

– Двадцать.

– Не ври.

– Семнадцать... – сознался Вася, – и два месяца.

– Вот то-то и оно. Два месяца. Жених выискался. Если б не война, ты бы еще в школу ходил, за партой сидел.

– Леха вон женится, – выложил последний козырь Вася.

– Ты с ним не равняйся, – сказала она. – Ему пора жениться. А у вас с Тоней молоко на губах еще не обсохло, а туда же. Война вон, краю еще не видно.

Тонина мать тяжело вздохнула, тоскливо посмотрела в окно и сказала уходя:

– Придет завтра Тоня.

На следующее утро Тоня пришла.

С этого дня стала часто дежурить вместо матери в амбулатории.

– Ты на маму не обижайся, – сказала как-то Тоня. – Она ведь не со зла меня заперла. Она всех моряков не любит. Мой отец моряк был. А я его ни разу не видела. Мама училась в Мурманске, а потом сюда приехала, и я родилась. А он так и не приехал. Поэтому она всех моряков и не любит.

Дни вспыхивали и исчезали, как молнии. Однажды в больницу пришел старшина и сказал:

– Ну, все, собирайся. Завтра уезжаем. – И у Васи оборвалось

сердце. Он знал, конечно, что отъезд наступит, но никак не думал, что произойдет это так внезапно.

Поезд опаздывал.

Водолазы стояли у саней, на которых Дарья, как и в первый день, привезла их имущество, и перебрасывались с провожающими незначительными фразами о погоде, о работе, обещали писать письма, сулились приехать, хотя это совершенно от них не зависело. Они военные и служат там, где прикажет командование.

Дарья, не стесняясь посторонних, как жена, застегивала у Лехи на груди полушубок и что-то говорила тихо, а он не сводил глаз с нее и был непривычно молчалив и сосредоточен. Зато Андрей волновался не в меру, нетерпеливо поглядывал туда, откуда должен появиться поезд.

— Чего опаздывает, что за порядочки! — недовольно говорил он и затравленно косил глазом на четырех женщин, пришедших его провожать. Женщины делали вид, что оказались здесь случайно, натянуто улыбались, бросая исподтишка на Андрея горестные взгляды.

Фрося что-то говорила директору и сочувственно смотрела на Суптеля. Директор внимательно слушал ее и тоже с грустью следил за старшиной.

Суптеля стоял в сторонке, курил сигарку за сигаркой и не спускал глаз с поля, разделяющего поселок и полустанок. Он ждал. И все тоже ждали — придет или нет Клава.

Тоня и Вася стояли друг перед другом и молчали, стесняясь посторонних.

А поезда все не было и не было. Разговор как-то сам собою угас, и все — провожающие и отъезжающие — стояли, охваченные щемящим чувством расставания, чувством доброжелательства и нежности друг к другу.

Безбрежные, нетронутые снега лежали по всему северу, но уже в полдень в затишке хорошо пригревало, на крышах висели сосульки, и ошалело кричали воробьи. Уже потемнела дорога через поле, уже с тихим шорохом оседали сугробы, и снег стал влажен и зернист, и где-то там, внизу, под сугробами, скапливалась первая вода, чтобы в урочный час превратиться

в чистые первые ручейки. Еще по-зимнему свеж и резок воздух, но уже по-весеннему бледно и прозрачно голубело небо, и темнел ельник, сбросивший снежную накидку, и сильно пахло хвоей.

Этот сияющий мартовский день и расставание наполняли грудь радостью и грустью одновременно.

Из-за сопки внезапно появился поезд, и все вздрогнули. Андрей обрадовался, засуетился:

— Давай, давай, кореша! Он тут мало стоит.

Старшина бросил недокуренную сигарку, еще раз окинул пустынную дорогу через поле и глухо сказал:

— Грузись!

Быстро перетаскали в вагон свое имущество.

Вася насмелился, взял в ладони холодное и мокрое лицо Тони и поцеловал. Она вздохнула, замерла, широко раскрыв глаза, испуганные и тоскливые.

Такой он ее и запомнил.

Уже перед самой посадкой в вагон все увидели, как через поле бежит Клава. Суптеля было кинулся ей навстречу, но паровоз дал предупредительный гудок, и по составу пошел звон буферов. Поезд медленно тронулся. Водолазы вскочили в тамбур, а Суптеля остался на подножке и махал Клаве рукой, а она все торопилась, все бежала, но, поняв, что все равно не успеет, остановилась, подняла обе руки и что-то закричала.

Вася стоял у окна и смотрел на Тоню, а провожающие глядели на водолазов. И только Андрей не подошел к окну. Он с излишней старательностью перекладывал вещи на полках и делал вид, что очень занят этим.

Плыло мимо заснеженное поле, дальний поселок, плыли все провожающие. Они махали руками, что-то кричали, пытались догнать вагон, но поезд стал поворачивать за сопку, и провожающие по одному исчезали из виду, а Вася все плотнее и плотнее прижимался к стеклу лбом, косил глаза, пытаясь еще раз увидеть Тоню.

— Выдавишь, — сказал Суптеля и понимающе положил ему на плечо руку, а сам смотрел и смотрел на поле, где одиноко чернела фигура Клавы.



К окну подскочил Андрей, кинул взгляд за стекло, облегченно вздохнул.

— Ну, поехали, кореша. Эхма!

Поезд набирал скорость...

Мягко покачиваясь, поезд шел среди невысоких сопок. Свежий ветер врывается в вагон, приносит студеность воды и слабый, волнующий, знакомый с юности запах северной земли. Василий Иванович стоял у окна, видел и не видел проплывающие перед глазами места, устремив взгляд в свою память, в далекое прошлое.

Тогда он сразу же попал на фронт и воевал до конца войны.

Один раз пришло письмо от Тони. Теперь он уже и не помнит его содержания, помнит только наивное и трогательное: «Жду ответа, как соловей лета». Он ответил ей, но больше писем не было.

Судьба бросала его с одного корабля на другой, из госпиталя в госпиталь, с флота на флот.

Война всех разметала, затерялись пути-дороги.

Леха погиб при взятии Лиинахамари, в октябре сорок четвертого. Суптелю демобилизовали еще до победы — рана его так и не закрылась. Уехал он, помнится, в Одессу, на родину. Андрей, доходил слух, жив. Но где он сейчас, неизвестно.

А сам Василий Иванович еще долго служил, семь лет. Поднял немало затонувших кораблей. Один из них — лайнер «Юрий Долгорукий» — потом стал китобойной базой и ходил в Антарктику.

Пронеслись, отшумели годы. Было — прошло. Нет, не прошло! И не могло пройти!

Существует связь той станции со всей последующей жизнью Василия Ивановича. Оттуда есть пошла его сознательная жизнь. На той станции кончились его детские иллюзии, там получил он первую закалку, оттуда вынес главное — веру в человека, в товарища, веру в чистоту, в добро и силу народную, убежденность, что в любой, самый грозный час русский народ выдюжит, все преодолеет, все вытерпит, победит.

У каждого есть своя станция, хотя порою о ее существовании и не подозревают. И где бы ни пролегли потом жизненные пути человека, все равно начало начал — какая-то станция.



На той станции к нему пришла первая любовь. Где сейчас Тоня? Постарела, обросла, поди, ребятишками, а ему все видится той, давней, юной. Может быть, и она помнит его тем далеким наивным пареньком, не умеющим целоваться, а в сердце, как и у него, осталась на всю жизнь память о чистоте и неповторимости тех дней?

Поезд давно ушел со станции, давно истаяла она в бледных призрачных сумерках, будто привиделась во сне, а Василий Иванович все стоял у окна вагона и думал о том, что вот выплыла на миг из дальних лет юность, поманила и вновь пропала. Да полно, была ли она, та юность? И был ли он, черноглазый тонкобровый паренек с румянцем во всю щеку, с пробивающимся пушком над сочными, по-детски припухшими губами и ломким баском? Была ли она, та девушка, черты которой полустерлись в памяти и от этого стали еще милее и дороже? Трудно сейчас представить свою собственную юность, кажется, и не было ее вовсе, будто читал где-то о ней или видел в кино. И все же проехал вот здесь и словно свежего воздуха глотнул, и вроде ему опять семнадцать и все впереди. Что-то снова зовет его вдаль, как вот эту девочку-проводницу, стоящую у открытого окна в пустом коридоре вагона. Она тихо напевает: «Долго будет Карелия сниться...», мечтательно и ожидающе глядит вдаль. Торчат косички в разные стороны. Сейчас это модно. У Тони, кажется, тоже были косички. Но тогда это не было модным. Просто она была еще совсем девчонка. А он мальчишка.

— Было — прошло. Что же такое жизнь? Куда все исчезло? И только память, память, память...



# Алтайский француз



Странная и по-своему счастливая для меня встреча произошла несколько лет назад в международном поезде «Москва – Берлин». Я ехал тогда в Варшаву. После Бреста, когда пересекли границу, мимо окон поплыли скудные земли под низким дождливым небом. По раскисшим осенним проселкам изредка тянулись конные повозки. Диковинно было видеть эти мокрые крестьянские фургоны, от которых, как и всякий горожанин, я отвык.

Напротив меня в купе сидел красивый старик, еще крепкий, жилистый, с негнущейся спиной. Сибиряк с Алтая. Но было в нем что-то неуловимо чужое, иноземное, и от этого я испытывал какое-то странное чувство.

– ...И вы остались? – переспросил я.

Он кивнул на старушку, маленькую, беленькую, пухленькую, сидевшую рядом с ним, и, как я уже знал, ни слова не понимавшую по-русски. У нее старчески тряслась голова, и она все время старалась прислонить ее к перегородке купе или держала руками, делая вид, что поправляет волосы, и с лица ее не исчезала извиняющаяся милая улыбка.

– Вот ее встренул.

Передо мною сидел земляк с Алтая, большую часть своей жизни проживший во Франции. Алтайский француз, сибирский парижанин или, наоборот, парижский сибиряк, французский алтаец – так мысленно я подбирал ему определение. Полвека он не бывал на родине.

– Ничо не узнал, никого не встренул, – раздумчиво произнес он, тщательно выговаривая слова, как это делают иностранцы. – Все переменялось, все поумирали. Бию, и ту не признал в лицо. Обмелела, грязная стала, а река была державная. Как разольется,

бывалоча, да как встренутся с Катунью-то — дак целне море! Глазом не окинуть!

Это я помню. Бия даже в моем детстве и то была рекой «державной». Вытекая из Телецкого озера, она была еще и кристально чистой.

— До рекрутов я в ней стерлядь лавливал. Теперя спросил — засмеялись, говорят: чего захотел!

Он говорил, а я все никак не мог понять, что же мне мешают его слушать. И все мучился, пока не прозрел: по-русски он говорил с французским прононсом. Он, родившийся на Алтае и проживший там свое детство и юность, говорил теперь с иностранным акцентом!

Деревенский парень из глухого угла, читать-писать не то что по-иностранному, а и по-русски-то не умевший, когда его забрали в царские солдаты, сидел теперь в купе международного поезда, разговаривал с французским акцентом и часто подыскивал русское слово, чтобы выразить свою мысль. Забыл родной язык! Это меня потрясло.

Он ехал в Париж, к себе домой, я — в Варшаву, в гости.

Когда мой товарищ, известный писатель, вологжанин, с которым мы ехали в Польшу, позвал меня в купе, сказав: «Там твой земляк. Старый русский солдат. Воевал еще в первую мировую», у меня в каком-то предчувствии дрогнуло сердце, и я поспешил в соседнее купе.

Да, он был вместе с моим отцом, как я и надеялся втайне. Когда я назвал фамилию отца, бомбардира-наводчика Томской батареи, и спросил, не помнит ли он такого, старик сразу же ответил: «Помню, как же!» Я не поверил своим ушам — уж слишком было неправдоподобно: вот так вот, в поезде, идущем по другой стране, встретить человека, который помнит моего отца, воевавшего во Франции еще в первую мировую! И я для проверки задал старику вопрос: какой он из себя, мой отец?

— Пантелей-то? — переспросил старик. — Дак корявый он. Ростом с каланчу. И здоров! За колесо возьмется — орудие подымет.

Да, это мой отец. Корявый, высокий, сильный. И имя его старик вспомнил сразу же, как только я назвал фамилию.

– Он на каторгу попал опосля бунта. Мы бунт подняли, когда прослышали, что в Расее революция. Зачинщиков-то полевой суд судил, и в Африку их сослали, а я так и воевал до замирения с немцами. Потом остался. Вот ее встренул.

Он говорил тем давним, уже ушедшим из нашего обихода языком, и я слушал чалдонскую речь с полузабытыми словами и оборотами. Как все же странно! Для него язык остался тем, давним, кондовым, который я слышал только в далеком детстве.

Из нашей беседы я узнал, что после ранения был он денщиком у офицера и тот запугал безграмотного парня, рисуя мрачную картину возвращения на родину, где все порушено, все в разоре, где большевики перекраивают жизнь черт знает на какой лад.

Офицер обещал держать его при себе до смерти. И солдат поверил, остался. Женился на молоденькой француженке, что приходила стирать белье господину штабс-капитану.

Я узнал, что у стариков есть свой магазинчик по продаже овощей и зелени, что они преуспели в жизни, что вырастили двух сыновей и дочь. Дети обеспечены. У старшего сына, Гастона, даже ферма есть, приносящая неплохой доход. Дочь выгодно выдала замуж, а младший сын работает в мастерской по ремонту автомашин и зарабатывает прилично. Жаловаться на судьбу грех.

Старый русский солдат гордился тем, что прожил годы не в нищете, что дети обеспечены и на черный день припасено, а я смотрел на него и думал о своем отце, который бежал с алжирской каторги, прошел пол-Европы, лишь бы добраться до родины. Один все преодолел, все перемог, голодный, холодный, больной, но вернулся, а другой – тихо-мирно жил во Франции и на родину его не тянуло. Не может быть, чтобы не испытал он зова родной земли!

Я не удержался и спросил об этом.

Он не сразу ответил:

– Тосковал поначалу, что греха таить. Кручина сосала, деревню вспоминал, родню. А потом – дети, заботы... Вроде и позабылось.

– А что же теперь? Зачем ездили?

Во мне то поднималась злость на старика, то жалость при-

ходила, и не покидало ощущение какой-то нереальности, будто разговариваю я с выходцем с того света. Он горько и мудро взглянул на меня потускневшими глазами — он понял мой вызов.

— Теперя чо! Теперя — земля-матушка ждет, — ответил без вдоха, по-русски просто, давно, видимо, подготовившись к этому неизбежному концу для каждого. — Горстку вот взял, чтобы бросили на меня.

Он вытащил из кармана висевшей на стене куртки прозрачный целлофановый мешочек с золотой Эйфелевой башней и каким-то фирменным клеймом и надписью, отстегнул кнопки. Да, это наша алтайская земля. Ни с какой другой не спутаешь. Я понюхал сырой запах чернозема, вспомнил весеннюю родную степь, когда, скинув пимы, босиком гоняли мы в догоняшки по оттаявшим прогалинам на солнечном взлобке увала и в знобком прозрачном воздухе синели на окоме Алтайские горы. У меня защемило сердце.

Мы посмотрели в глаза друг другу, и я понял по побледневшему лицу старика, что только силой воли он сдерживает себя.

И я подумал: будет сибиряк похоронен во Франции на опрятном, ухоженном кладбище, оплачет его жена-француженка, грустят дети — полурусские, полуфранцузы, никогда не видевшие родину своего отца, не знающие его языка, — и память об алтайском крестьянине скорее всего навсегда сотрется с земли.

— Прощаться ездил, та и ей вот любопытно, где это я зародился, — глухо сказал он. — На могилках побывали.

Это он по-нашему сказал — «на могилках».

— Никого не нашел, все сровняло с землей. Где кто — никто не знает. — И вдруг спросил: — А Пантелея-то давно нет?

— Давно.

Он помолчал, видимо думая о том, что ждет его в не таком уж и далеком теперь будущем, и вдруг признался:

— Отвык от просторов-то наших. От Москвы до Барнаула трое суток ехали, с половиной. Во Франции таких земель нету.

— Один Алтай — три Франции, — сказал я.

Он удивленно покачал головой:

— Не знал.

— А Ивана Благова и Тимофея Хренкова вы не помните? Они тоже из Томской батарее.

Эти две фамилии часто повторял мой отец — они втроем бежали с каторги.

Старик помолчал, подумал.

— Нет, что-то не припомню. Пантелея помню хорошо, а их что... Пооди, знал, да запомятовал. А вы, значица, сын его будете? — переспросил он.

— Сын.

Он внимательно оглядел меня, видимо выискивая знакомые черты.

— Не похожи.

— Я в мать.

Он раздумчиво кивнул, посмотрел на серую дождливую долину за окном поезда, на мокрую лошадь, понуро стоящую посреди раскисшей дороги. Возле фургона копошился поляк-хозяин, что-то стряслось там у него.

— Африка — жаркая страна. С ее мистраль к нам приходит. Ветер такой, как из печки. С Алжира дует, — пояснил он, думая, что я не знаю, что такое мистраль. — Много тама наших солдат загнуло.

— Бежал он с каторги, — повторил я. — С Благовым и Хренковым.

— Говорите, секлетарем был? Большой начальник, по-вашему?

Меня поразило это «по-вашему». Все, что было потом, после семнадцатого, для него — чужое.

Старушка выложила на столик колбасу в блестящей красивой, с золотым ободком обертке, сдобу, пахнущую марципаном, банку растворимого кофе с экзотической наклейкой, что-то сказала с мягкой улыбкой.

— Угощает, — перевел старик. — Возили гостинцы («гостинцы» — наше!), дак некому отдать. Обратно везем.

Проводник принес чай:

— Проше бардзо, панове.

Мы сидели и разговаривали до самой Варшавы, и я все



расспрашивал, как да что было во Франции тогда, в семнадцатом, когда русский корпус воевал на стороне французов с немцами.

Старик отвечал односложно и даже неохотно. Полувековая давность забылась и, видимо, мало его интересовала. А я думал, как чудовищно много времени прошло с тех пор, что все это уже история, про которую можно прочитать в учебниках, в романах, в исследованиях, в энциклопедии, а тут вот сидит осколок той истории, и не так уж и старый, по человеческим меркам, всего семьдесят. Ну, чуть больше, если уж быть точным – семьдесят два года. А сколько всего было с той поры, какой огромный пласт жизни придавил те давние годы, затянутые дымкой времени, – как будто было это до нашей эры! Была ведь с тех пор еще война и с фашистами. И у меня все время вертелся на языке вопрос: где он был во вторую мировую?

– Мы с ей дома. Магазин у нас. А сыновья – в маки. Старший медаль заслужил. Мне уж не по годам было по лесам-то шагать, – пояснил он мне.

Отвечая на мои вопросы, старик, видимо, думал совсем о другом: о детях, о своем магазинчике, о своих конкурентах, о своей французской родне, о каких-то неотложных делах и заботах. Все эти дела и заботы были во Франции, а не на Алтае, не на родной земле. Алтай – так, сон один. Был когда-то парень, жил в сибирской деревне, забрали его в рекруты, и ушел он навсегда, и теперь вот, вернувшись, не разыскал могилки ни отца, ни матери, никого. Страшно! Мог бы я так? Нет, не мог бы! Я, как и отец, пришел бы на свою землю. Чего бы это ни стоило, а вернулся бы.

Я вспомнил рассказ отца о его скитаниях по Европе, когда он «со товарищи» шел по ней босиком.

«Сапоги мы разбили в пух и прах. Сначала подошвы подвязывали веревками, а потом и подвязывать нечего стало. Шли, шли, пол-Европы прошли. Остановимся у какого-нибудь хозяина, поработаем у него в поле, в сытость войдем – и опять в путь-дорогу. Один раз – вот смешной случай! – в Македонии дело было, Грецию уже прошли, задержал нас патруль на дороге.

Унтер-офицер и два солдата. Чего-то там этот унтер говорит, приказывает нам, или как там его — фельдфебель ли, капрал ли? Унтер-офицер, одним словом. Во Франции-то капралы были. Ну, а как того назвать, не знаю. Дак вот, он приказывает нам чего-то, а мы никак не пойдем. Он аж притопывает, голосок подымает, сердится, значаща. А сам какой-то жидкий, невелик росточком. А чего сердится — в толк взять не можем. И давай он нас ружьем страшать. Тычет Ивану Благову в брюхо штыком. Ткнет его, а Иван ойкнет. Опять ткнет, Иван опять ойкнет. А потом Ивану надоело, отвел он штык в сторону да как саданет унтера по башке кулаком — тот и обмяк. Кулак-то у Ивана с кувалду. Солдаты увидели такое дело — да бежать пустились. С винтовками были, а побежали. Перепугались, видать, шибко. Ну, мы тоже в кусты — шась! Бегим, а Тимоха Хренков говорит: “Зашиб ты, Ванька, его до смерти”. “Неужто?! — Иван аж остановился. — Навроде не шибко ударил — постращал токо. Чо он в пузо-то штыком тыкает! Боров я ему, чо ли?”

Бегим дальше, а Тимоха опять свое: “Загубил ты душу, Ванька”. Тут Иван остановился да в мать-перемать. “Не рви ты мне сердце, Тимоха! Мне и так тошно, — говорит. — Вертаемся, братцы, мовет, ему помощь нужна. Вдруг и впрямь зашиб. Грех на душу не хочу брать. И чо он такой хлипкий какой-то!” Вернулись, чо поделаешь. Человек ведь — не скотина, а вдруг и вправду зашибли! Глядим, унтер тот на казачки поднимается, и шатает его, ровно пьяного. Обрадовались мы, что жив он, да к нему — на ноги хочем поставить. А он как завидел нас, да как вскочит — ровно козел! — и припустился бечь. Резво бежал. Поди, подумал, что мы его дошибить пришли. Он бежит, а Иван кричит ему: “Не беги ты, друг подсердешный! Ничо мы тебе не изделаем!” А тот пятки смазал, быстро удалился. “Слава богу, — говорит Иван, — не зашиб. А то грех-то какой!”».

Я всегда хохотал, когда отец рассказывал про этот случай, отец тоже усмехался, а потом говорил: «Ничего смешного-то тут нету. Не понимаем — колотим друг дружку, а потом разберемся — а зачем? Из одного теста-то сделаны. А ежели бы Иван тогда его зашиб? Век бы маялся, век бы на душе грех

носил». И продолжал: «Ну, пошли мы опять по Европе. В Сербию вышли. Где в кукурузе переночуем, где в винограднике. Там совсем не так, как у нас на Алтае. Там виноград растет. Наелись мы его на всю жизнь. Хоть и сладкий он, а не еда это – вода одна. Так все страны наскрозь и прошли, какие попадались на пути. Всяко бывало, всего не расскажешь. Горя хлебнули по ноздри и даже выше. Но скажу тебе: трудовой народ всюду нам помогал. В любой державе. Ин-тер-на-ци-она-лизм – это прозывается, – по слогам выговаривал отец. Грамотешки у него тогда было маловато. Он в детстве всего две группы церковно-приходской школы окончил, уж потом, будучи секретарем райкома партии, добирал знаний – учился заочно. – Вот тогда я и понял: бедный народ, он везде бедный и завсегда поможет. И вот что любопытно! Воюем, сражаемся, друг дружку колотим на позициях, а так, когда встренешься, – хороший народ. Сколь стран прошли, а плохого народу не встречали. Все трудятся, у всех рубахи пропотелые – кусок хлеба своим горбом добывают. А войну завсегда буржуи зачинают, кровопивцы проклятые. Им все мало. В три горла жрут, а все мало. Ну, теперя – шабаш! Теперя русский народ решил: будя, поизмывались, попили кровушки – и баста! Сами себе власть! И во всех странах мировая революция произойдет – помяни мое слово. Светлое царство рабочих и крестьян настанет. И войны пресекутся. Чего делить-то трудовому народу? Нечего! Все свое: и земля, и страны, и... все, в общем. Чо делить-то? Верно?»

Я соглашался: верно! И просил его рассказать про Африку. Меня тогда пуще всего интересовали слоны, и я все надеялся, что отец мне расскажет про них. Но он меня каждый раз разочаровывал: «Нет, не видал я слонов. Верблюдов видал». Верблюдов я и сам видал, их через наше село часто гоняли из Монголии по старому Чуйскому тракту, и мы, деревенские мальчишки, бегали их дразнить, все ждали – плюнет, не плюнет? «Ну, а какая она, Африка?» – допытывался я у отца о стране далекой и таинственной, расположенной где-то там, за Алтайскими горами, и куда меня неудержимо тянуло. «Дак какая! Жаркая! Песок – аж пятки жгет. Как по сковородке идешь». И как отец ни отнекивался,

я все равно настырно заставлял его рассказывать в сотый раз о побеге с каторги. «Ну, ты прям как репей! Пристанешь – не отодрать, – и отец сдавался: – Дорогу мы там строили. Зуавы нас охраняли. Черные такие солдаты, африканцы французские. Днем охраняют, а ночью спят. Выпьют с вечера красного вина из горлышка – бутылки у них глиняные, пузатые, камышом оплетенные, как в корзинку вставлены. Удобно пить, с ручкой эти корзинки. И сколь у него там вина в той кринке – не видать. Мы все гадали – сколь в нее входит? А они пьют да зубы сахарные скалят. К вечеру нальются – и спят, не боятся, что мы убежим. Да и куда убежишь – кругом пески гибельные. Они спят, а мы нет. Вот что удивительно в Африке: днем жара, а ночью холод. Прям зубами чакали, друг к дружке жались, чтобы согреться. На звезды глядим, звезды там чистые-чистые. Лежим. Алтай вспоминаем. Гадаем: видать эти звезды в нашей деревне аль нет? Одна такая большая-большая была, яркая, будто цинковая. На самом севере сияла. Ну, глядели мы на нее, глядели и задумали бежать. И на ту звезду путь держать. Поручик нам сказал, что та звезда – Полярная, и ежели прямо на нее идти, то к морю выйдешь. К Средиземному. Хороший человек был – поручик. С нами на каторге-то некоторые офицеры горб гнули, кто за солдат был и рук не распускал. Их тоже на каторгу упекли.

Ну, пошли мы на ту звезду. Ночь шли. Все на звезду и на звезду. А днем залегли в барханах. Погони боялись. Лежим как на раскаленной печке. Спасу нет как жгет. Губы потрескались. И ни капли воды. Дождались ночи, опять пошли, по холодку. Погони нету никакой. Зуавы решили: загнулись мы в песках. А мы живые. Четыре ночи шли и к морю вышли. Пить – умираем! Кинулись в воду и давай ее хлебать ладошками. А она до того солоня, что аж горькая. Иван-то Благов матерится: “Мать-перемать, да кой-то ее эдак пересолил!” И начался у нас с той воды кровавый понос. Совсем обессилели. Лежим у берега морского, богу душу отдаем. И тут вдруг верблюды идут. Ну прям как у нас, когда из Монголии гонют. И человек идет рядом. Мы ему: “Эй!” А он не слышит. Голоса-то у нас какие! Мы думаем – кричим, а сами хрипим токо. Прошел бы совсем, да собака у него была,

она нас и унюхала, брехать стала. Вот он нас и вернул к жизни. Молоком верблюжьим отпоил. Противное молоко, не то что коровье, от нашей Нежданки. Он с нами несколько дней возился. Ночью спали возле верблюдов. Залезешь к нему под самое пузо, греешься. Верблюд – животное доброе, хотя и урод уродом. Вы чо их бегаете дразнить? Вот я тебе! Животину нельзя забижать, се любить надо».

Такие отступления отца мне были не по душе, и я спешил вернуть его рассказ в прежнюю колею. «Ты расскажи, как негр пришел и как по морю плыли». Я все знал наперед, но все равно любил, когда отец повторял свой рассказ про побег с каторги. И я снова и снова переживал, замирая то от восторга, то от страха. «Ну дак рассказывал я тебе про это», – упирался отец. «Ну еще», – просил я. Понимая, что ему не отвязаться от меня, отец продолжал:

«Ну, привел тот пастух откуль-то негра. Черного, будто сажей печной вымазанного. Ну, прям на диво. Зуавы-то – они смуглые, и пастух этот верблюжий был смуглым, а негр – ну, прям черней ночи, и губы вывернуты. Кланяется он нам и говорит чего-то. Кланяется и говорит. Мы ему и говорим: “Чо ты нам кланяешься! У нас в России революция произошла и господ отменили к едрене-фене. Не кланяйся ты нам, мы не буржуи”. Он говорит, мы говорим, а друг дружку не понимаем. “Нам в Россию, говорим, надо, домой, и у нас там делов невпроворот”. И на пальцах, как с глухонемым, объясняемся. Понял, однако. Вот он нас и посадил на греческий пароход. Ночью привел и посадил. Оказалось, что мы в песках-то неподалеку от города морского помирали. В угольной яме и переплыли Средиземное море. Греки нас апельсинами кормили».

Апельсинов в детстве я не видел, потому отец пояснил: «Это такое яблоко, с картошку величиной, токо желтое. И сок в нем сладкий. Мы поначалу-то с кожурой ели. Не понравилось. Потом разобрали, что кожуру сдирать надо. Моряки упрятали нас в угольную яму и кормили этими апельсинами. Нас прям воротило с них. Не еда это. Так – баловство.



Никакой сытости». Отец рассказывал, а я все пытался представить, что это такое – апельсин.

«Ну, доплыли мы до Греции. Грязней грязи вышли, ночью в море отмывались. Греки нас по плечу похлопали: давай, мол, шагайте. Мы и пошагали по Европе. Прошли ее, почитай, всю, пятки стерли до крови. Хорошо еще, кожа добрая осталась, – смеялся отец. – Сколь ношу – сносу нету. В Россию вышли, а тут уж гражданская война вовсю. Ну, мы на коней да сабли в руки. Во Франции-то я батареем был, а в Советской республике кавалеристом стал».

Почти на всех фронтах гражданской войны рубился отец за волю, за новую жизнь, за землю свою родную.

Много рассказывал мне отец, и за всеми его рассказами: грустными, смешными, страшными – стояло одно – родная земля, ради которой он все вынес, все вытерпел, все выстрадал...

Мы сидели в купе со старым русским солдатом, глядели на осенний польский пейзаж, и я то вспоминал отца, то пытался понять своего земляка, прожившего всю жизнь в чужой стране.

– И много вас тогда осталось, русских солдат, во Франции? Не вернулись в Россию?

– Числом не знаю, но были, – ответил старик. – Один знакомец мой был.

– А как его судьба сложилась?

– Дак как. Работал он на кондитерской фабрике. Редко виделся. А как помирать стал, прислал за мной. Все, говорит, родная душа рядом посидит, – старик помолчал, поджав губы. – Наказ он мне дал. Ежели, говорит, дома побывать придется – поклонись родной земле за меня и привези горстку земли на могилку.

– Поклонились?

Старик сурово взглянул на меня:

– Рази можно наказ умирающего не выполнить? Поклонился. И землицы прихватил на его долю. Приеду – посыплю.

И старик как бы отодвинулся от меня, замолчал. Я понял: говорить со мной он больше не будет.

В Варшаве мы вышли из вагона, а старый солдат поехал дальше, во Францию. На перроне нас шумно встречали, улыбались, возбужденно говорили необязательные слова, обещали хорошие поездки по стране и встречи, а я все думал о русском солдате и никак не мог избавиться от горькой этой думы.



## Библиографический список

1. Безумству храбрых... : повесть и рассказы / Анатолий Соболев. — Москва : Мол. гвардия, 1965. — 253 с. : портр. — (Молодые писатели). — Содерж.: повесть: Безумству храбрых...; рассказы: Вдовый сын; След стакана; Ветка рябины; Половодье.

2. Берег студеных туманов : повести / Анатолий Соболев ; худож. Ю. Иванов. — Москва : Мол. гвардия, 1972. — 256 с. : ил. — Содерж.: Тихий пост; Ночная радуга; Какая-то станция.

3. Бушлат на вырост : повести / Анатолий Соболев ; ил. Э. Шагеева. — Москва : Современник, 1972. — 431с. : ил. — Содерж.: Какая-то станция; Тихий пост; Бушлат на вырост; Ночная радуга.

4. Ван Гог из шестого класса : повесть и рассказы : [для сред. возраста] / Анатолий Соболев ; рис. И. Година. — Москва : Дет. лит., 1986. — 272 с. — Из содерж.: Грозовая степь: повесть; Рассказы о Данилке; Прекрасная птица селезень; Такой длинный-длинный день; Шорохи; Зимней ясной ночью; Сизый; Март, последняя лыжня; Колодец; Звенит в ночи луна; Ван Гог из шестого класса и др.

5. Грозовая степь : повести : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Соболев ; вступ. ст. В. Курбатова. — Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1990. — 462 с. : ил. — Содерж.: Грозовая степь ; Какая - то станция ; Тихий пост ; Награде не подлежит.

6. Зимней ясной ночью : повесть, рассказы : [для сред. шк. возраста] / Анатолий Соболев ; предисл. Е. Носова ; рис. Г. Епишина, И. Гордина]. — Москва : Дет. лит., 1976. — 302 с. : ил., портр. — Содерж.: Грозовая степь; Рассказы о Данилке.

7. Избранные произведения : в 2 т. / Анатолий Соболев. — Москва : Мол. гвардия, 1986.

Т.1 / предисл. И. Дедкова ; худож. К. Фадик. — 415 с. : портр. —

Содерж.: Пролог после боя; Предгрозье; Ночная радуга; Тихий пост; какая-то станция.

Т. 2 / худож. К. Фадин. — 447 с. — Содерж.: Грозовая степь; Пятьсот — веселый; А потом был мир; Три Ивана; Награде не подлежит.

8. Искушение вины : повесть / Анатолий Соболев ; послесл. М. Папина, Г. Васюковой-Соболевой ; Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова, Администрация Смоленского р-на Алт. края. — Барнаул : Азбука, 2005. — 120 с., [4] л. ил. : ил. — 60-летию Великой Победы посвящается.

9. Какая-то станция : повесть / Анатолий Соболев // Октябрь. — 1970. — № 3. — С. 25—81.

10. Какая-то станция : повести / Анатолий Соболев ; предисл. В. Быкова ; худож. В. Локшин. — Москва : Современник, 1978. — 496 с. — Содерж.: Пролог после боя; Предгрозье; Ночная радуга; Тихий пост; Три Ивана; А потом был мир; Какая-то станция; Тополиный снег: Прекрасная птица селезень; Длинный, длинный день; Военный хлеб; Звенит в ночи луна; Шурка-хлястик; Ярославна; Ван Гог из шестого класса.

11. Курсом норд-вест : повесть и рассказы : [для ст. шк. возраста] / Анатолий Соболев ; худож. Б. А. Мокин. — Калининград : Кн. изд-во, 1981. — 357 с. : ил.

12. Награде не подлежит : повесть / Анатолий Соболев // Север. — 1980. — № 4. — С. 2—72.

13. Награде не подлежит : повести / Анатолий Соболев ; вступ. ст. Б. Леонова ; худож. М. Лисогорский. — Москва : Современник, 1981. — 448 с. : ил. — (Новинки «Современника»). — Содерж.: Пятьсот — веселый; Тихий пост.

14. Ночная радуга : повести / Анатолий Соболев ; худож. С. И. Соболев. — Москва : Воениздат, 1982. — 240 с. : ил. — Содерж.: Безумству храбрых; Тихий пост.

15. Пролог после боя : повести / Анатолий Соболев ; худож. Ю. Башанов. — Москва : Совет писатель, 1991. — 560 с. : портр. — Содерж.: Пролог после боя; Пятьсот-Веселый; Ночная радуга; Тихий Пост; Какая-то станция; А потом был мир; Три Ивана; Награде не подлежит.

16. Штормовой пеленг : повести / Анатолий Соболев ; предисл. С. Баруздина ; худож. К. Фадин. — Москва : Мол. гвардия, 1979. — 336 с. : ил. — Содерж.: Тихий пост; Какая-то станция; Штормовой пеленг.

17. Якорей не бросать : повести, роман / Анатолий Соболев ; вступ. ст. В. Курбатова. — Москва : Современник, 1986. — 592 с. — (Новинки «Современника»). — Содерж.: Якорей не бросать: роман; Три Ивана; Награде не подлежит: повести.



Литературное  
наследие  
Алтая

А. П. Соболев

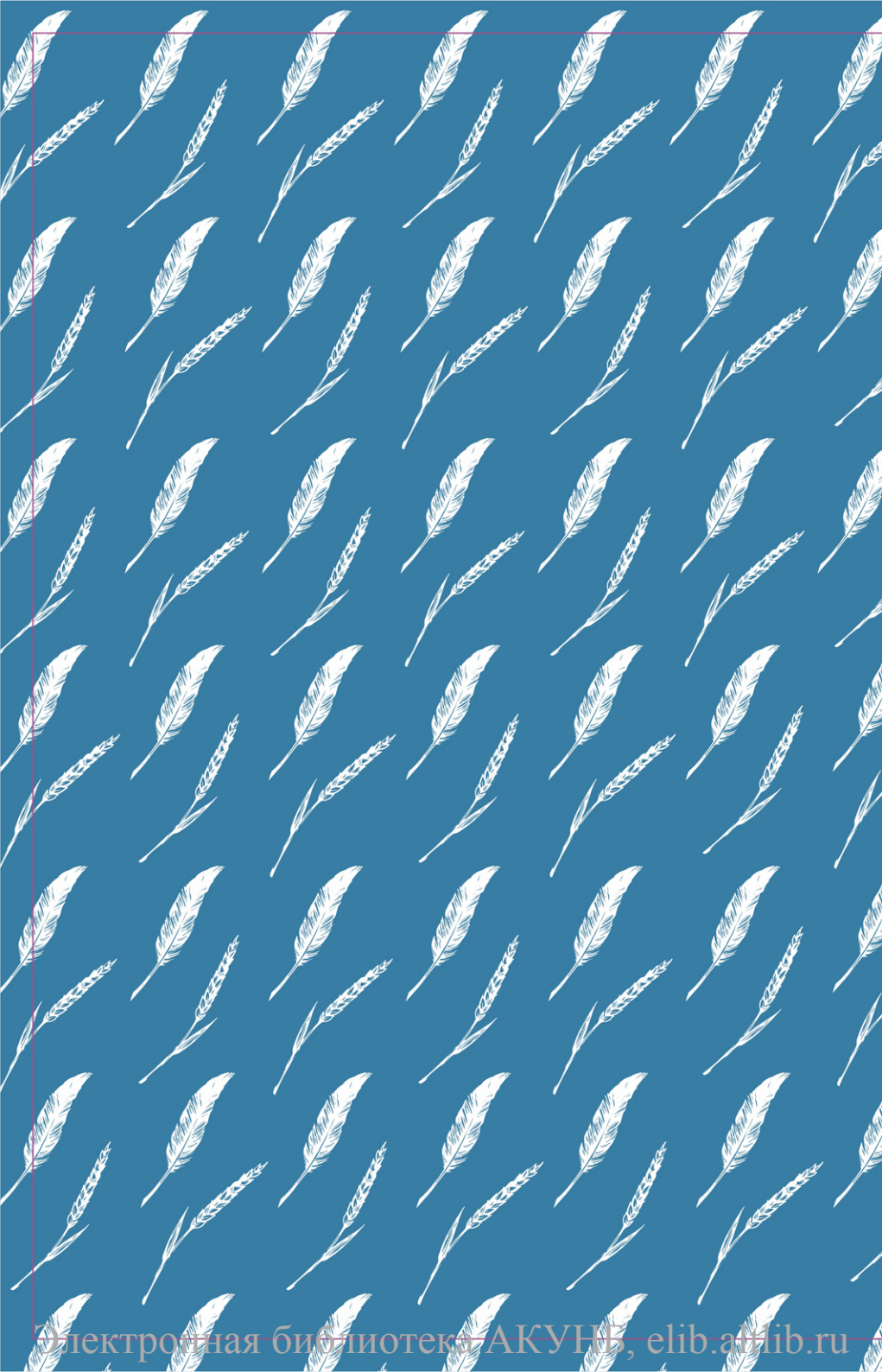
Избранное

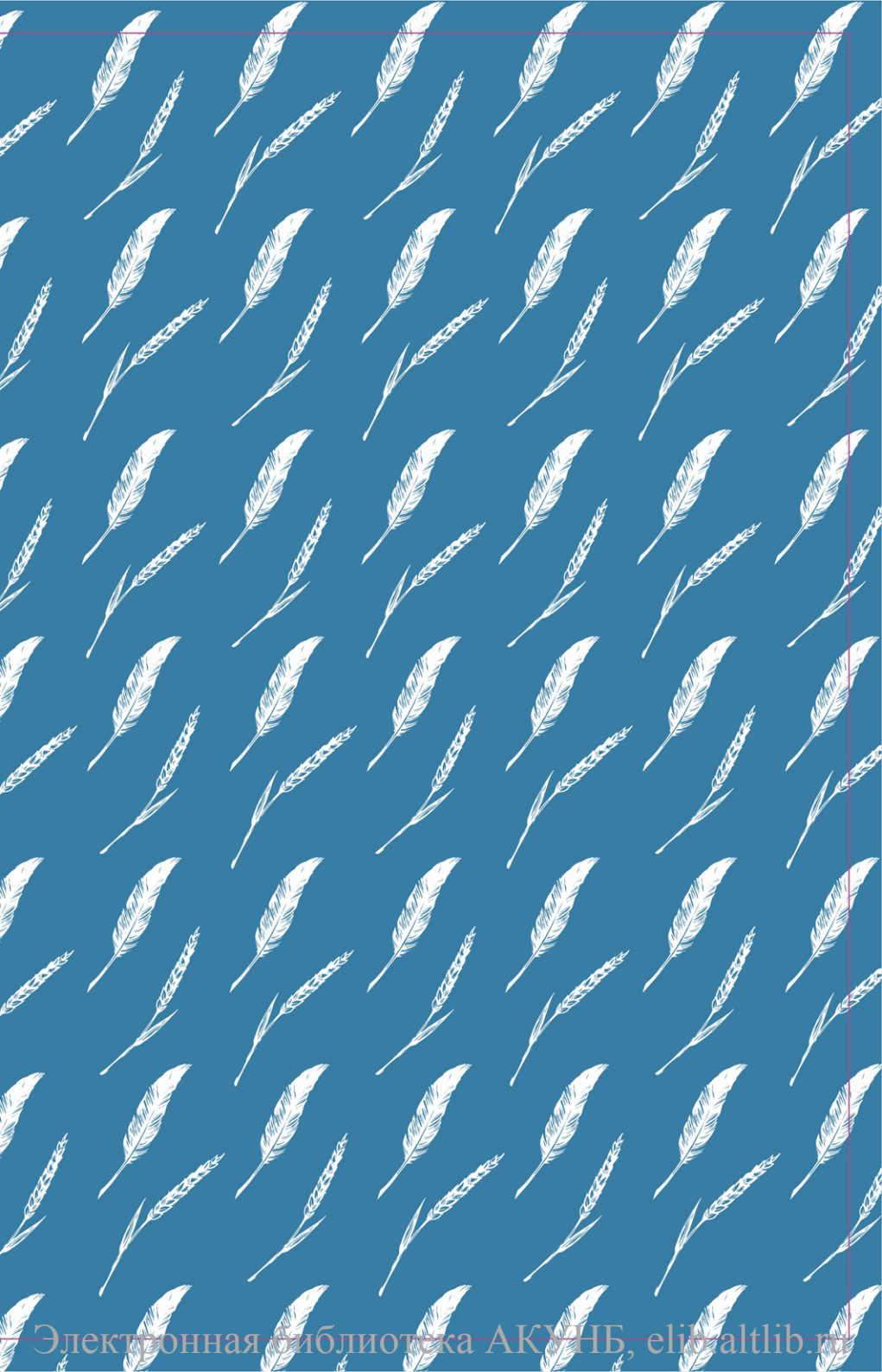
Редактор: С. А. Мансков  
Художник: А. В. Казанцев  
Корректор: Ю. А. Зименкова  
Верстка: И. А. Климашина  
Арт-директор: А. Н. Шелепов



Подписано в печать 12.08.2021.  
Тираж 1500 экз. Заказ 370.  
Отпечатано в типографии ООО «АЗБУКА»  
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98а  
тел. 62-91-03, 62-77-25  
E-mail: azbuka@dsmail.ru









Литературное  
наследие  
Алтая



А.С.